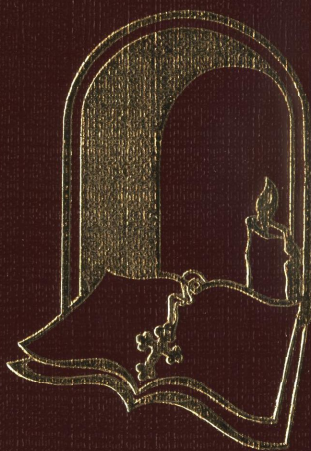


Геннадий Говрилов

СПАСИ СЕБЯ САМ



ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВ

СПАСИ СЕБЯ САМ

Автобиографическая повесть



Тверь
Союз фотохудожников
1993

ОБ АВТОРЕ КНИГИ «СПАСИ СЕБЯ САМ»

У этой книги не менее удивительная судьба, чем у ее автора – отца Геннадия (Гаврилова).

Божьим провидением назначалась моя встреча с отцом Геннадием в тверском храме Белой Троицы. До близкого с ним знакомства мы виделись во время литургии и всенощной в этом чудном храме, уютном и как бы домашнем, и мне всегда хотелось именно к нему прийти на исповедь, что до сих пор не могу вразумительно объяснить. И не только меня чем-то притягивал спокойный, ровный в общении, как и положено священнослужителю, этот неторопливый человек. Почти всегда после службы вокруг него собиралось несколько прихожан – с ним хотели они поделиться своими радостями и горестями. Не выпало тогда на мою долю его внимания.

А потом вышло так, именно отцу Геннадию пришлось совершить таинство отпевания, провожая в последний путь мою мать Пелагею Александровну. В том же храме Белой Троицы, морозный декабрьским утром. Это и определило будущие особые отношения между нами, будто родственная связь возникла, будто стали побратимами. Но Господь ничего не делает случайно и понапрасну.

Прошло две недели после похорон, и уже в Москве мне позвонили друзья из газеты «Собеседник» и попросили прочитать рукопись. Мол, вы в «Юности» занимаетесь проблемами правозащиты политических заключенных, а именно к таковым относится автор сего произведения.

Я испытал совершенно мистические чувства, когда увидел приложенную к рукописи фотографию отца Геннадия. Быстро прочитав её, я поехал в Тверь, пришел в храм Белой Троицы и дождался отца Геннадия после службы, рассказал ему обо всем, что произошло. Круг, назначенный нам, сомкнулся.

Скитания рукописи этой повести так похожи на судьбу автора, пережившего блокадное детство в Ленинграде. Он сам до сих пор дивится, что выжил тогда. Чтобы испытать в жизни еще больше.

Во время нечастых бесед с Геннадием Владимировичем в его квартире, где ощущается флотский порядок и где невольно обращаешь внимание на встроенный в стол персональный компьютер и икону Спасителя на стене, а перед ней лампадку, я часто ловил себя на мысли: ведь вот он, передо мной, тот флотский офицер Геннадий Владимирович Гаврилов, слава Богу, живой и здоровый, о котором в 1969 году говорилось по всем зарубежным радиостанциям, передавались его «Открытое письмо к гражданам Советского Союза» и книга «Слово и дело». Все это было после вторжения советских войск в Чехословакию,

а он уже тогда утверждал, что демократические перемены в России неизбежны. Геннадий Гаврилову было 29 лет, когда военная прокуратура закончила следствие и определила его в Мордовские, а потом в Пермские лагеря, слава которых уже была известна в те годы.

Судьба посылала ему испытания, одно тяжелее другого, но дарила дружбу с добрыми и сильными людьми, помогавшими выстоять и не пасть духом. В лагере он знакомится с В.Буковским, Л.Бородиным, Ю.Галансковым. Именно тогда возникла идея этой книги.

После освобождения из лагеря в 1974 году судьба сводит Геннадия Владимировича с Павлом Федоровичем Беликовым, учителем и наставником, замечательным человеком, библиографом семьи Рерихов. Общение с ним окончательно и определило путь к Православию.

Конечно, двумя словами невозможно описать этот сложный процесс обретения истинного мировоззрения в душе, в сознании. Он длится годы и предопределен человеку изначально. Пройдя ступени послушника, диакона, Геннадий Владимирович был рукоположен в сан священника. Казалось бы, все стало на круги своя. Но, видимо, так на роду отца Геннадия написано, что испытания не оставляют его. На сей раз это связано с трудностями, переживаемыми церковью внутри себя.

Невольно вспоминаю, что нелегкой была участь всех молитвенников и подвижников Православной Церкви, терпеть и страдать за людей, за нас, за веру. И сказано ведь еще, что если Господь призрел на кого, то посылает ему особые испытания. Как и должно быть, не ропщет на судьбу отец Геннадий, достойно принимая от нее все, что предназначено, спасая себя и тех, кто рядом с ним. Именно об этом его книга.

Юрий Садовников

Памяти
Юрия Тимофеевича Галанскова
посвящается.

Есть суровый закон у людей —
уберечь свою суть,
несмотря на войну и на горе,
несмотря на грозящую гибель.

Поль Элюар

У каждого своя судьба и свой путь жизни.
Здесь нечему и некому завидовать,
не о чем сожалеть.
Нужно достойно пройти этот путь,
независимо от оставляемого на нем следа,
пройти в согласии со своим
внутренним качеством — душой.

О познании себя в условиях тюрем и лагерей
эта книга, о поиске смысла своей жизни,
о становлении души и духа,
о стремлении к истине.

Один праведник сказал: «Спаси себя —
и вокруг тебя спасутся тысячи».
Может быть эта небольшая повесть
кому-то поможет встать с колен,
поможет в крошечной тьме,
окружающей нас,
различить свой горизонт света
и пойти к нему.

Автор

1

Не успели еще протиснуть его сквозь узкий коридор на вахту, над которой возвышалась остекленная с четырех сторон будка с охраной, не успели провести по дощатому настилу вдоль высоких заборов до сруба, стоящего от всей зоны особняком, а уже знали эки, что Буковского привезли.

Тащился он сюда из Владимира в жестком купе без окон, с решетками от пола до потолка, без матраса и простыней, в дыму махры и в облаках мата. Тащился стиснутый со всех сторон соседями по купе, измотанный селедкой и краюхой хлеба — дорожным пайком на день этапа.

И вот теперь целых семь дней надо было торчать ему в этой избе, зажатой в пространстве заборами, вспаханной землей и колючей проволокой — карантинить после дороги. Целых семь дней валяться на дощатом полу, навряд ли матрас принесут, и сдерживать злость на всю эту кутерьму, неведомо от каких седых времен придуманную, кутерьму тюрем и лагерей, камер и зон, этапов и карантиннов. Надо было ему думать теперь, соображать, как устроиться здесь, в Пермской зоне, среди людей новых. Да так ли уж и ново все будет? Сколько лет отирается он по разным баракам, по разным людям — привычно.

Со всем, оказывается, может свыкнуться человек, ко всему приделаться, приручить, со всем смириться, только бы жить, дышать бы только. Сколько, интересно, в человеке от мыши и льва, от тигра и кролика, воробья и орла. Всего напихано понемногу в его утробе. И в селезенке сидит и в печени всякая всячина.

Володя устраивался, укладывал вещи, впихнутые кое-как в мешок после шмона на вахте. Нет уж, пусть тамбовский волк кроликом будет, — думал Володя, — только не он.

И из окна ни черта не видно — сплошные заборы.

Встряхнув бушлат, он покрутил его, оглядел — все вроде на месте, расстелил на полу, лег. И вытянулся весь,

напряженный, словно пружина, готовая сорваться с петли и зазвенеть.

Бушлат свой, легкий, но теплый, где-то мать раздобыла, Володя любил. На нарах ли, либо здесь вот, на крашенных досках, да в том же «Столыпине» на дальнем этапе, он был друг Володе и брат — выручал безотказно. Вот кретин, — глядел Володя на часового в окне, — уверен, что за правое дело торчит над забором.

И был этот забор в окне с часовым на углу как перекресток — перекресток дорог на его пути: вспаханном, глинистом, тяжелом. Не каждому коню такая дорога по силам, не любые сани вынесут ее ухабы и повороты.

Усталость сбивала на сон, путала мысли, тяжестью наваливалась на грудь, на лицо его, скуластое и бледное от недостатка солнца и пищи. Но изредка в пелену тумана и утомленности гулко врывался стук колес, вихрем пронеслись площадные матюги, женский визг и окрик охраны. Мелькали стриженные мужчины, размалеванные женщины за решетками кривлялись и ухмылялись ему, и манили полуобнаженные в бесстыдстве груди. Этап еще бурлил в нем, клокотал, хотя тело и лежало на теплом бушлате. И запах селетки давил и давил на горло, мешая дышать. Хотелось пить, но уже не было возможности встать.

Проваливаясь в сон, краем сознания увидел он вдруг черную гривастую лошадь, подмигивающую ему черным громадным глазом. Дикое ржание рвануло уши и полетело сквозь мозг и череп в бескрайнюю пустоту. И эта пугающая бездна все расширялась и расширялась перед ним, поглощая его тело и его мысли.

В зоне знали уже, что Буковского привезли. Кто-то заметил, как вели по настилу между заборами на камерный новенького. С вахты обслуга из эков донесла и фамилию. Уже тащили к Володе матрас и подушку, и ужин в судках. И те, кто слышан был о Володе, кричали же газеты о нем и на русской земле, не только на Западе, те готовились к встрече: собирали съестное, по крупице с каждого, в общую кучу — скоро выходит. Шмотья кой-какого нужно набрать, может нет у него, все ж из тюрьмы сюда, не с воли.

Разноперая была публика здесь: кто снова сел, кто вошел по первому разу, а кто так долго тянет свой срок, что начала не помнит. Таким все одно: что свобода, что

зона — разницы нет. Привыкли, притерлись: подъем — проверка — завтрак — работа — обед — работа — ужин — проверка — отбой — одинокие постылые ночи, подъем — проверка... А там, на воле, разве не так? Разве там нет проверки? — удивятся они. Свободу рабу кто может дать? Только в рабство попавший. Лишь в рабство попавший способен понять почем лиха пуд и пуд соли почем. Так что там, на воле? Невинных не судят — расхожим стало, бездумным понятием. Посадили — было за что. Дыма без огня не бывает. Да и если лес рубят, то щепки летят.

Милосердная Русь, где рука твоя с краюхою хлеба, обращенная к тем, кто звенит кандалами? Чье сердце сожмется сегодня в тоске, глядя на эзков?

Разные, конечно, бывают эзки. И просто щепя, и кустарник малый. Многие быстро сгорали в огне страданий. Редко, но встречались, однако, и в этом государственном буреломе могучие дубы и высокие сосны. И здесь, в темноте, они черпали свет и тянулись к солнцу. Возрождались из пепла, невзирая на дым и огонь юродивых от революции.

Неистово заревел звонок в коридоре. И двинулись от скворечника, что остекленело возвышался над вахтой, охранники в зону. Медленно, не торопясь, помня достоинство свое и значение, шли они для проверки. Из столовой, из парикмахерской и санчасти, изо всех углов и закоулков зоны подходили к бараку эзки. Здесь, у здания двухэтажного и кирпичного, привычно строились. Подбегали опаздывающие, застегиваясь на ходу, оправляясь.

И стихло все, будто бы вымерло. Проверка — ритуал наиглавнейший для тех, кто в шинелях. В проверке этой их главный смысл, основная задача. И, конечно, охрана.

Стояли молча в шеренгах эзки, как на параде к торжественной дате стоят опричники Иосифа Грозного. Но те добровольно, а эзки — по форме положено. Лишь крик охранника будоражил воздух. Словно выстрел называлась фамилия. И вторая, и третья... И летели они в сторону дома, перед которым стояли шеренгами эзки, и дальше — над всей территорией, окруженной заборами, и дальше — на волю, в лес, уползающий в горы.

На выстрелы эти, сытые, четкие — лишь усталое и безразличное «Я» срывалось с губ эзка и, спотыкаясь, устремлялось вдогонку своему зову.

А этот, что стоял во втором ряду задумчивый и притихший, так отрешился и от шеренги, в которую построили их, и от проверки самой, что пришлось его фамилию дважды выкрикнуть, пока он, вскинувшись на секунду, ответил «Есть» и вновь отрешился, замер недвижно.

До сих пор не мог отвыкнуть Гаврилов от этой флотской привычки — говорить «есть» вместо сухопутного «я», — хотя и начал уже тянуть пятый год лямку зэка. Воистину, каждый, и не только зэк, тянет свою баржу по жизни. Но для зэка баржа эта тяжка особенно. И лямка до крови врезается в плечи, до хрипа давит на горло, до сумасшествия хлещет по сердцу.

Худой, остриженный наголо, одни скулы торчали, он был мало похож на морского волка. В синей зэковской куртке, серых штанах и кирзовых сапогах — не пахло и озером от этих одежд, не то чтобы морем.

Строй распустили. И пошел он по кругу хмурый и молчаливый. Круг этот, а вернее — площадка с углами под радиус, была перед домом. К ней спиной и стояли зэки в шеренгах во время проверки. Летом, в свободное от работы и проверок время, играли на этой площадке в мяч. Когда же зима, лежала она саваном белым, белым холмом, будто могильным. На этой площадке весь их досуг, все развлеченья. Дом, площадка, сруб-туалет, за ним и справа поляна с вершок квадратный, колючая проволока, за ней запретка и высокий забор, доска к доске. И дальше уж — воля. Справа от площадки, если к запретке спиной стоять, за забором больница с маленьким моргом. И там заборы со своей территорией для прогулок больных: здешних, из 35-й, или чужих, из соседних зон, которых не мало раскидано по Пермскому околотку. Широко ГУЛАГ, по-русски размашист: от Москвы до самых до окраин.

Слева от площадки — прилепнутая к земле столовая и в ней же клуб. Немного назад, ближе к запретке, — баня, а в центре зоны, как пуп земли, заложен недавно совсем новый барак из пахучих и мощных сосновых бревен для начальства и для санчасти. Старая их хибара, длинная, неуклюжая, наклонилась к земле, словно примерялась к новому месту, словно пыталась сойти с ветхого основания своего, но что-то держало, мешало расстаться с прожитым прошлым. Так и застыла она в нерешительности и неведении своем, в ожидании чуда. И уж за этим строением, за пустырем, за обветшалым до последней доски складом, где хранилось зэковское барахло, недозволенное к ношению, и дальше, за забором, в

самом углу этой Пермской зоны, и ждал часа своего Буковский. К этому углу зоны и шел Гаврилов, офицер без погон, моряк без моря. Медленно, не торопясь, с каждым шагом приближая встречу с Володей.

Первое дело на Руси — благоустроить начальство, — думал он, проходя мимо мощно заложенного строения. — Дом, конечно, для семьи. Кабинет для работы. Все просторно чтобы, да с шиком. И все остальное тянуть уже к этому центру: машину — лучше с шофером, дачу — лучше с охраной, командировки — лучше за границу. Место выше — и аппетит выше. Известно же: власть — нажраться всласть. Всем же это понятно. Так нет: и дерьмо надо завернуть в фантик, а грязные дела — одеть надобно в тогу идеологии. В школе учим: рабы не мы, мы не рабы. А в жизни: рабы немые. И огорожат свое вонючее логово, обихоженное потом и кровью немых рабов, бетонным забором идеологии: иди от логова моего сирый и нищий.

Шел он дальше через пустырь по тропинке им же протоптанной. Любил это место, где никто не мешал, не топтался никто, не лез в душу с камнем за пазухой.

Почему так хорошо наедине с деревьями, рекой, травой, с этим вот пустырем, даже с колючим забором. И тягостно с людьми, особенно — с близкими. Смерд и грубость в сердцах наших. Самолюбование, гордыня в сознании.

И дальше прошел к обветшалому складу. Присел на ступени.

Тяжело, конечно, и здесь, и на воле. Каждый в своей тюрьме, за решетками каждый. От себя куда убежишь. Свое дерьмо где захоронишь. Все свое с собою и носим.

И медленно обратно двинулся по тропе. В барак вошел — время отбоя. Умылся, быстро разделся и полез в постель, на свой второй ярус. И ворочался долго — не мог уснуть. Лезли и лезли в сознание лохмотья мыслей своих и чужих, обрывки фраз, чьи-то лица и звуки. Но особенно долго вертелось в нем: идеология — иди от логова... иди от логова моего... иди от логова...

И чтобы стряхнуть с себя эту липкую мысль, он начал внушать храпевшему уже соседу, чтоб не храпел. И когда тот затих, Гаврилов уставился своим сверлящим взглядом в его висок, мысленно приказывая и приказывая повернуться ему со спины на живот. И поворачивал, поворачивал спящего в своем сознании, смотрел неотступно через

проход между койками на соседа. А тот, заругавшись во сне, тяжело вздохнув, повернулся на бок. Но все шевелился, кряхтел, двигал руками и головой, пока, наконец, вздохнув облегченно, не лег на живот.

Зона медленно погружалась в сон, дышала неровно и нервно, изредка вздрагивала. Так же изредка на протяжении ночи гулко стучали сапоги по коридорам и комнатам, сновал луч фонаря по стенам и койкам — проверяла охрана, все ли на месте.

На койке второго яруса, на коленях стоя, замаливал грехи немолодой мужик лет пятидесяти, за войну осужденный, днем краснощекий, а сейчас — мрачным силуэтом маячивший. Молился, вскидывая взгляд к потолку, что-то шептал непрерывно, утыкаясь носом в подушку. Задница его монотонно то поднималась, то опускалась, и нос — то к потолку, то в подушку. Фонарь выхватил эту странную фигуру из темноты и скользнул дальше — привыкла охрана к нему и не мешала молиться.

То там, то здесь сползал иногда с койки заспанный эск и шлепал в кальсонах до конца коридора по-малому в туалет, а если по-большому, то бежал трусцой через ту площадку в дощатый сруб на шесть персон, потом торопливо, но затажно курил, надсадно кашлял и лез на свой первый или второй ярус досматривать надоевшие сны, либо вновь, в который раз, переживать «незаконно» содеянное.

Но вот стихло все — и шаги, и монотонное бормотание. И тишина навалилась на спящих своей таинственной грудью. Обняла всех единым цепким объятием. Все разрозненное, забытое и забитое, беспомощное и одинокое стало всеобщим незримым телом гигантского левиафана, имя которому Царица Ночь. Но кто ее свита, кто ее подданные?

Куда уходят в ночи наши радости и печали, заботы и надежды? Тела эллина и иудея, раба и владыки одинаково беспомощны во время сна, одинаково одиноки. С кем мы там и зачем? Не там ли, в бесконечных глубинах сна, находит каждый ту, пусть маленькую, но опору, поддержку, которая помогает ему среди земных горестей и болезней, насилия и жестокости, среди всего этого земного ада, ужасающего и безысходного, найти свой исход, свой вы-

ход из загона, обнесенного колючей проволокой, вспаханной полосой и двойными заборами.

Потому-то и сон для зэка — дело святое. Да не разбудит спящего бодрствующий, не окликнет, проходя мимо, не толкнет намеренно койку.

Спал и Гаврилов Геннадий Владимирович, тридцати четырех лет от роду, неказистый, неприметный совсем, серый среди серого полотна идущих по асфальту прохожих. Целых четыре года и немного от пятого спит он так одиноко. И сны для него — и жена, и мать, чаще — кошмар, иногда же — прозрение. Но сегодня — не было снов у него. Он часто вздрагивал, просыпался, иногда ворочался и стонал. Весь напряжен был в ожидании утра. Буковский Володя — сидело в нем это имя, не давая уснуть...

Когда же, наконец, устроили Буковского у окна на верхней койке, когда наполнили его тумбочку жратвой на первое время и поделились с ним куревом из потаенных запасов, когда место в каптерке нашли и снесли туда его вещи, когда сделали все эти дела мелкие, но важные в зоне, тогда только, заварив трехлитровую банку чая так, что стекло прозрачное отливало коричнево-черным, собрались они на поляне с вершок квадратный, где отведено было место зэкам для загара и отдыха. Здесь и раздеться можно до пояса, можно погреть свои ребра и тощие ноги уютным теплом июньского солнца. Можно лечь было, подрядив под себя фуфайку, на прогретую сибирскую землю и глядеть, долго глядеть в голубую бездонность неба, и забыть, и помечтать. Мечтами, собственно, и жив зэк. На воле мечта — так, между делом. В зоне мечта — само дело и есть.

Гаврилов часто, бродя в одиночестве, уносился в мечтах далеко за зону. Обостряются чувства, когда один. Но где мечты, там и из памяти разное лезет. Откуда это: то нет ничего в дурной башке, то будто вчера все и случилось — так ясно и полно о том, что кануло в лету. И выплывало: снаряд в окно — и на кухне взрыв. Пыль и гарь — и матери слезы. Миска с травой и очистки картошки. Хлеба кусок и шинель отца, махрой пропахшая, землю и дымом. Много было в ленинградской блокаде. Лампадка в углу маленькой комнаты — и свеча у иконы в Никольском храме. Теплая печка в детском саду — и щека, до жара нагретая от этой печки. И длинные-длинные очереди

в маленькую полуподвальную булочную за баранками и хлебом. Но сейчас не до мечты ему было, не до этих воспоминаний.

Сейчас выбрали они место, где удобнее сесть — подалее от туалета и неблизко к запретке, чтоб не гоняло начальство. Стелили фуфайки и обустривались на них кто по-турецки, кто по-японски, а кто просто на корточки или бочком. Владлен ссыпал на газету конфеты, Гера выкладывал пряники и печенье. Саша Чекалин осторожно, чтоб не разлить, а тем более — не разбить, устанавливал на фуфайку заветную трехлитровку с горячим чаем. И наполнили кружку так же бережно и торжественно, как несли саму банку. И пошла она по кругу из ладони в ладонь через каждые два глотка — символ зэковского единства.

Володя был раздет до трусов — в белой майке и сам еще белый от тюремного солнца. И ноги скрестил, как православный зэк, которому привычно уже вот так вот на тюремной койке сидеть от подъема и до отбоя. Бледное лицо его с оспинками и черные брови над живыми глазами привлекали к себе. Гаврилов, как бы всем телом, всем существом своим, прислушивался к Буковскому: к его уверенной и быстрой речи, к звонким интонациям голоса.

Осторожными касаниями тек разговор от одного к другому: уточняли знакомых по лагерям и по воле. На воле-то Гаврилов слышал о многих: Синявский и Даниэль, Гинзбург и Галансков, не говоря уж о Александре Исаевиче, Илья Габай и Павел Литвинов, Лариса Богораз и Вера Лашкова, Петр Григоренко и Андрей Дмитриевич Сахаров. Эти имена и эти фамилии в конце шестидесятых — начале семидесятых годов были на слуху у всех диссидентов. И Владимир Буковский был среди них, известных и многозначных.

Геннадий Гаврилов относился к другим, к тем маленьким людям, о которых не ведал никто, кроме двора или улицы, где жили они, кроме завода, на котором работали, кроме следователя и местного прокурора, кроме свидетелей по уголовному делу. И дел таких находилось не мало. И сидели они — Абанькины и Чеховские, Чекалины и Богдановы, Косыревы и Сенины — никому неведомые, никем неизвестные. Мелкоту за мелочь и сажали в лагерь. Крупная рыба часто мимо плыла лагерной зоны. Но на закате хрущевской оттепели зарождающуюся волну бреж-

невизма приняли на себя и их хрупкие плечи. Соленой была эта волна, жесткой и беспощадной.

И здесь, в зоне, в это жестокое время разве можно было рассказать все о себе с первого раза, с первой встречи, пока не знаешь еще людей, а только знакомишься? Слово в зоне весит побольше, чем с другой стороны забора.

И больше слушал Гаврилов, чем говорил. И Павленков Владлен, поправляя очки, сбегавшие с его узкого красивого носа, вопросов не задавал. Молча приглядывался. Высокий и нервный, лет за сорок мужчина, попал он в историю скорее по случаю, чем осознанно. Но, взяв лидерство, тянул, не сгибаясь, лямку зэка и за поделщиков, и за отца репрессированного.

Случай этот, однако, оказался всеобщим. Шли и шли в лагеря демократы, марксисты, борцы за политическую и интеллектуальную свободу. Висело в воздухе, что изжил себя коммунизм Сталина и Хрущева. Искали выход в первоисточнике — у «великого» Ленина. И у Гаврилова в его «Открытом письме» шли разделы: соотношение сил, кто виноват, что делать, — почти по Ленину. Наивнизм, да и только.

Слушал молча Гаврилов, как и Владлен.

Лишь верткий Гера непрестанно насакивал и насакивал на Володю — не сиделось ему, не терпелось и самому слово вставить.

Владимир Константинович все так же сидел, скрестив ноги, на своем легком бушлате, отогреваясь под солнцем. Говорил быстро и четко о новостях Владимирского централа: кто прибыл туда, кто убыл. Огурцов там по ленинградскому делу — христианский союз, тоже из моряков — отец офицер, — повернулся он плечами к Гаврилову, с которым рядом сидел. А недавно привезли...

Почти никого и не знал Гаврилов — много новых, много и неизвестных. К тому же он плохо вникал в эти фамилии. Зрительно помнил хватко, надолго. Через несколько лет узнавал встреченного единожды. Но часто при этом терялся: как же имя и как фамилия? Здесь, однако, заострил для себя и запомнил: теперь у нас два Константиновича, Владлен и Владимир: Владимир Ленин и Владелец Мира.

— С Галансковым не встречался? — почти выдавил из себя Геннадий Владимирович, обращая к Володе свое емкое «ты». Не привык он, да и просто не мог, вот так сразу по плечу и на ты. Бранил себя, что нелепо здесь церемониться, но что-то внутри противилось каждый раз и давило чувство вины, мешало ощущение своего достоинства.

— Нет, не встречал, — ответил коротко. — Слышал: с язвой мотается. И некогда было. На свободе я побыл немного совсем.

На свободе, — про себя повторил Гаврилов. — Какая ирония. Здесь, за проволокой, — малая зона. Там — зона большая. Менее очевидная, но зона. Тот же надзор. Несвобода та же. Скрычен, задавлен человек, к земле пришлепнут. При этом: с улыбкой держись и песни пой, восхваляя очередного кормчего. Почему не может жить человек и сердцем достойно, и разумом высоко? Мир растений, животных прилажен как-то, гармонично устроен. Цветы взять: красота какая, совершенство, достоинство. Все открыто: смотри — так же и делай. Красиво, чисто. Нет: все вывернет человек, вверх ногами поставит — и, сев в дерьмо, радуется содеянному.

И пока наливали чай в опустевшую кружку, как всегда приумолкнув, вспомнил Гаврилов жаркий август семидесятого года.

2

Тогда, тому три года почти, везли его из тюрьмы в тюрьму по этапу в его первый зэковский лагерь: Калининград, Вильнюс, Псков, Горький, мордовская Потьма. Селедка и хлеб, селедка и хлеб, селедка и хлеб. В промежутках — камеры с уголовными.

Затем Явас. И последний воронок до поселка Озерный. Моряку самое место.

В воронке этом, в стакане, особой камере для одного человека, кто-то сидел: только ноги торчали, носки ботинок. Трясли немало по лесным ухабам. Ухабы эти по России во всем и во вся: и дороги корежат и души. Как у хозяйки: на кухне грязь, в спальне хаос, завалы на полках — то же и в сердце, так же и в голове. У немцев возьмем, — трясса Гаврилов, — пунктуальность, скрупулезность в политике, у Гегеля — в философии. Вокруг домов: ухожен-

ность, чистота. И на улицах. И в городах. Как-то не привилась нам их упорядоченность. А со времен Петра уж сколько минуло. Эх, мать-перемать, только можем мы сказать.

Сквозь решетку камеры, в которой Гаврилов сидел, только и видно: круглая морда охранника да ствол автомата. Здесь вот у нас порядок. В насилии, в давлении, в принуждении. Крепкие корни у опричников Грозного. Интересно, Сталин не его ли потомок по матерной линии.

И мотает машину туда-сюда, вверх и вниз, налево-направо. Дернется, осядет вдруг воронок и тащится дальше. По этим дорогам и познаем мы Россию.

— Куда везут-то? — обратился Гаврилов к носкам ботинок.

— Обратно в зону. Вещи забрать.

— На волю что ли?

— Во Владимир, — усмехнулись ботинки.

— Чего так?

— Да, было дело.

— Это быстро у них. Здесь не ржавеет. Звать-то как?

— Гинзбург.

— Алик! — заволновался Гаврилов. — Александр, извините?

— Александр.

— Ого, слышан я много. А Галансков-то здесь? Юра?

— Здесь. В малой зоне.

— Кончай разговоры, — изрек охранник. И круглые щеки его грозно разгладились, напряжились, заблестели, как два спелых плотных помидора.

— Ладно, начальник, не строжись, — ответил Гинзбург.

Гаврилов смолчал: не резон соваться, не зная броду, в чужую воду.

Лихо подпрыгнув, охранник больно ударил себя автоматом по ляжке. Щеки его сморщились, подзавяли. Весело дрыгнулись и ботинки в стакане. Гаврилов же задом так приложился к скамье, что, язык прикусив, поник от боли.

Когда же доехали и машина встала, когда распахнули стакан и крикнули емко: — Выходи! Поживе-йе! — тогда увидел Гаврилов в проеме света пышную бороду, удивительно рыжую. И потемнело в машине от широкой запол-

нившей весь проход спины. Это и был Александр Гинзбург, подельник Юры.

— Ну, счастливо! — крикнул Гаврилов движущейся по проходу спине.

— Пока, — и боком к дверям. И спрыгнув на землю, шагнул в канцелярию.

Хлопнула дверь. Рывкнул мотор. И вновь по ухабам. Но вскоре стоп: как носом ткнулись. Молчали долго друг против друга со спелым начальником: сдавала охрана прибывшего зэка. Пока бумажки листают — машина ждет. Наконец и ему: — Выходи! Поживе-йе, — замок из петли и решетку настезь.

И спрыгнул на землю Геннадий Владимирович. В тридцать лет арест. В тридцать один — первая зона.

— Руки назад, — толкнули к воротам.

За воротами, в самой зоне уже, семнадцатой малой, стояли на высоком крыльце барака здешние зэки, старожилы мест, аборигены почти. Смотрели на новенького: кто, мол, ты, парень?

Барак, одноэтажный и длинный, низкий барак, только крышею высился над забором и проволокой. Да и сам забор был не столь высок, разве что проволоки широкий намот. «Наверно под током», — решил Гаврилов. И в длину забор метров четыреста от конца до конца. Небольшой стадион — вся малая зона. И тот пополам — еще забором. И вот направо: барак-мастерская. Налево, куда ворота и двери: два барака жилых, деревянных и длинных, обветшалых уже, два пятистенника. И еще два строения меньших размеров попрочней и получше. Хорош стадион, — думал Гаврилов. — С руками назад высоко не прыгнешь. Далеко от овчарок не убежишь. Да и пуля догонит быстро. Такие игры с людьми. На специальной площадке по особым правилам: и борта есть и лузы, — человеческий бильярд. И бьют, и ядра пуль иногда бросают.

И пока так стоял Гаврилов в заминке, под охраной собак и двух автоматчиков, что-то решала охрана на вахте, пригляделся ему на высоком крыльце широченный красивый лоб над очками в черной оправе. И роскошная борода такая же черная. Борода эта и поразила Гаврилова прежде всего. Владелец ее руки держал на груди и, степенно наматывая на палец свой левый ус, прикусывал его легонько губами. И вдумчиво всматривался во вновь при-

бывшего. «Не Юра ли?» — подумал о нем Гаврилов. В книге «Слово и дело» он упоминал Галанскова не раз и не два. И Гинзбурга, конечно. Синявского и Даниэля. И Солженицына. Но Юру подробнее. А встретиться не пришлось. И вот говорят: здесь Тимофеевич. При любом раскладе, хоть и не встречались они, но все не так одиноко будет. Как-никак, а Юра свой: диссидент, несогласный, инакомыслящий, политический.

Но вот это «политический» не принимало начальство, не признавало. И в газетах везде: «нет политических заключенных в Советском Союзе»; «у нас не судят за мысли, но лишь за противоправные действия». Так и числились диссиденты за уголовников. Удивительное это дело — идеология. Высшая магия, мистика на грани фантастики, вселенский гипноз при полном слиянии гипнотизера со своей жертвой, полусон наяву.

Дверь отворилась.

— Проходи!

И ввели в коридор: полутемный тоннель в преисподнюю. А вплотную за ним: перекрестье ремней, пистолет в кобуре, галифе, сапоги. И в затылок:

— Прямо. Руки назад.

И вторая дверь. Окно охраны.

— Пошел.

И в дверь направо. Коридор пошире и с окнами. Еще одна дверь нараспашку направо в комнату. Здесь старшина грудью навстречу:

— Заходи. Раздевайся.

Огляделся Гаврилов: просторная комната, столы для шмона, стол однотоумбовый и стул, кнопка звонка, на окнах решетки. И вещи его разбросали уже: вещмешок, расческа, катушка ниток, носки, полотенце, фуфайка и шарф, шапка ушанка, кальсоны и майка, платок носовой, стопка тетрадей из разных листов, аккуратно прошитых.

Тетради эти: его дневники, конспекты книг, материалы следствия и суда, а верней — трибунала, письма жены и немногих друзей, что писать не боялись в малую зону. Всю эту пачку враз отложили на стол однотоумбовый. И в телефон:

— Здесь у него какие-то записи... Хорошо. Понятно, — и уже к нему:

— Поживей раздевайся... Трусы снимай... И носки...

— Трусы-то зачем?

— Делай как велено, — и вывернул шапку, подкладку вон, и вата наружу.

— Обязательно рвать? — оголился весь и срам инстинктивно прикрыл руками.

Осмотрели его: грудь и спину, ладони рук и у ног ступни, — нет ли послания из тюрьмы или с воли.

— Раздвинь ягодичы, — и там ничего. Присесть велели и яйца поднять.

— Не поднимаются яйца, начальник.

— Что? — нагнулся к Гаврилову. — Умный больно. Заглянули в рот — язык наружу:

— Одевайся.

И пока одевался он, рассмотрели еще его фуфайку: каждый шов, каждую складку. Вещмешок, старый и ветхий, разорвали почти.

Шмоны эти в тюрьмах и лагерях, раздражающие и унижающие, — отработанный до мелочей ритуал, стриптиз мужиков и баб, изможденных и подневольных. Ни смысла здесь, ни эстетики — надругательство и позор, специально государством предусмотренный. Униженные и оскорбленные, раздетые и согнутые, немые рабы куда ведут вас, гонят куда? В светлое завтра?

И вещи сложив, рванулся он к старшине:

— Письма отдайте. Тетради.

— Проверим — получишь.

И вывели вон: налево в дверь к окну охраны.

— Ведите в зону.

Затем к нему:

— Третий отряд. Второй барак. Постель на складе. Вопросы будут?

— Верните тетради!

— Проводи, старшина.

Вот и зона. Внутри много меньше показалась она ему, чем снаружи. Все впрыток: от колючей проволоки десять шагов до стен барakov. Двадцать шагов между бараками от крыльца до крыльца. Рядом с первым баракom, ближе к воротам, деревянный сруб: санчасть и столовая. Напротив него такой же сруб, в котором и баня, и склад, и библиотека. За складом, у запретки почти, туалет-развалюха.

И весь колорит, весь окрест, вся мелодия зоны. И жаркое солнце нестерпимо палит. И пыль под ногами. И на сердце пыль: неурядиц, невзгод, неуют мирского.

Не дойдя до барака, уже спросил Гаврилов проходящего мимо:

— А где Галансков? Юра где?

— Да где-то здесь был. Можя, в санчасти? Подымись по крылечку-то, подывися.

Но не поднялся Гаврилов, а дальше прошел с тем старшиной, что шмонал его вещи, на склад за матрасом. И простыни дали ему, одеяло, подушку, кой-какое белье.

И когда сбросил он все на свободную койку, тогда лишь выяснил у деда с окладистой бородой, белой и длинной, что Юра там, в мастерской, за тем забором, что резал зону на два куска-пятака, а точнее: два гривенника.

Барак изнутри был широк и приземист. В два яруса койки от стены до стены в четыре ряда. Посредине проход от дверей до стола, за ним у стены полки и книги.

К этим книгам и пошел Гаврилов, а вернее — приблизился осторожно, торжественно. Книги для него и смыслом были и радостью жизни. Бережно гладил он корешки, ласкал их, внимательно вглядывался в названия, не решаясь снять с полки чужую книгу. Поль Гольбах и Томас Гоббс — это знакомо, — проговаривал про себя Гаврилов. — Кант и Морелли. А здесь: подшивка «Колокола». Не удержался, снял и начал листать журнал за журналом: Чьи это? Юры? — И глазами по полкам. «Оберман» Сенанкура. Его он читал еще в северной «Западной Лице», когда был курсантом. И вспомнил из «Обермана»: «Подлинная жизнь человека заключена в нем самом, а все, что он получает извне, случайно и подчиненно». Эта жизнь в нем самом и позволила Гаврилову осилить следствие и трибунал, и теперь вот вступить в малую зону.

Пять лет расстояния от Лицы до зоны, а сколько пройдено, пережито, сколько построено и поломано. Офицер — и матрос без погон, но с нашивками зэка. Женат — теперь монах в монастырстве «Озерном». Дружья и смысл интересной жизни — ныне: найдешь ли Друга в дебрях ГУЛАГА?

Прав Достоевский: «Природа насмешлива! Зачем она создает самые лучшие существа с тем, чтобы потом на-

смеяться над ними?» Смех судьбы — не в таком ли падении, не в такой ли метаморфозе?

Из всех русских писателей, Достоевского Гаврилов любил больше всего. К современным же книгам относился скептически, предпочитая художественные вирши изысканиям математиков и физиков, историков и философов. И в Достоевском нравился ему не столько писатель, сколько мыслитель. Но вот на мыслях современных политиков он и споткнулся.

3

ДЕЛО № 354. МАТЕРИАЛЫ СЛЕДСТВИЯ

Из показаний свидетелей:

...Знаю Геннадия Гаврилова как решительного, целеустремленного человека, много думающего о своем будущем. Он всесторонне старался себя развить и проявить на научном поприще. Он считал, что каждый человек должен быть эрудирован в современной науке, хорошо знать философию предшествующего периода развития человечества, чтобы правильно разобраться в современных событиях.

...Мне он показался необщительным и высокомерным потому, что по своей инициативе ни к кому из инженеров и техников вычислительного центра училища за помощью не обращался. Но потом я понял, что он исключительно настойчиво занимается научной работой и у нас успешно провел исследование в области ядерной физики. Хорошо знает математику, электронику, вычислительную технику.

...Если он говорил, то только о деле. Офицеры нередко упрекали его, что даже во время перерыва или перекура он не находил время поболтать с ними.'

...Гаврилов много работал над книгами. Я видел, как он конспектировал труды Ленина, книгу о декабристах, занимался стенографией. Он трудолюбив и усидчив.

...У него была машинка, на которой он много печатал. Как-то раз, зайдя к нему домой, я увидел на столе пачку бумаги листов на 350 машинописного текста.

...Особенно его интересовали политические и философские произведения старых изданий. Несколько раз он просил меня привезти книги с базы о съездах партии, в

частности, просил материалы по 20 и 22 съездам. Я привозила ему стенографический отчет пленума ЦК КПСС 1952 года. Вообще он покупал литературу на значительные суммы денег и брал иногда книги, не имеющие спроса.

...На партийных собраниях Гаврилов часто выступал с ненужной и резкой критикой. Коммунисты, в том числе и я, считали, что в отношении Чехословакии он заблуждается, но враждебных взглядов и намерений не имеет.

...В периоды чехословацких событий в августе 1968 года он высказывался против ввода союзных войск в Чехословакию и пытался навязать свое «особое» мнение о «незаконности» данного акта. Более того, при разборе персонального дела на партийном собрании ошибок своих не признал, а с трибуны собрания в своем часовом выступлении проявил политическую незрелость, отсутствие классового подхода к оценке событий, допустил антипартийные и антигосударственные высказывания, пытаясь доказать правильность и юридическую законность своего «особого» мнения.

...В феврале 1969 года партийным собранием коммунистов Гаврилову за неправильные высказывания о политике КПСС и Советского правительства в период чехословацких событий был объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку. В мае Партийной Комиссией при Политическом Управлении дважды Краснознаменного Балтийского флота за антипартийные высказывания и антипартийные действия Гаврилов был исключен из членов КПСС.

...На партийных собраниях в апреле-мае 1969 года в подразделениях части Гаврилов подвергся резкой критике в докладах. Так в докладах говорилось: «Информация снизу поставлена плохо. Это подтверждается тем, что отрицательные нездоровые настроения, а по сути дела антипартийные, антисоветские взгляды, высказанные Гавриловым в августе прошлого года, стали известны командованию и политотделу части только в декабре... Набить себе цену и возвысить себя во мнении других тем, что изучаешь философию более глубоко, чем другие, а на самом деле в голове иметь неправильные взгляды, взгляды с чужого голоса, интерпретировать смысл происходящих событий и допускать грубые искажения политики КПСС и Советского правительства в условиях резкого обострения идеологической борьбы на современном этапе — это значит умалять социали-

стическую идеологию, отстраняться от нее и тем самым усиливать идеологию буржуазии».

...Индивидуальные беседы, продолжавшиеся по несколько часов, провели с Гавриловым секретарь парткомиссий при политотделе части, заместитель начальника политотдела, начальник политотдела, командир войсковой части, секретарь парткомиссии при политуправлении Балтийского флота, инспектор политуправления Военно-морского флота. При этих беседах ошибочное, неправильное мнение Гаврилова было убедительно отвергнуто.

Из показаний Катаева Василия Георгиевича, майора, руководителя дипломного проекта Гаврилова:

...Я очень искренно хочу помочь Гаврилову во всех его научных делах, работе, разобраться в его неверных, преступных, с моей точки зрения, действиях, прошу помочь органы госбезопасности, партийную организацию, коллектив офицеров сделать то же самое, ибо я верю, что все его заблуждения исходят только из одного — от плохого знания коллективом данного человека, от недостаточного воспитания молодых офицеров в их жизни.

Из показаний лейтенанта Алексея Косырева, подельника Гаврилова:

...Я считал его знающим человеком в вопросах общественного развития и какие-либо советы, рекомендации по этим вопросам считал давать неуместными...

Он тщательно следил за событиями в Чехословакии. Делал вырезки из газет, подклеивал и собирал их в отдельную папку. Думая сейчас над всем этим, я со всем основанием заявляю, что выводы, которые делал Гаврилов, это результат его мировоззрения, осмысливания действительности... Он много интересовался декабристами, народниками, читал Герцена, Бакунина, Кропоткина.

Книга Степняка-Кравчинского «Россия под властью царей» была его настольной книгой.

Гаврилов стоял на позиции, что надо заниматься политикой и что так всегда было в истории, когда все передовое в своем зарождении претерпевало гонения со стороны привычного, устоявшегося.

Из актов амбулаторной и стационарной психиатрических экспертиз:

...Чувства вины нет. Упорно отстаивает свои убеждения. Лично своей судьбой не обеспокоен, тяготит лишь то, что

будет в разлуке с семьей и не сможет помогать ей материально... Интеллект высокий, но мышление обстоятельное. На вопросы дает исчерпывающие ответы. Обнаруживает значительный запас знаний по философии, истории. Свободно владеет речью, имеет богатый запас слов. Свою деятельность не считает антисоветской. Предлагает переубедить его... Вменяем.

Из показаний старшего лейтенанта Гаврилова Геннадия Владимировича:

... Да, мы беседовали с Сергеем о культе личности и о возможностях его возрождения в нашей стране. Обменивались мнениями о последних политических процессах в Советском Союзе, о репрессиях, о свободе вообще и о интеллектуальной свободе в частности. Затрагивали в беседах и работу академика Андрея Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

4

Подровняв, как была, подшивку «Колокола» на полке, Гаврилов снял наугад том сочинений Голсуорси, прочел открывшееся: «Дело не в том, прав я или не прав, а в том, что вы все заставляете меня трусливо отмежеваться от своих взглядов только потому, что они не популярны». Страница 33, — машинально отметил Гаврилов. В 33 распяли Христа, — продолжил он мысль. — За это самое и распяли: не отказался от своей позиции, от своего понимания отношений между человеком и Богом, между человеком и человеком. Не совпало мнение Христа с мнением синедрiona. Это верховное судилище во главе с первосвященником чем не политбюро во главе с генсеком? И там, и там — фанатизм и лицемерие под маской благочестия и партийной этики, круговой поруки. А народу на показ: свои подвиги и свои молитвы, свои заклинания, и раздача милостыни. Россия вся с протянутой рукой. «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие».

И пока он так разбирался с книгами, вошел в барак быстро и звонко Александр Гинзбург:

— Привет! — и рыжая борода его взметнулась куда-то вверх.

— Привет, — обрадовался Гаврилов. — Какими судьбами?

— Книги забрать, — и начал снимать с полок, выбирать свои книги. И стопку «Колокола» грохнул на стол.

Перехватило у Гаврилова в горле: увезет. Затем к Александру:

— Не могли бы вы оставить мне «Колокол»? Был у меня на воле один только номер. Хотелось бы Герцена поподробнее посмотреть. Теоретик все же «русского социализма».

— Забирай, ладно, — и широко, светло улыбнулся.

И начал Гаврилов Александру помогать: пустые коробки таскать, книги укладывать, а затем, к животу коробки прижав, нес ее через весь барак к двери, на двор, к телеге, запряженной понурою клячей. И со склада коробки, чемоданы — всё книги. Удивлялся Гаврилов: откуда столько, и таких книг. Попросил еще было оставить Канта: «Критика чистого разума».

— Не моя это, Юрина, — ответил Гинзбург от самого низа, от пола почти. Там собирал он остатки журналов.

И вышли под солнце. Обнялись горячо: попрощались. Пошла понурая. Тихо, размеренно, обреченно. И Алик притих на телеге. Начиналась новая для него жизнь, другая страница его истории в центре Владимира.

«Довольно грустить, — писал Герцен. — Мы отдали миру, что ему принадлежало; мы не скупилась, отдав ему лучшие годы наши, полное сердечное участие; мы страдали больше него его страданиями. Теперь оботрем слезы и будем мужественно смотреть на окружающее. Что бы там, наконец, ни представило оно, перенести можно, должно... Мы успели ознакомиться с нашим положением, мы ни на что не надеемся, ничего не ждем или, пожалуй, ждем всего... Нас может многое оскорбить, сломать, убить, — удивить ничего».

Через час — конец работы: распахнулись ворота из рабочей зоны в жилую. И попер зэк скоро и широко, лишь пыль под ногами.

И Юра уже летел навстречу — передали ему, что ждут его в зоне. Летел невесомый почти, не касаясь земли. С легкостью этой трудно вязались суровость лица и впасть щек, плотно сжатые губы и наполненные страдани-

ем глаза. И совсем уж не шла к нему, но, в то же время, была неотъемлема, люциферова борода его.

Он снял очки, быстро протер их извлеченным откуда-то мятым платком, и также быстро повесил на нос. И борodu устремил навстречу Гаврилову:

— Юра, — и руку подал сухую и узкую.

— Геннадий, — и продолжил, разбивая возможную паузу, — с этапа я. Дело офицеров Балтийского флота может быть слышали?

— Нет пока, — и повел его в барак: смотреть как Гаврилов устроился, где поселился...

А еще через час, после ужина, выперли на веранду они, что была между секциями у входа в барак, две скамейки и длинный стол. И все уселись тесной компанией: русские, латыши, украинцы и евреи.

Здесь чтители традиции.

И приятно было Гаврилову, что и этот вот, в черных очках и с широким лбом, с бородой как у Маркса, Юрин приятель, а может и друг, тоже здесь. Только Юра и был с ним на ты, остальные на вы обращались. Внешний вид — половина дела. Иванову же, Николаю Викторовичу, члену Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа, солидности было не занимать ни в лице, ни в походке.

5

И когда наполнилась кружка чаем, свежим и терпким, Гаврилов взглянул на Владлена: его тогда не было еще в мордовской малой. Он приехал попозже. И сразу бородку завел: густую, волнистую, седеющую. Здесь, в пермской зоне, эту роскошь не позволяли уже — времена изменились. Посуровели, стали жестче и злее. Хотя, казалось бы, на станции Всесвятская снимали их со Столыпина и — в воронки: гуртом до зоны. Но все святые испокон веку с бородами ходили. Да советская власть разве даст пропасть? — и бороды сбрили. Двадцатый век — не второй век, и даже не первый. Все открыто, раздето: и душа, и мысли, и лицо, и тело. И тонкие губы Владлена, и клинышком подбородок обозначились оголено. Упрямец, — подумал Гаврилов. — Но характер — неплохо, если в меру и не на баб. Попробовал было и Гаврилов тогда отпустить свою бороду, но кроме жидких кудрей с татарским оттен-

ком ничего и не вышло. Да и что могло путного выйти у него, во всем неудачника.

Как уж рвался он в небо — летчиком стать. Была в Ленинграде такая школа для восьмиклашек. Вот и комиссия в военном госпитале: ни час, ни два, а на целый день.

— Следующий!

Входит к врачам. Здесь вращенье на стуле, там слух проверяют, в том кабинете — зрение. Рост и вес, и легких объем. Различение цвета. Остроту нюха. И все это весело.

А между врачами, в коридоре на стуле: боль в животе и в спине боль. И ладони рук удивительно мокрые. Наконец, к концу дня, когда двое остались, полковник ему:

— Гаврилов?

— Гаврилов.

— Геннадий Владимирович?

— Да, Геннадий.

— Готовься к экзаменам.

Домой бегом: на сердце радость. Но как доехал, пал на диван и в крик от боли. И сорок на градуснике. Вызвали скорую.

— На стол его, — перитонит и гной в животе.

— Еще б два часа, — говорила врач, — свезли бы на кладбище.

Наркоз, операция, пенициллина по четыре укола в день: ляжки желты как ромашки под солнцем. Тампоны из марли торчат в животе. И каждый день рвут их оттуда — и новую марлю: воняет еще дерьмом и гноем. А словно в тумане, как жизни тепло, рука медсестры то на лбу, то в ладони. Лишь дней через десять на ноги встал, верней — в невесомость. И месяц спустя хрупким и тонким вернулся в училище: забрал документы. Растворилась мечта облаком в небе.

Но после десятого новый напор: в ДОСААФ, к парашютам. Врачи в заслон: нет, нельзя, аппендицит, да еще сложной формы. Однако доходит идущий и ищущий обретаёт. Нашелся врач:

— Ладно, иди, занимайся, что с тобой делать.

И зиму всю висел Гаврилов в зале на стропях, писал конспекты, укладывал парашюты. По весне, когда снег еще не растаял в поле, подняли их на гондоле в небо. И бросился вниз: дух захватило, и дернуло вверх, и застыл на просторе. Потом земля понеслась к ногам — призем-

лился удачно. В журналах начальство проставило галочки: работа ведется, активно и планоно. На этом и кончилось.

Отхлебнув два глотка, Володя сунул кружку Гаврилову. Тот глотнул почти машинально, чуть пригубя, для приличия больше да для компании. Володя же пил основательно и привычно. Со значением и немного брезгливо подносил кружку ко рту Владлен: не любил он эти общие кружки, предпочитая свою, незамаранную.

И лишь Гера, в рот конфеты заталкивая, пил без всякого принципа.

А с флотом... — печалился Гаврилов, перебирая мысленно свое прошлое. Не в тягость была морская служба. Кронштадт, железо эсминца, Балтийское море — романтика буден. И с ветошью в трюме, когда в мазуте весь, и в доке, когда скоблишь у эсминца брюхо, и в море холодном, суровом, в ясный день и когда штормит — во всем этом был Гаврилов как в себе самом: точен, подтянут и энергичен. И главное: не укачивало его. Ни на Балтике в непогоду, ни на Каспии, в озере-море. А разве мог он забыть дальний поход от Мурманска в Севастополь, от той самой Западной Лицы. И тихие огни ночного Лондона, близкого и таинственного. И пресмиривший вдруг Бискайский залив, Гибралтар и мертвую зыбь Средиземного моря, когда громадный крейсер бесконечно долго поднимается на волне и затем, также надсадно долго, низвергается в бездну. А Стамбул в двух шагах, минареты, мечети, и иные люди на набережной, другой земли и другой жизни. Разве мог он забыть полет катеров по штормящему Черному морю, когда штурвал в руках и волна с головы до пят, когда взлет и падение, взлет и падение, и соль на губах.

И сейчас это помнил Гаврилов не как сон, а как явь, как реальность даже здесь, в преисподней. Все порушено дорогое для сердца, все порушено и для жизни. Да что говорить: борода и та не вышла по рылу.

За раздумьями да беседой не заметили они, как осушили банку до доньшка. Вскинулся было Гера бежать, залить вторяки, но осадили его — по такому случаю не резон мелочиться. И велели, ополоснув банку, сделать засыпку свежую.

— Возьми там у меня, знаешь где, — бросил Владлен.

И пока, ломая ноги, бежал Гера в барак, пока, столкнувшись в дверях с надзирателем, чуть не разбил было банку, успев подхватить ее аж у самого земли. Потом, глоткой беря, объяснял надзирателю, что в тапочках он потому, что ботинки промокли. Затем в рундучной полез в заглазник Владлена — и бережно отсыпал чай на сложенный вдвое листок бумаги. И быстро метнулся в ту малую комнату-кухню их, где вечерами они что-либо жарили или варили, и там, сунув кипятильник в банку с водой, подключил его в сеть.

И пока Гера исполнял это дело, ритуально необходимое, здесь, на поляне, притомилась беседа, приумолкла.

Владлен Константинович ловко трамбовал в папиросную бумагу тонкими пальцами длинные волокна ароматного табака «Нептун». Скручивал плотно, так, что не сыпалось у него, чему Гаврилов никак научиться не мог. Да и не имел он курева своего, хотя и курил иногда по торжественным случаям. И сейчас не взял Гаврилов предложенное Владленом — показать стеснялся свою неловкость перед Володей. Можно было взять сигарету — Володя тоже курил что-то с фильтром, — но не резон, — думал Гаврилов, — знакомство начинать таким вот образом. И сидел притихший, глядя в землю.

И вспомнилась Галя ему, жена, и дочь Любаша.

6

ИЗ ПИСЕМ

19 июня 1969, девятый день после ареста.

«...Галочка, здравствуй. Михаил Николаевич, мой следователь, обещал свидание с тобой. Как хочется тебя увидеть. Как Любаша? Поцелуй ее в носик.

Просьба: материалы Совещания предст. комм, и рабочих партий в «Правде» сохрани. Пригодятся. Книгу «Восприятие и действие» отложи — не продавай. Она на нижней коричневой полке. Журналы получай по почте. Не выбрасывай машинку — после суда можно будет продать ее рублей за 120».

25 июля. *«...Галя, письма и одежду получил. Спасибо.*

Самое плохое это болезнь Любаши и отсутствие работы. Если ты надумаешь послать мне что-либо, то, разумеется, не конфет и печений. Хотелось бы получить: белого хлеба, песку

сахарного, луку репчатого и маргарин. Не говорю уж о масле и колбасе. Да масла и не позволят. Посылку можно послать, а лучшие, если разрешат свидание, привезти. Может Мих. Ник. и смилуется. Хорошо бы мочалочку получить:

Если лишних денег нет, а их, разумеется, нет, то и не беспокойся — обойдусь».

23 августа. «...Галя, на мои письма никакого ответа — шлешь только рубли. Да разве мне рубли нужны в первую очередь, да и во вторую. Чем объяснить твоё настойчивое молчание. Ругай, но не молчи. Если бы ты знала, как мне дорого каждое твоё слово здесь.

Галя, поедешь ко мне на свидание, возьми в синей папочке цитаты из работ Ленина, которые я писал на листах в последние дни перед арестом. Они нужны для дела. Кроме того, захвати шариковую ручку и стержни к ней».

26 августа. «...Гена, мы в Калинин. Любашу здесь оставить не с кем — мама работает. Из Ленинграда тоже вернулись ни с чем.

Любаша стала очень интересная, смешная такая. За две ручки ходит хорошо и немного за одну. Оставляем самостоятельно топтать вокруг дивана...

Ты что делаешь-то в следственном изоляторе, болееешь что ли? Не забудь написать мне результат суда и куда пошлют, твой новый адрес. Уж, наверное, скоро должен быть суд, а если ещё долго, то пиши мне в Калинин».

11 сентября. «...А делу не видно конца. Мне хотелось бы, чтобы ты была на суде. Неясен вопрос с защитником. Может быть в апреле будет амнистия. Это я к тому, чтобы ты не падала духом.

Прошу тебя сразу после суда или, если можно, то раньше подать на алименты. В этом случае от моего заработка, который я буду получать в лагере, эта часть денег будет высылаться тебе. Оставшуюся часть от той, которая идет в пользу государства, также буду высылать вам и + твои 60 рублей.

Поздравляю тебя с днем рождения. Что пожелать, право, не знаю. Сам бы пожелал скорейшей встречи. Пиши. Мне так нужны твои письма здесь».

10 октября. «...Сегодня мы получили от тебя письмо. Неужели и наши так долго не доходят. 26-го видела твою тюрьму, передала кое-что. Кроме жратвы взяли только варезки да стержни для ручки, а ручку и карандаш — нельзя, даже и точилку.

Для того, чтобы пустили на свидание, нужно письменное разрешение. Следователи уж знают какое, но его-то как раз мне и не дали. В общем, пошутили и разъехались. Людям вообще доставляет удовольствие пинать и клевать, где они чувствуют, что это будет безнаказанно. Так и с яслями, так и с работой.

Книжки и другое я, конечно, постараюсь передать, но вряд ли это получится. Через передачу это нельзя, а следователей нет. Так что ты не очень надейся, готовься по тому, что есть. А из твоих вырезок я уже половину выбросила. Этот хлам никому здесь не нужен, да и тебе через лет семь он вряд ли пригодится.

Гена, узнай, нужно ли что-нибудь Парамонову и можно ли ему передать. Правда, не все его вещи у нас, еще у какого-то парня, но я найду, если нужно. Лешины вещи Салюковы отправили его брату».

7

Трехлитровую бутыль, наполненную свежим горячим чаем, снова опустили на фуфайку рядом с Володей. Зашевелились все, загалдели.

— Что сник, Гаврилов, — хлопнул его по спине еще не усевшийся Гера.

— Вот я думаю, — тихо обратился Геннадий ко всем, — до чего все же наивнизм наполняет впервые арестованного политэзка. Книжный наивнизм. Ведь всех нас взяли как детей, игравших в песочек. Жестоко вырвали из сложившихся жизненных обстоятельств. На следствии безжалостно выворачивали наше нутро, komponуя из него нужную кому-то там, наверху, форму. Раздували мыльные пузыри. Во все колокола били — разоблачили очередного антисоветчика.

Буковский передал кружку Гаврилову. Тот, не отпивая, увлекся уже, вошел в разговор, отдал кружку Владлену. Владлен перебил:

— А причем здесь наивнизм? — и тонкий нос его нагряс, ноздри напружинились. Он взял конфету из рассыпанных на траве и нервно стал разворачивать фантик.

— Наивнизм? По двум причинам, Константинович. Во-первых, наивны сами дела наши. Уголовные, так сказать, дела.

— Не совсем уж и наивны, — отметил Владимир Буковский.

Павленков отпил, наконец-то, из кружки и передал ее Гере.

— Я не беру, конечно, украинцев, латышей, литовцев, — не терял свою мысль Гаврилов, — грузин, — и он наклонился в сторону молодого грузина, сидящего здесь же, на поляне, — они за самостоятельность борются. И против немцев украинцы, например, боролись и против русских. Это можно понять, как понятно, в этом случае, и действие власти. А у нас-то бумажки!

— Но по бумажкам-то молотом, — юркнул Гера, — сам говоришь, — и вскочил, и выплеснулось у него из кружки на землю.

— Осторожно. Сядь, — указал ему Владлен на фуфайку.

— По бумажкам молотом, — не сбился Гаврилов, — только в нашей стране возможно. Синявского и Даниэля за книги. Господи, двадцатый век. За слово — в лагерь. Юру Галанского — за стихи, за протест. У вас вот, Владимир Константинович, что? Что-то серьезное?

— В психушку за требование открытого суда над Синявским и Даниэлем. Затем, три года за протест против суда над Гинзбургом и Галансковым. Теперь — за всякое разное, — и вынул из пачки сигарету, закурил.

— Цепная такая реакция, — уселся Гера и ноги скрестил.

— Все же я не согласен, — веско начал Павленков, снова сворачивая себе сигарку из табака «Нептун». — Все начинается с малого.

— Сначала мало бумажек, потом много, — съязвил Гера.

— Вот именно, — подхватил Гаврилов. — Вспомни, Владлен, Колю Иванова с малой зоны, Леонида Бородина, членов всероссийского христианского союза. Игорь Огурцов их лидер, так, Владимир Константинович, — обратился он к Буковскому, — во Владимире сидит. Что у них? Куча документов, списки членов союза, ворох всего. И разговоры, разговоры.

— Что ты предлагаешь? — терял терпение Павленков.

— За эти четыре года, на следствии, в малой зоне и здесь, я много думал об этом. Наивнизм в том, что мы

действуем извне, снаружи. При нашей неопытности и книжности нас вычисляют элементарно: система круговых доносов поставлена в стране на высочайший и оперативный уровень. И потом: разве может моська одолеть слона? Как бы она там ни лаяла. В известной басне слон молча проходит мимо, полный осознания своего достоинства и силы. Наш слон гнилой, больной слон. Сознывая это и, в то же время, скрывая свою болезнь, именно, чтобы скрыть эту болезнь, слон наступает на моську. Только кости хрустят. Так вот эта моська снаружи. Слон ее видит. И давит. С другой стороны, возможен ход изнутри. Человек, например, неплохо ориентируется вне себя: всех судит и рядит. Но сам себя человек знает меньше всего. Мы даже не видим самих себя, разве что в зеркале, да и то отстраненно. По аналогии, если кратко, свалить слона может, конечно, другой слон: мощный кулак народного восстания, решительное и массовое выступление рабочих, особенно ключевых отраслей производства, от которых зависит основной фундамент экономики. Удар в солнечное сплетение. Во всяком случае, слон ляжет на бок и ему можно будет связать ноги. Но такой мощной силы сейчас в стране нет и еще долгое время не будет. Однако назревает малая сила, действующая изнутри. Внутри самой партии. Я знаю это, как бывший член этой партии. В Чехословакии произошло именно это: внутри партии малая оппозиция, как инородный вирус, понемногу росла и взорвала все изнутри при благоприятных внешних условиях. И все пошло бы. Но наш большой слон распорол бивнями живот своему младшему брату, решившему идти на водопой по другой тропе. Думаю, что у нас будет то же самое, что и в Чехословакии. Не так, правда, скоро. Но что для истории двадцать, сорок или шестьдесят лет. Единственно, что опасно, высокая температура во время болезни, которая может привести как к выздоровлению, так и к агонии. Вот этой агонии я и опасаюсь. Съедем сами себя. Распылимся в неразумии.

— Вряд ли ты прав, — утих немного Владлен. — Сосчитай, сколько внутри самого ЦК разоблачено антипартийных групп, местных раскольников. Это не путь. Парламентский метод. Проверен уже давным-давно на Западе.

Банка, опорожненная уже, словно зеркало, отбрасывало от себя коричневый луч. И чай на дне, разбухший,

распаренный, казалось, светился. Притихла поляна, вникая в дискуссию. Владлен и Гаврилов числились здесь за теоретиков. Владлен — демократ и логик Гаврилов.

— До парламента прежде всего дорасти нужно, — сел поудобнее Геннадий Владимирович. — Это несколько мощных антагонистических партий. Можно сказать, свора сильных собак, а не моська и слон. Борьба на равных. Но наиболее сильная, как и у волков вожак, возглавит стаю. Нам до парламента далеко. Для России это дали заоблачные. Почва-то у нас татарская, упрямая почва. Самодурство непросвещенной воли, приоритет самодержавия, а не разума, как на Западе, и не чувства, как на Востоке. И, конечно уж, не Веры, хотя и есть на Руси православие. Вера наша еще по горлышко плавает в язычестве, земная у нас вера еще, а не небесная. Итак, что до революции правил в России царь, то и сейчас царь: сам себе законодатель, сам себе исполнитель и судья сам себе. На всех духовых инструментах игрок. И оркестра ему не надо. Но цари прежние хоть образование имели и совесть. Здешние цари — спесивость и чванство, о чем еще и твой батюшка Ленин предупреждал, царство ему небесное, земля ему пухом. Тоже, ведь, не предан земле и душа неизвестно где мается.

— Я, конечно, понимаю твой юмор, — вновь распался Владлен Константинович, — и, тем не менее, нужно настойчиво и последовательно, пусть даже от малого, пусть даже через тюрьмы, хоть тебе это и кажется наивным, идти к парламентским методам борьбы. Февральская революция до Октября: свобода слова, собраний, митингов, уличных шествий, чего угодно. Учредительное собрание. Разве этого не было на Руси? Разве это не опыт?

А Гера уже лежал, как распятие, на траве. И глаза закрыв, отдавался солнцу. Солнце было здесь той единственной женщиной, которой хватало на всех: без ревности, без аборт, без поножовщины.

— Было, конечно, собрание. И опыт был, — спокойно реагировал на запал Владлена Гаврилов. — Но кончился опыт диктатурой, потому что Россия. Читал, наверное, Ключевского «Историю государства Российского» — в малой зоне была. Сколько таких демократий уже провалилось в нашей истории? Размазня получается у нас, а не свобода. Всегда находился кулак, привычный, знакомый,

хорошо пахнувший, и разбивал этой свободе морду. Вот книжку бы написать «Мордобой на Руси». Кулачные-то бои у нас испокон веку. А сегодня свобода в России и во все заспиртована и в прямом смысле, и в переносном.

— За такие речи, да в печи, — изрек в синее небо юморист и похабник Гера.

— Действительно, хватит вам, — примирительно сказал Буковский. — Расскажи-ка лучше, — обратился он к Гаврилову, — как тебя-то взяли, наивного?

— Наивно и взяли, — и вынул у Володи сигарету из пачки. — Был я на больничном, — чиркнул спичку одну, вторую, закурил. — Вот эти три пальца левой руки, — показал их Володе, погладил, — чуть было не оттяпало мне. Спускался в отсек, была у нас лодка такая, в здании, как тренажер, офицеров учили. Крышку люка откинул и вниз по трапу. Да видно не сработал фиксатор. Крышка за мной. Металл о металл — между ними пальцы. Снова крышку отбросил, вылез, а она, зараза, тяжелая, вылез не то что зеленый, белый весь. Думал, тут же и грохнусь. Из пальцев кровь. И все фиолетовое. Но дошел до санчасти. И вот гулял недели уж две, — пепел стряхнув, вновь затянулся. — Погода, как вот сейчас: тот же июнь. Вторник, третьего, врезалось в память. Там Финский залив, от дома рядом. На скамейке сижу, читаю. Люба в коляске ладошками хлопает, гудит чего-то. И вдруг, тихо так, партизаном, Волошин, начальник политотдела. Вол не вол, но с таким лошадиным ликом. Серьезный весь, при погонах. Короче, захотел побеседовать и, непременно, за чашкой чая. Пошли потихоньку. В горку поднялись — здесь и дом. На пятый этаж нашей хрущевки. Я — в руки Любашу. Он — коляску помогает тащить. Капитан-то 1-го ранга. Вошли. Стол у окна. Сели. Я сбоку, он — как начальник. А солнце комнату заливает, на душе же кошки скребут. Чувствую, что непростая беседа, а со значением, серьезное что-то. Слушаю вас, — говорю ему. Он листок достает. Положил на стол. Разгладил ладонью. А стол от солнца как саван белый. Молча все делается, торжественно. И речи нет, конечно, о чае. Вот, Геннадий Владимирович, есть решение парткомиссии об исключении вас из партии. Распишитесь. Я ему: как так? Партсобрание ограничилось строгим выговором. Не распишусь. Не имеете права! Распетушился, короче. А тут: звонок. Тихонечко так, и довольно мирно.

Подхожу к дверям, думаю: Галя из Таллинна. За продуктами ездила. Стоят военные, краснопогонники. Я дверью хлоп: ясно все стало. Подошел к Волошину: давайте вашу бумагу. Расписался. Посмотрел еще раз на этот исторический документ и бросил ему. И к дверям: настезь двери. Заходят — и сразу мне книжки в нос. Понятые с ними, с нашей же лестницы. И еще один, кто-то из флотских. Запомнил фамилии: Большунов Валерий Борисович, помощник военного прокурора ДКБФ, подполковник; Бодунов Михаил Николаевич, следователь Особого Отдела КГБ по ДКБФ, капитан, и местный, старший оперуполномоченный Особого Отдела КГБ, капитан Болдин. Удивительно, все трое на Б. А фамилии! Большунов — прокурор, большой человек, властимущий. Бодунов — для следователя что можно лучше придумать: «Бодался теленок с дубом», а я с Бодуновым. Михаил Николаевич — вежливый был человек, ласковый, почти любимый. Болдин, он болдин и есть, опер, короче, — и плюнул Гаврилов на окурочок, и в землю вдавил. — Вот такие дела. Был еще старший следователь, майор. Попко назывался. Надо ж компания. Но с тем я мало общался. Он с Лешей Косыревым работал. — Еще одну закурил Гаврилов, что почти никогда не бывало с ним. — Волошин, конечно, мышью слинял. А эти: обыск. Часа четыре возились, а может быть пять, я уж был как в угаре. Ну-ка книжки все посмотреть, бумажки перелистать и письма, шкафы все вверх дном, на чердаке да в подвале пошарить. Упрели, наверно. Тут и Галя пришла. Здравствуй, говорю. У нас вот обыск. Сумки поставила и молчит. А те: сидеть, не подходить.

— У тебя группа, наверно, была? — спросил Володя.

— Группа, конечно.

— Потому и взяли: организация, конспирация и ля-ля и ля-ля, — подытожил Володя.

— Да нет, не потому. Как у Булгакова в романе «Мастер и Маргарита». Там Иуда всех добрыми людьми называл. Вот и на меня добрый Иуда нашелся. Все одно: каждому судьба свое отмерит, — и затянулся сильно Геннадий Владимирович, закашлялся.

— Конечно, каждому свое, — встал с бушлата Володя и сильно тряхнул его. — Но все же, как правило, все организации у нас гибнут.

— А у вас? — в тон ему ответил Гаврилов. — Как у вас?

— А никак. Вроде каждый сам по себе. И никто ни о чем определенном не договаривается. Делают как делают. Ни бумаг, ни следов.

— Но вы же встречались с иностранцами. Что-то давали там, что-то брали. Здесь-то как? — допытывался Гаврилов.

— А также, — и прыгающей походкой, как-то вытянувшийся весь, пошел Володя в барак к койке своей, да к тумбочке — устраиваться, новый быт обживать: разговорами-то этими сыт особо не будешь. Ничего вроде мужики, заключил он, метнувшись в каптерку к вещам своим, примеряясь во что одеться ему пока, а что оставить на время.

— Пойду и я, Константинович, — повернулся Гаврилов к Владлену. Тот читал уже книгу и машинально ему:

— Давай, — но тут же вскинулся продолжит: В библиотеку пошел?

— Да, наверно.

— Посмотри, чтобы мой стол не заняли, — вдогонку ему.

Медленно, наклонившись немного вперед, Гаврилов, не как Володя — в обход, а прямо через площадку пошел к барaku. А на площадке уже наладили волейбол и прикрикнули на него, чтоб не мешал.

И пока шел Гаврилов к барaku, не торопясь, и входил в здание, и, направо по коридору свернув, толкнулся в двери комнаты, где были койка его и тумбочка, ощутил перебоями сердца, любое предчувствие всегда выражалось у него так, что неладное что-то здесь, в баракe. И действительно, рылись в тумбочке у него. И рядом рылись. И дальше через койку трясли белье. В дверь не пускали. Надзиратель же листал его бумаги, не торопясь, со значением.

8

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1969. Январь. В номере первом журнала «Посев» опубликована статья Сергея Солдатова «Надеяться или

действовать» и «Открытое письмо гражданам Советского Союза» Геннадия Алексеева (псевдоним Г. Гаврилова — прим. авт.).

12 февраля. Послано письмо Катаеву В. Г. с материалами о демонстрации протеста на Красной площади в Москве Л. Богораз, П. Литвинова, В. Дремлюги, В. Делоне и К. Бабицкого против ввода советских войск в Чехословакию. Письмо от Г. В.

17 февраля. Заявление майора В. Г. Катаева в Комитет государственной безопасности: «...Я возмущен как член КПСС, как офицер запаса наглостью снабжающих подобной информацией и прошу помощи, чтобы отыскать авторов машинописи и дать оценку письмам. С недостаточной уверенностью могу предполагать, что материал идет из рук военного (по подписи на конвертах). Если это так, то необходимо помочь молодому офицеру и разобраться в целях и задачах «единомышленников». Приложение: два конверта с машинописью на девяти листах; конверт от письма.

Из материалов перехвата передач на русском языке зарубежных радиостанций: 20 и 27 марта, и 3 апреля 1969 года радиостанцией «Свобода» было передано на русском языке «Открытое письмо гражданам Советского Союза» Геннадия Алексеева. Документ использован без ведома и согласия автора.

9 апреля. Письмо Катаеву В. Г. от Гаврилова Г. В.: «...хотелось бы, разумеется в эзоповской форме, знать все же Ваше мнение по столь важному для меня вопросу (о демонстрации на Красной площади — прим. авт.)... Корреспонденцию следует направлять по адресу...».

14 апреля. Заявление В. Г. Катаева в КГБ (в дополнение к заявлению от 17.02.69): «...Ввиду того, что до убеждения в принадлежности ему материала я не мог высказать своей оценки по содержанию писем лично ему и полагал, что материал он послал без каких-либо целей, у Гаврилова сложилось (судя по письму) мнение о нахождении во мне единомышленника... В результате предлагается переписка, близкая к конспирации (новый адрес, нумерация писем)...»

26 мая. Приказ ВМФ № 0636 (местный № 083) по ст. 59 п. 1 (служебное несоответствие): «...ст. лейтенанта Гаври-

лова Г. В. уволить в запас... Находился в ВМФ с 20 августа 1959 г.»

27 мая. Выемка телеграммы с Главпочтамта г. Таллина, посланной Г. Гавриловым А. Солженицыну в связи с днем рождения Солженицына.

28 мая. Выемка материалов из личного дела ст. лейт. Гаврилова Г. В. по в/ч 56190 г. Палдиски.

31 мая. Постановление о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию Гаврилова Г. В. в г. Палдиски.

1 июня. Постановление о производстве обыска в квартире и на рабочем месте Гаврилова Г. В.

3 июня. Гаврилову Г. В. предъявлено решение парткомиссии при политуправлении ДКБФ об исключении его из партии. В конце протокола указано: «...Дополнительные данные показывают, что Гаврилов фактически от своих антипартийных убеждений не отказался и продолжает их распространять».

В этот же день проведен обыск в квартире, на чердаке и в подвале дома по месту жительства.

...И вошли они в квартиру, предъявив документы. Оба, следователь и прокурор, статные, холеные, сытые. С ними еще один, и еще. И понятые. Предложили выдать документы и материалы, имеющие отношение к делу. Нет ничего.

Тогда огляделись они в передней комнате — книжные полки от пола до потолка. Начали рыть снизу, натянув брюки на задницах. Эти записи — сюда, а те — отдельно, особо, на стол для просмотра. Папки, бумаги, газетные вырезки — все интересно им, особенно — письма, записки. Их в мешок для последующего дотошного изучения: содержание, почерк, адреса, имена и фамилии.

Затем уж и выпрямились. И выше стали смотреть — где книги.

Местный опер из КГБ на стуле ножками — на верхних полках шарит, да чуть не упал, хорошо прокурор подхватил его властной рукою.

— Мне бы в туалет, — обратился Гаврилов сразу ко всем, — по-большому.

Обделался, — подумал опер, снимая сверху очередную пачку застоявшихся книг. Да что-то упало из его неуклюжих рук, непривыкших к книгам.

— Осторожнее можно, — не стерпел Гаврилов.

А опер уже сошел с пьедестала и на стол бросил Герцена, Добролюбова, Сталина.

— Сталин, смотрите, — удивился следователь.

И к шкафу пошли в комнате-спальне. Белье ворошат, трусы, майки, нижнее женское. Через час Гаврилов опять:

— В туалет-то пустите.

— Идите, — махнул прокурор.

А следом и опер — встал у дверей как дозор, как охрана.

За шумом сливного бачка Гаврилов делал свое — оказалась при нем, оказалась в кармане с адресами книжка. И он рвал листы, потрошил корочку — и спускал воду, спускал. Как хорошо, — думал он, — что книжка при мне.

Понятые, ошарашенные такой неожиданностью, такой новостью в доме, сидели мумиями: это надо же, в Палдиски, в закрытом городе — антисоветчик. Кино да и только.

И еще готовят мешки: для книг, тетрадей, машинку пишущую впихнуть, магнитофон опечатать.

Следователь же, голову наклонив, строчит протокол:

«...11. Шрифты, орнаменты для оформления различных изданий, исполненные на кальке...

...12. Три письма с конвертами в адрес Гавриловой Г. В. от Гаврилова Г. В. Текст писем исполнен на пишущей машинке...».

И строчит, строчит неугомонный, радуясь внутренне настоящему делу. Надо же, — думал он между цифрами и словами, — ведь звездочку могут дать, повышение по службе. Голова кругом от удачи такой...

В этот же день произведен допрос Гаврилова Г. В. в помещении местного Особого отдела КГБ по ДКБФ.

И предъявили ему письма его к Катаеву. Издали показали, но Гаврилов сразу узнал эти листочки, материалы о демонстрации на Красной площади.

— Еще раз предлагается вам рассказать правду: кому и с какой целью вы направили по почте материалы подобного содержания?

— Давайте бумагу — я изложу свою позицию и мотивы, как вы говорите, «преступления».

Ему дали бумагу и ручку.

«...Постепенно я стал приходить к выводу, — писал Гаврилов, — о необходимости радикальной перестройки

аппарата управления нашего государства на том основании, что демократический централизм партии тормозил развитие социалистического общества не тем, что является неверным в принципе, а теми извращениями, которые он претерпевал на лестнице власти. Коренные перемены в структуре нашего управления казались мне необходимыми и неизбежными... На основании вышеизложенного я начал вести дневник событий настоящего времени, сталкивая на его страницах различные точки зрения, исходящие как из материалов советской печати, так и из зарубежных радиопередач. Этот дневник я вел вплоть до августовских событий в Чехословакии. Он и был начат именно в связи с приходом к власти в Чехословакии новых людей во главе с Дубчеком. Я понимал, что наше Правительство, наша Партия, не позволят спокойно развиваться процессу преобразований в Чехословакии и рано или поздно задушат этот процесс. Дневник-книгу я назвал «Слово и дело»...».

В этот же день: увольнение с работы, изъятие личного оружия — кортика.

4 июня. Ответы на вопросы следователя и прокурора:

...«Открытое письмо гражданам Советского Союза» было написано мной именно в связи с вводом советских войск в Чехословакию.

...Ясно, конечно, что тематика «Открытого письма...» охватывает значительно больше проблем, чем только ввод войск. В связи с вводом, но по поводу перестройки в нашей стране.

...Действительно, я посылаю «Письмо» Петру Якиру, Илье Габаю и Наталье Горбаневской. Однако мне неизвестно, получали ли они эти письма.

...Книги «Слово и дело» и «Открытое письмо» Парамонов и Косырев распространяли в различных городах Советского Союза, но по моей просьбе. В частности, мною две книги и письмо были оставлены в Ленинградском университете.

...Эти стенограммы были перепечатаны мною и направлены моему старому другу, руководителю моего дипломного проекта в училище майору Катаеву для ознакомления.

...Все черновые записи я уничтожил.

6 июня. ...Гаврилов Геннадий Владимирович добровольно выдал следующие предметы:

1. Радиоприемник «ВЭФ-радио» № 108781;
2. Наушники с кабелем.

Указанные предметы... завернуты в бумагу, связаны проводом и опечатаны сургучной печатью.

...Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду, когда говорили в «Открытом письме» о борьбе низов и методах этой борьбы?

...Что вы подразумеваете под новой партией?

...Что вы можете сказать о «Союзе борьбы за политическую свободу»?

...Что вы можете сказать о газете «Демократ»?

9 июня. ...Постановление: привлечь в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 68 ч. 1 УК ЭССР.

...Идея распространения «Письма» принадлежит мне.

...Распространяя «Письмо», я полагал, что оно хотя бы в какой-то мере привлечет внимание граждан страны к недостаткам нашего образа жизни.

10 июня. ...Постановление: Принимая во внимание социальную опасность совершенного им преступления, а также и то, что он, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, руководствуясь ст. ст. 66—68, 73 УПК ЭССР, — Постановил: ...Применить в качестве меры пресечения содержание под стражей в следственном изоляторе МВД ЭССР, о чем ему и объявить.

...При обыске обнаружено и изъято ничего не было и не изымалось...

11 июня. «Гражданке Гавриловой Галине Васильевне... В соответствии со ст. 75 УПК Эстонской ССР сообщая, что в отношении Вашего мужа — Гаврилова Геннадия Владимировича 10 июня 1969 года избрана мера пресечения — содержание под стражей в следственном изоляторе г. Таллинна»

...При прослушивании зарубежных радиопередач я на лист бумаги записывал фамилии и события. В остальном рассчитывал на память.

...Освещая вопросы роли партии в этом документе, я имел в виду период культа личности и его возможное возрождение.

...Говоря о борьбе низов, я подразумевал конституционные методы такой борьбы.

19 июня. ...Этот способ размножения текста я хотел исследовать в связи с изучением технологии печатного производства.

20 июня. ...Разговора о членстве «Союза борьбы за политическую свободу» и о редакции газеты «Демократ» между Косыревым и Сергеем, по моему мнению, не было.

...Предположив, что за мной установлена слежка, я отказался от встречи с Сергеем. Местожительство Сергея в Таллинне мне неизвестно.

...Показания Парамонова мне понятны, но за давностью времени подтвердить их однозначно не могу.

...Хочу заметить, что отсутствие последовательной нумерации листов в книге «Слово и дело», подтверждает мои показания о том, что желание переплести имеющийся у меня материал в одно целое возникло в связи с августовскими событиями в Чехословакии. Ни Парамонов, ни Косырев участия в создании книги не принимали.

3 июля. По уголовному делу № 354 образована следственная группа.

9

Гаврилов рванул дверь и вошел.

— Старшой, когда это кончится? Недели не прошло — опять все перевернули. Чего надо?

— Найдем, скажем чего, — ответил добродушно, не переставая листать бумаги. — Гляди-ка, — обратился он к напарнику своему, — летописец объявился у нас, — и к Гаврилову:

— Забери писанину — все одно в зоне останется. Марай, не марай бумагу — задницы подотрем.

И вышли они, закончив облаву на вещи ээков, на их кровати и тумбочки. Значит, не то было велено найти им сегодня, — подумал Гаврилов, просматривая бумаги, проверяя все ли на месте. — Морда зеленая, — возмущался он, — задницу подотрет. Как бы не так.

Замыслил Гаврилов нечто еще с первого дня ареста, с первого допроса того, когда растерялся он несколько, опешил от натиска самоуверенных и опытных кагебистов. Не одного такого укатали они, как Гаврилов. Сбился, конечно, он от писем Катаева. Нежданный удар — в самое

сердце. Руку жму, — писал в последнем письме. Крепкое получилось рукопожатие, на всю жизнь отпечаток. Подумал тогда Гаврилов, что это Василий Георгиевич письмом красною пастой, как семафор, написал. Не сигнал ли какой дает друг мой далекий, — мелькнуло тогда. Вот ведь ирония. А жена советовала ему: Вася, брось в унитаз. Уж лучше б, действительно, жопу вытер, чем в КГБ. Ну да Бог с ним, с Василием.

И книги из тумбочки выложил Гаврилов на пол, и протирал ее тряпкой внутри. Тряпка эта всегда была у него под матрасом. Из-за этой тумбочки еще в училище был у него вечный конфликт: в его половине одно к одному, в половине соседа — бардак и хаос. И мучился Гаврилов, скорбел — не мог примириться. И здесь возмутило: распотрошили все, раскидали. Так и на воле: полки протрет, подметет и помоем пол — тогда и за дело. Тогда и покой у него на сердце и ясность в мыслях. Вот и сейчас забились в нем назойливо мысли. Конечно, Катаев лишь малый винтик в большой игре. Вон они как в один-то день: и обыск, и допрос, и из партии вон, и на стол положите кортик. И в тот же день: Парамонова в дальние дали, командировка по комсомольским делам, а в Таллинне Косырева за мелочь, за дрянь на гауптвахту. И обыски разом почти у всех: через день или два. О! правосудие. Еще и не начато следствие, трибунал неизвестно когда, ни судей нет еще, нет защиты, а уж — из армии вон, не соответствует. Так что Катаев лишь сроки ускорил. Ладно, пока погодим, помолчим, но бумаги он вывезет: есть задумка. Именно так: не общий обзор, не ах, как там плохо, а нам тяжело. Но конкретно: документы, фамилии, и день за днем, месяц за месяцем, год за годом. С ним-то ладно, ему наплевать: известность там или втуне все. Но так, как с ним, было со многими. В этом и дело. Время придет — он час свой дождется. Недаром же пишет и пишет: летописец нашелся. И нужное взяв, пошел из барака к той старой хибаре, наклоненной к земле, где санчасть и начальство. Но там же и комната, где сесть можно было, письмо написать или, как вот сейчас, поработать над книгой.

Ни в школе, ни в училище, ни позже, когда офицером уже, не любил Гаврилов учить иностранный, не давался ему: и памяти не было на слова, на зубрежку их, да и желания учить слова чужие. Тут же, на тебе, потянуло на

хинди. А там не только что грамматика с конца наперед, но иероглифы-то их невозможно запомнить.

Однако на все причины свои. В малой зоне еще, если же раньше, то со времени следствия, когда лязгнул засов и открылась дверь, когда он вошел в нее осторожно, словно в новую жизнь, когда снова закрылось за ним железо и лязгнул по нервам железный ключ, тогда он решил изначально, что в этой тюрьме и там, где ждут его годы, он должен выжить, не пасть, устоять хоть у края обрыва.

Поэтому хинди. Но и не только.

А сейчас ждал его Бутман Гилель Израилевич или Гиля, как звали его. Он сидел за столом, уперев кулак в подбородок, и смотрел в потолок, а может в окно, добродушно и отрешенно. Любил он так вот иногда от всего отойти, отодвинуться в незримую даль нездешнего мира. Воистину, был он весь там, в далеком Израиле. И дело его было связано с этим: десять лет за попытку угона воздушного лайнера. Еще и взлететь не успели, как связали их, повели, посадили. Он все думал — шутя. Оказалось серьезно. Не Ленинград только, но весь Союз, следил тогда, чем же все кончится.

Странно у нас: колючая проволока на всю страну, закрыты двери и забыты окна. И люди бьются внутри заключенного со всех сторон чистилища, иначе и не назовешь нашу жизнь, за какие грехи только, за что и от чего очищается Великая Русь, бьются люди, как рыбы об лед, не только внутри множества малых зон, этих чертовых сквородок, но и внутри единой большой зоны, могущей не то что зажарить, но и распылить в прах, превратить в ничто ее обитателей. И если вдруг таракан какой, либо козявка малая решат бунтовать или, паче чаяния, пролезть сквозь щель в стене, или разбить окно, чтобы выбраться, выкарабкаться наружу, на свет, на воздух, то козявку эту или таракана того — каблуком, каблуком в глину, в грязь, в песок, в сыру землю: света ей захотелось, за моря, за океаны, мать ее в раз.

Тем и кончилось, что попал Гилель с большой сковородки на малую. Рядом со станцией всех-святых тихо сидел, свято, уперев кулак в подбородок, и ждал Гаврилова.

Был Гилель лет сорока, плотен и энергичен, и, что особенно нравилось в нем, всегда ровен настроением и отзывчив сердцем. Из самолетчиков он здесь не один. Все

держались они тесной стайей. Вообще, присуще евреям, Гаврилов заметил, чувство локтя и взаимная выручка, чего мало у русских. Здесь же соединяло их в тесный круг и мечта об Израиле. Семьи у многих там уже были. И писем ждали оттуда они нетерпеливее, чем посылок. Многие знали они об Израильском царстве из этих писем: города, поселки, памятники древние и современные. Все было подклеено по альбомам у них аккуратно, с любовью. И еще: учили они свой древний язык. Кто-то читал только азы, кто-то говорил уже упоенно, а кто-то письма писал на идиш в неведомую, но такую желанную, родину предков. И за эту новую родину свою готовы были они все отдать и претерпеть все.

Подсев к Гилелю, раскрыл Гаврилов свой индийский талмуд — на английском языке учебник хинди, присланный с воли, — и здесь же, на полях, стал надписывать карандашом перевод. Переводил Гиля легко, почти с листа, но было не все понятно из-за смысловых разночтений. И давал он Гаврилову несколько вариантов, а тот выбирал, что подходило ему для хинди.

10

И что странно, Гаврилов так трудно сходилась с людьми, так долго пробовал их на цвет и на запах, что пока соберется слово сказать, уже и разъедутся люди, разойдутся, так друг друга и не поняв, не осмыслив друг друга, тут же сразу близко сошлись по неожиданному случаю, по капризу судьбы, когда, не передохнув еще от переезда сюда с малой зоны Мордовии, не освоившись с новым местом здесь, в 35-й, уже с вещами собрали Гаврилова и Владлена. На вахте, а затем в воронке, присоединили к ним Геру и Гилю, Гилеля Израилевича.

Зима, метель, да машина застряла: на вахту вернули еще на день — не пустили их в зону. Пока, наконец, до тюрьмы добрались, а везли их туда. Пока входили в Пермский централ, да пока обозленный Владлен, получая матрас, ругался с начальством почему с ним на ты, да матрас не матрас, а дерьмо с постным маслом, почему одеяло не стирали и мятая простынь, будто спали на ней, будто сношались, вот и желтые пятна. Пока охранник показывал эку, чтоб враз заменил. Пока смотрела у них медсестра, нет ли вшей на ногах и на члене, нет ли кожных болезней.

Пока, в камере уже, стоял Гаврилов и наблюдал, как места разбирали, и опять ему наверху лежать. Пока устроились все и притихли — тогда только огляделись они и познакомились взглядом. Затем и речи пошли, разговоры, беседа. Слово за слово — познакомились.

С Владленом Гаврилов с малой зоны еще, как с характером братья, но койки рядом и ели у одного стола. Здесь же притих поначалу Геннадий с двумя незнакомцами, давая время себе приглядеться к ним, пообвыкнуться. Однако на этот раз все быстро устроилось.

По две койки в два яруса и проход между ними на ширину спины. Стол, две тумбочки, сливной горшок, не параша, как обычно бывает. Но места в обрез. Так что жили на койках: читали, писали, играли.

Играли в шахматы, в уголки. Владлен толк в шахматах знал. Гаврилову в уголки удавалось, да и то поначалу, а освоились все — у него и здесь стало туго.

— Вот жизнь, — рассмеялся Гера и скорчил рожу на железную дверь, — хочешь читай, хочешь спи, хочешь что хочешь делай, — и стал расставлять на доске фигуры, — хочешь ни хрена не делай. — Ходи, Владлен.

— Банановая жизнь, — поддакнул Гиля, развалившись на нижнем ярусе.

— Да уж, у тебя вон банан отвисает, — среагировал Гера. — С таким чего не жить. Были бы бабы.

— Собачья жизнь, — уточнил Владлен, делая пешкой е2-е4. — Она в конуре также делает что пожелает. Собачья жизнь и есть, оказывается, самая барская. Рабочие к такой жизни не привыкли, — охватил он подбородок рукой. — Ну, что, Гера, ходи давай. Задумался, гроссмейстер хренов. Рабочему, чтобы кость получить или с царского стола объедки, попотеть надобно, в наше-то время.

Гаврилов же на верхнем месте своем, над доской с фигурами, над Владленом и Герой, застыл в сидхасане, в любимой им позе хатха-йоги. В позе созерцания, как ее еще называли, совсем отрешался он от того, что под ним или рядом. И уже задышал ровно и глубоко, делая по два дыханья в минуту, по два вдоха и выдоха. Так что ярус второй был даже удобней: никто не мешал и к небу ближе. В малой зоне знали Гаврилова как йога и мистика. Здесь же Гилель ошарашился было:

— Он чего, не того? — повернулся к Владлену.

— У него серьезно, — ответил Владлен. — Ферзь а5. Теперь тебе поучительно, Гера, проследить, как белые добиваются победы.

— Ну, бляха муха, посмотрим, — и ноги охватив руками, втиснул Гера подбородок между колен, уставившись на фигуры.

Где-то час они играли так. Гаврилов же, ровно дыша, не шевелился. Гилель задремал на своей постели, тихо похрапывая. Владлен негромко почмокал губами, еще раз, еще — и Гиля затих.

А через час гулко ухнуло железное окошко в железной двери: открылась кормушка. Обед принесли. Стали давать, а Владлен принимал. Он сегодня дежурил по камере, а значит и хозяйственные заботы на нем лежали.

Кормили неплохо здесь, по тюремной мерке — даже прилично: борщ или суп какой, каши хватало и хлеба, особенно, когда в ларьке подкупили, когда деньги пришли.

— Чего ты, мясо не ешь? — удивился Гиля, когда Гаврилов предложил ему свою котлету.

— Да йоги же не едят мяса, — отшутился Геннадий, — сегодня ваша очередь, завтра, если мясо будет, дадим Владлену.

— Ну, спасибо, — все не мог понять Гиля, захватывая ложкой котлету, вилок не положено в тюрьмах и зонах, и перекинул ее в свою алюминиевую миску.

Но если по правде сказать, то слукавил Гаврилов.

Дело было иначе. После следствия, даже после суда, и не в Таллинне уже, а в Калининграде, куда доставили самолетом его, чтобы все было тихо вокруг процесса: ни людей ненужных, ни митингов, когда ждал он последнего штриха на свою кассацию от Военной коллегии, в связи с чем и задерживалась его отправка в зону, в это вот время попал он в узкую полутемную камеру, а тасовали их часто, с одним одутловатым эком-бытовиком, шофером: продавал он горючее с бензовоза. Не первый раз у него уже ходка. И третья жена передачи носила. Как-то, после передачи такой, когда Гаврилов и не просил у него, не отнимал, хотя и не было Гаврилову передач, услышал он ночью, как хрустит этот зэк прямо со шкурой палку краковской. Под подушкой, под одеялом. Казалось бы мелочь, обычное дело не только в тюрьмах и лагерях, но и на воле: свое-то тело дороже. О нем, в основном, и весь

разговор от рабочего до министра. Но в камерной мгле, в одиночестве сером, когда двое распяты на одном кресте — жрать под подушкой! Да неужели, — думал Гаврилов, — так уж пал человек, унизился так, до звериной норы, до неприличия. И внутри себя, в этой ночи, он молча поклялся: мяса в зоне не есть. Проверить себя и все проверить. Дух или тело. На чаше весов что перетянет? И четвертый год, как он без мяса. Живой, ничего.

Оказалось, и во многом другом человек чрезмерен. В тюрьмах этих да лагерях понимать начинаешь, что не только еды, но и вещей-то человеку столько не нужно, сколько на воле жаждет он, человек, в себя вобрать, во-круг себя разместить. О человеке и началась у них беседа, когда вновь устроились они на койках.

— Все хорошо, — заметил Гера, — жаль только не едем, на месте стоим, купе такое.

— Время идет — значит едем, — отозвался Гаврилов и книжку открыл «Иди до конца» какого-то Снегова. Дали им здесь из местных запасов кое-что почитать.

— Действительно, интересно, — подключился Гиля, раздобывший у коридорного лист бумаги и карандаш. — Сидят люди по лагерям годами, десятилетиями — неужели все так и бесследно для них? Заспиртованность такая на долгие годы, — и устроившись у стола, написал на листе день, месяц, год и начал письмо.

Разрешили им здесь по письму отправить на волю.

Владлен же и Гера снова за шахматы: взять реванш наметился Гера.

— Не думаю я, что заспиртованность, — поднял от книги голову Гаврилов. — Вообще, любая стесненность, любые пути для человека полезны. Это мое, разумеется, мнение. Когда тело стеснено, когда ему неудобно, начинают работать сердце и голова: обостряются чувства, утончаются мысли для преодоления стеснения, неудобства. Благополучное воплощение, говорят индусы, самое бесполезное воплощение, если это благополучие не используется человеком на благо мира.

— Ерунда, — не согласился Владлен, переставляя фигуру. — Тупеет человек и ничего больше. — Развитие только в практической борьбе, в реализации устремлений. Если такой реализации нет, человек гибнет. Шах тебе, Ге-

ра. Поэтому и понастроили тюрем и психбольниц — задуть стремления.

— Для тела, естественно, необходимо движение. Но это движение зависит от того, какие у человека чувства, какое сознание. Рука убийцы и рука художника физически могут быть почти одинаковы, но духовно они диаметрально различны. Первый несет разрушение, горе, слезы, второй — радость и преображение духа, — парировал Гаврилов доводы Владлена.

— На горшке вон тоже духом возносимся, — задумчиво заметил Гера. — А вам, Владлен Константинович, матик-с-х...тик-с. Стоп, извиняюсь, сюда нельзя.

— Взялся, ходи, — посуровел Павленков, испугавшись вдруг, что мат ему.

— Ты, Константинович, имеешь в виду только физическую свободу, — закрыл Гаврилов книжку, положил на подушку, сел в совершенную позу: пятки в паху, колени ног в стороны и опущены вниз, левая рука на левом колене, правая на правом, ладони вверх, указательные пальцы рук касаются их больших пальцев. Жест знания, как говорят йоги. Но спину он не выпрямил в этот раз и не замер, закрыв глаза, не ушел в себя, в свое сознание, а, наклонившись вперед, чтобы видно было лицо Владлена, продолжил:

— За эту физическую свободу, может быть, и имеет смысл бороться. Если есть ноги, надо бегать, перемещаться. Если есть глаза, надо видеть разнообразие мира. Уши для того, чтобы слушать. Зубы для того, чтобы кушать. Как в мудрой сказке о красной шапочке. Все это верно.

Владлен, казалось, не слушал его. Гера, действительно, напирал, приближая развязку к «спертому» мату: ладья черных закупила своего короля в углу — и тот вот-вот погибнет от «удушья».

Гиля, уперев кулак в подбородок, неотрывно смотрел на решетку окна, думая, видимо, о доме, о близких, родных, которые уже там, в Израиле. Пол-листа у него было исписано. Вряд ли он слушал бредни Гаврилова. Гера же улыбался на ширину приклада винтовки Мосина, ликовал внутри себя и не мог скрыть эту радость: укатал самого Владлена. Но Гаврилов продолжил:

— Для чего слышать, видеть, есть, пить, плодиться и размножаться? Для чего быть, наконец?

— Конеч — это да, это важно. Без конца не размножишься, — уширился еще больше Гера в своей улыбке.

— Вот сюда пойдем, — сказал Павленков. Снял с поля слона, покачал им в пространстве и поставил на ж7. Вздыхнул, поправил очки и охватил колено сплетенными пальцами рук. — Без физической свободы, — посмотрел на Гаврилова, — нет и свободы духовной. Поэтому и борьба за права, за права человека. В нашей программе это было самое главное.

— Борьба за права, чтобы быть свободными? Да мы рабы самих себя. Своих пороков. Своего безрассудства. Человек не хочет того, чего он хочет. Сегодня это, завтра это же в тягость ему, в ненависть, дай другое, — расплялся Гаврилов. — И пятое, и десятое. Так до беспредельности. Отсюда и везде у нас беспредел, беспредел насилия: в личных отношениях, в обществе, в отношениях между государством и гражданином, у нас же — между государством и рабом, поскольку самый безжалостный беспредел, когда у власти безрассудная деспотия, неограниченная ничем татарская власть. Человек еще может как-то противостоять человеку, даже тому, на кого он работает. Но государству противостоять человеку почти невозможно, пока оно само не начнет разваливаться благодаря естественному закону рождения и смерти. — Гаврилов сидел уже просто, свесив ноги с постели. — Глаза, уши и руки для того и даны, чтобы сердцем и разумом понять, что же ценно во мне, что важно: и с точки зрения другого человека, и с точки зрения государства, с точки зрения вечности. В этом и суть Гамлетовского быть или не быть. Быть, но не столько в теле, сколько в духе. — И он прыгнул на пол. Сел на свободную койку Бутмана. Встал, схватил свою книгу и снова сел.

— Вот в этой книге. Своеобразно здесь пишет Снегов о Христе, но очень точно применительно к человеку: «Он просто больной, этот нелепый, обаятельный человек, он сам не знает, что проповедует: то смирение, то твердость, то восстание, то рабью покорность, то грозно вздымает вверх руку, то низко склоняет лицо, дикие проклятия сменяются страстными заверениями: «Истинно, истинно го-

ворю вам!» Над ним издеваются, за ним бегут, перед ним опускаются на колени».

— Вот сумятица нашего мира, — продолжил Гаврилов. — Но эта сумятица не в мире, как таковом, а в нас самих. Власть и рабство одновременно. До тех пор, пока наше сознание будет жить этим, физический мир будет для нас тюрьмой народов, поскольку властимущих единицы, а рабов миллионы. Мы сами куем свои цепи.

Владлен смахнул фигуры с доски. Проиграл он все же на этот раз, не осилил. И сказал сквозь плотно сжатые губы, повернувшись к Гаврилову:

— Это у тебя сумятица в голове. Начальник! — заорал вдруг Владлен и грохнул ногою в дверь. — Воды налейте!

Кормушка открылась, лицо в фуражке:

— Что кричите? В чем дело?

— Воды налейте, — повторил Владлен, и бац кружку на кормушку, под нос коридорному, зло, отстраненно.

Тот отошел, взял чайник, налил. С лязгом захлопнул кормушку, опустил засов.

— Если твоим языком говорить, — Владлен выпил воду залпом почти, — то растению, чтобы животным стать, надо двигаться научиться. Именно материально двигаться. Животному, чтобы стать человеком, — успокоился, сел на свою постель, — нужно научиться думать, соображать. Поземному — от вещи к вещи. Это и возможно только в действии, в борьбе. На ошибках и учимся. Ошибки эти и есть ступени роста сознания.

Гаврилов забрался уже на койку.

— Может быть и так, — сказал он в подушку. И подняв голову, продолжил: — Правильно сказал Иоанн: «Дано ему было вложить дух в образ зверя». Поклоняемся грубой материи — в этом все дело. «Дух же плоти и костей не имеет». Чтобы человеку одухотвориться, необходимо материю трансформировать, необходимо преобразование сознания и вознесение к духу. Отрыв от матери необходим. Обратное движение. Было падение. Должно наступить и время возврата. Возвращение блудного сына. А это не насилием, не революциями, а постепенным расширением сознания делается. Раньше девяти месяцев, если не выкидыш, человек не рождается. У того же Иоанна в Евангелии: «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине».

— Вот и поклоняйся, созерцай собственный пуп, — отрезал Владлен.

— Да ладно вам, — наклонился Гиля к письму, — не подеритесь.

— Выходит, свобода — пшик, звук пустой? — снимал Гера штаны, устраиваясь на горшке поудобнее. — Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, — с пафосом продекламировал он. — Поел, садись на парашу. А попробуй не сядь. Прояви-ка свободную-то волю. В дерьме и останешься. Истина в простоте, — и с наслаждением поднатужился. — Сами собой мы, оказывается, ничего и не можем.

— Выходит так, — добродушно отозвался Гиля, отодвигаясь вместе с письмом к стене, подальше от Геры. — Как говорит Владлен Константинович, дважды два четыре. Конечно, это банальная мысль, но от этого она не перестает быть истиной.

— А вот если ты осознал законы этой необходимости, — заключил Гера, шурша бумажкой, — и правильно пользуешься их, — отвернул лицо к заднице, вытирая ее, — вот тогда, видимо, ты и свободен.

— Свободен выбрать эту котлету или ту, — засмеялся Гаврилов. — Ну и навонял ты, Гера. Дерни за веревочку, или на сохранение положил? Сильный ты, видать, духом, — и уткнулся в подушку.

Так и судачили они кто о чем, довольные переменой места, не догадываясь, зачем их сюда привезли, пока не грянуло по динамику про амнистию. Была такая под новый 1973 год.

И засосало сразу под сердцем у них, рванулась куда-то грудь в нелепой надежде. Нет, не к ним относилась сия благодать. Не к ним. Обходила амнистия политических еще с царских времен. У нас же, если и была когда, то на великих изломах истории: война или Сталина смерть.

И проявилось, зачем их везли сюда: не мучили чтоб в зоне воду в связи с амнистией, не мешали бы энкам спокойно жить и спокойно работать. Ведь и в клетках птички поют иногда. Привыкают. Привыкает и человек к несвободе своей.

А днями несколькими спустя, продержав их месяц в этом застенке, собрали с вещами. Все поехали бы, но Гаврилов сдал, простудился в прогулочном дворике. Сказал

на вечернем обходе сестре, что плохо ему, что жар и озноб. Врач не поверила: знали и здесь про его занятия йогой. Вызвали в номер: в соседнюю камеру.

И рубаху заставили снять, сунув слева и справа под мышки по холодному градуснику. Врач смотрела в упор, не мигая почти. Но осталось как прежде: за 38. Вести его нельзя уже было в мороз да метель.

Вернули в камеру.

Оказавшись один, наконец-то один, он, взяв у коридорного бумагу и карандаш, устроился у стола писать письмо.

«10 января 73. Пермь.

Галя, сегодня получил твою телеграмму. И сегодня сообщили, что в Перми и в Пермской обл., ввиду усиления заболевания гриппом, свидания осужденных с родственниками запрещаются вплоть до особого распоряжения...

Сколько продлится карантин, неизвестно. Видимо, свидание наше состоится не ранее мая.

Вчера тебе ошибочно послали мою телеграмму о моем переводе в УТ-389/35. Ошибочно, поскольку телеграмма должна была быть отправлена после моего отъезда. Отъезд и был намечен на 9 января, но меня оставили здесь ввиду неожиданного заболевания этим гриппом ...Поэтому корреспонденцию высылай мне пока что на Пермь-ИЗ-57/1. Ввиду такой неопределенности с моим переездом, книги, которые я заказал тебе (учебники и словари эстонского языка и языка хинди или санскрита), постарайся выслать немедленно сюда через книжный магазин наложенным платежом...

Получил книжную бандероль от Наташи.

Особенно подошел мне сборник «Системные исследования», в котором две статьи «Тектология: история и проблемы» и «Опыт аксиоматического построения общей теории систем» для меня весьма ценны. Некоторые вопросы физики в изложении Феймана отдал Владлену. Он догадывается, что историю ему теперь преподавать не придется, и переключился на физику. Штудировать ее основательно. Очень своеобразна и хороша книга Р. Шовена «От пчелы до гориллы» — и иллюстрациями, и глубиной изложения. В свое время Юра Галансков очень хотел иметь подобную книгу. О книге «О современной буржуазной эстетике» пока судить не берусь. Нужно внимательно прочесть. Но современной, на мой взгляд, является статья Ал. Михайлова «Концепция произведений искусства у

Теодора В. Адорно». Работы «Современный иеговизм» и «Современный экуменизм» слабы и никакой ценности не представляют.

Поблагодари Наташу за ее постоянную заботу. Ее поздравительную открытку с Новым годом получил.

Здесь, в Перми, усиленно занимаюсь изучением индийских философских школ по своим книгам. Каждое утро, кроме последних трех дней из-за болезни, делаю полный комплекс своей гимнастики.

Как видишь, письмо получилось весьма оптимистичным, хотя внутренне я подобного оптимизма не испытываю. ...Это письмо уже второе в этом месяце, поэтому следующее смогу написать только в феврале. Геннадий».

11

— Ну, ладно, — сказал Гаврилов, закрывая свой хинди-английский талмуд, — на сегодня довольно. И так перевели три с половиной страницы. Спасибо, Гиля. Ты так меня выручаешь. Мне не расплатиться с тобой.

— Да, — согласился Гиля. — На ужин пора.

И книги на столе оставив, чтобы место не заняли, двинулись почти в обнимку они за ложками.

Когда выскочил Гаврилов из барака с ложкой и встал в строй, чтобы в столовую уже идти, вышли и Володя с Владленом.

Держал Владлен двумя пальцами за горлышко пластмассовую бутылочку с растительным маслом. Любил он в обед или в ужин когда в картофель или в кашу какую масла влить и, тщательно размешав, чтобы места несмазанного не осталось, также тщательно все пережевать, не торопясь, по солидному.

Но сегодня Володя Буковский все карты сбил, и за столом больше говорили, чем ели. Новый человек в зоне — новость. Новый человек в зоне — радость. Хотя, казалось бы, радоваться чему.

На ужин пшенка была с мясной тушенкой. И мясо это тушеное выковыривал Гаврилов по ниточке, складывая и складывая его на край миски.

— Вот эти данные я и собирал по психушкам, — продолжал рассказывать Володя о своих делах в этих психушках.

— Но ведь это все-таки настолько специальная область, — влез со своим Гаврилов, — что как можно, например, неспециалисту говорить, здоров человек или болен?

— Если по политическим мотивам сидит — ясно, здоров, — ответил Буковский, энергично и уверенно работая ложкой.

— У меня в деле, — не унимался Гаврилов, — был акт экспертизы на Горбаневскую. Сам я ее не видел, но, если по бумаге судить, у нее не все нормально с психикой.

— А вообще-то, сейчас есть люди нормальные? — уточнил Владлен.

— Пусть даже и нет, — пробрался сквозь кашу Гера, — но если он не опасен для общества, пусть и живет себе, воздух портит.

— Мне тоже говорили, что лечиться надо, — пояснил Володя, — но я им ясно сказал: хватит дурака-то валять, вы же прекрасно знаете, что я здоров и вменяем.

— На воле еще, — не сдавался Гаврилов, — видел я немного поезавших. С виду нормально все, но иногда нет-нет, смотришь — болен человек. И если он, к примеру, написал что и его посадили вместо того, чтобы лечить. Разве это лучше? Может, это маниакальное у него.

— Кальное, конечно, — уточнил Гера.

— У тебя вон маниакальное, — съязвил Владлен, — ниточки выковыриваешь.

— У меня принцип, — отмахнулся Гаврилов.

Так и осталась нетронутой миска с тем мясом-принципом.

12

ЛИСТЫ ДНЕВНИКА. 1969

9 июля. Принято постановление о привлечении Косырева в качестве обвиняемого.

11 июля. Косырев арестован.

23 июля. Продлили срок содержания под стражей.

В июле шесть раз вызывали на допрос.

23 августа. Предъявлено обвинение Геннадию Парамонову. За ним установлено наблюдение командованием части.

27 августа. Амбулаторно-психиатрическая экспертиза на-до мной, Косыревым и Парамоновым. Все признаны вменяемыми. В августе девять допросов.

4 сентября. Возили на очную ставку с Сергеем.

...Входим. Комната довольно уютная и большая. Посредине стол. Еще стол — несколько в стороне. За ним прокурор. Цветы в углу — здоровые фикусы. Окна, а их здесь три. Свет.

И Мих. Ник. — мой царь и бог, кудесник допроса, фокусник своего дела. Улыбается — бодр и весел.

Перед окнами большое пространство. Под окнами четыре стула у самой стены. И четыре человека на них, рядом, как близнецы.

— Геннадий Владимирович, — Мих. Ник. ко мне весело, — вам предлагается посмотреть, внимательно посмотреть, нет ли среди присутствующих здесь людей Солдатова Сергея.

Прохожу вперед перед ними. Смотрю на каждого: право же, как похожи. Весь Таллинн, наверно, облазили — искали аналоги. Обратно иду. Напружинились все, напряглись.

— Михаил Николаевич, да нет его здесь.

— Что вы, Геннадий Владимирович, — чуть не взвизгнул следователь. — Посмотрите внимательно-то.

— Конечно же, нет. У меня зрительная память хорошая. Что вы подсунули — совсем не те люди.

Сергей был справа от меня. На крайнем стуле. Напряженный, в ожидании. Даже понятия как изваяния у дверей. И Валентин Борисович, прокурор, грудью вперед за своим столом.

— Не торопитесь, Геннадий Владимирович, — с раздражением в голосе следователь. — Еще раз взгляните.

— Обижаете, начальник.

Конечно, узнай я Сергея — был бы в лагере еще один зэк, еще одна судьба переломилась бы надвое.

— Так как, Геннадий Владимирович? — сник Бодунов.

— Нет, Михаил Николаевич.

— Вы настаиваете на этом?

— Настаиваю.

Вижу: отлегло у Сергея, растаяло, порозовело лицо.

— Вы свободны, — обратился Бодунов к сидящим на стульях.

Зашевелились все, обмякли. Встали те четверо и к дверям. Но с Сергеем мы цепко переглянуться успели и все взглядом этим сказать, понять все...

10 сентября. Очная ставка с Юрием Толокновым.

... Очная ставка с ленинградским соседом по квартире с малых еще детсадовских лет, по той квартире, в которую переселили меня и мать после разрушения снарядом кухни и нашей комнаты в соседнем доме. Тот же первый этаж, та же сырость и чернота, но два хозяина, потом стало и три, когда нас потеснили в военные годы.

И вот Юра — друг детства. Давал я ему книгу читать «Слово и дело», когда заехал, в отпуске, навестить мать и отца, сестер двоюродную и родную из злосчастного теперь уже Палдиски.

В войну Юрина мать где-то работала — не знаю где, но с продуктами. И Юра в детском садике, куда мы вместе ходили, в углу где-нибудь, мои дешевые подушечки с повидлом менял на свой фигурный шоколад.

У нас на обед куриные жюпки, у них ..., у нас от картошки очистки, у них Не подглядывал, не знаю что там у них, но шоколадные фигурки — зайчики, слоники, предел мечтаний, — надоедали Юре.

Помню раз, после войны уже, его мать позвала меня со двора:

— Гена-а, иди угощу че-ем!

Я вприпрыжку, бегом по ступенькам в дверь, благо первый этаж, из окна и позвала.

— Хочешь хлебушка с медом?

— Хочу, — доверчиво к ней.

— На, испробуй, — дает мне ломоть, густо намазанный желтый медом.

Сходу в обе руки кусок — и в рот. Время-то после войны скудное было, голодное, карточное время. В обе руки кусок. И обожгло мне все нёбо и язык обожгло. Подавился до хрипоты, до слез.

Она же смеется — с горчицей сунула мне хлеб тот горячий. Так по сердцу ударило — до сих пор не забыть.

Теперь-то Юра военно-механический закончил. Преуспевающий инженер. Стройный, широкий. Я перед ним — неуклюжий, подстриженный, одетый не пойми во что, — смутился даже, хоть и постарше Юры чуток.

— В личном письме ко мне Гаврилов указывал, — степенно, с достоинством пояснял Юра, — что нужны люди для борьбы с недостатками, имеющимися у нас. Спрашивал мое согласие на борьбу. Я ответил принципиальным отказом.

12 сентября. Следственный эксперимент с приемником, пишущей машинкой и магнитофоном.

— Расскажите, как это вы делали.

— Да просто все, Михаил Николаевич. По ночам прослушивал зарубежные радиопередачи «Голоса Америки», «Би-би-си», радиостанций «Свобода», «Немецкой волны» о событиях в Чехословакии и политических процессах в нашей стране. Интересный материал записывал на магнитофон. Затем обрабатывал его, печатая нужное на бумагу.

— На этом магнитофоне?

— Разумеется.

— И на этой машинке?

— На этой, на этой.

— Продемонстрируйте, пожалуйста.

— Да, ради Бога...

13 сентября. День рождения Гали.

С утра просматривал ее письма.

А после обеда — подарок: в камере повальный обыск. Изъяли конспекты работ Ленина с моими комментариями на 206 страницах убогистого текста. Изъяли статью «Организационные задачи Союза сторонников свободы» под псевдонимом Вадим Гелин и сопроводительную записку к ней. Через три дня после написания.

Может быть, сокамерник — подсадка? Представился валютчиком, грабителем. Второе дело крутят ему, и первое вскрылось. Легенда?

Может быть, просто несчастливый день — 13 число? Или рядовой, плановый обыск?

Так или иначе, но следователю не малое яблоко, а спелый арбуз в руки попал, нежданно-негаданно.

15 сентября. Привезли в Ригу. Тюремная больница. Психиатрическое отделение. Палата умалишенных.

Месяц в аду. Как у Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу».

Когда открыли дверь и я шагнул в палату, со странным номером 99, лицом к лицу, нос к носу почти оказался со мною худущий, как жердь, парень с опущенной на грудь головой и висящими, как плети, руками. В глазах его, огромных и бессмысленных, билась своя недоступная мне мысль. Сердце мое упало на пол, а если и задержалось где, то только в ногах. К затылку стала подниматься снизу тугая теплая волна. Я уже знал эту волну. В первый раз она ударила в затылок еще в дет-

стве, в школьные годы. Помывшись и ополоснув тазик, я ждал у душа своей очереди. Человек пять впереди. Душно. И вот горячая волна в затылок. Закружилось все, растеклось. Очнулся в предбаннике. Испуганное лицо однокашника — за партой вместе, и в одном дворе, и в баню вдвоем. Нашатырь мне в нос какой-то голый мужик. Лицо мое в крови — врезался подбородком в кафельный пол. С тех пор знал я эту волну. В футбол набегаешься — лицо в жар и волна по спине. Сразу нужно сесть, а лучше — лечь. Еще лучше — голову под холодную воду. Парилка в бане — запретный плод. И в душном помещении осторожным будь. Курсантом уже в Западной Лице, перед самым дальним походом, опять же в бане, нежарко вроде, никто не мешал — чуть не упал. Вышел из душа бледный весь, почти зеленый. Отсиделся, однако. Хорош моряк. А ведь были комиссии, проверки были — нормально все. И тем не менее — с этим и жил многие годы. Слабое сердце с блокадных лет.

Теперь вот снова забытое старое, когда в палату шагнул к «ликам святых». Но обошлось.

Постояв немного, этот призрачный парень медленно, очень медленно отошел к постели. Сел на нее. Она была как раз у дверей, рядом с парашей.

На второй койке сидел кряжистый старик с суковатой палкой. Наклонив голову набок, он внимательно примерялся ко мне с ему только известным смыслом и значением.

Следующая койка была пуста. Сюда и ложиться, — подумал я. — С этим вот дедом. Прибьет ненароком. Какие взятки с него.

Дальше, ближе к окну, скрестив руки на груди, взгляд в потолок, не Наполеон ли, лежал молодой еще парень. Он не дрогнул, когда я вошел, не отклонил головы от незримого центра, в котором сосредоточены были и душа его, и мысли. Да и телом своим он, наверное, был уже там, за потолком, за пределами мира.

У окна в темных очках, чтобы лучше видеть, читал книгу еще один брат по неволе. Он стрельнул в мою сторону взглядом и снова нырнул, как за ширму, в свою историю.

Такая компания: разудалая, развеселая.

Потихоньку я начал устраиваться на свободной койке. Да, с морем покончено, но предстоит еще переплыть бурный океан жизни.

19 сентября. Парамонова направили на стационарную психиатрическую экспертизу. Может быть здесь уже — в соседней палате или напротив.

Шутки-шутками, а ведь бывшего пионервожатого, комсомольского вожака части, депутата в местном совете, очень удобно было бы признать невменяемым.

20 сентября. Первый вывоз к врачу-психиатру.

Ознакомительная беседа со мной Александра Львовича Руссинова. Бумажки-промокашки. Кругом да около. Обо всем и не о чем. Разошлись полюбовно.

Оказалось, что и с сумасшедшими можно ладить. Присмотреться вот только к их скрытому от нас миру: и здесь надо сообразить тебе, и там, где для них свет, а для нас, нормальных, темнота и загадка.

В палате нас пятеро таких загадочных.

От края первый: идиот Вовочка, упавший в зоне с забора, а может, просто уронили его, чтоб нормальным не встал. Он очень редко понимал, что хотят от него, но часто медленно, очень медленно, в какой-то изначальной задумчивости, поднимался с кровати, подходил к стене и, чтобы, как он говорил, помочь людям, ловил мух. Очень медленно рука его двигалась к стене — и муха оказывалась в его ладони. Это было поразительно. Он почти не шевелил рукой, а муха была уже там. Прилипала к нему, что ли? Вовочка брал муху за крылышки, оглядывал внимательно и любовно — и выпускал, приговаривая вновь что-то о помощи людям. Я пробовал так же ловить этих мух. Но не шло у меня — улетали. И я плюнул с досады. В любом деле, оказывается, «талант нужен», как говорил один мой знакомый еще на воле. Но как давно это было — в беспредельном далеко.

Дед-параноик, латыш с 94-го, белый как лунь. Убил старуху свою на почве ревности. Что там, интересно, ревновать-то было? Но опомнился — искал ее среди нас, говорил: «Живая она. Прячется где-то». Звал, в двери долбил, кричал коридорному: «Верните старуху!»

Сегодня всю ночь он бродил по палате. Охал, кряхтел, ругался, жевал хлеб и давился хлебом, кашлял и плевался. И неизменно суковатой палкой долбил об пол. Будил Вовочку неоднократно, заставляя его скручивать сигарку с махры. Сам он сворачивал ее не единожды, но махорка эта, мать ее туда и сюда, высыпалась на кальсоны или на пол прежде, чем дед успевал спичкой поджечь свое творение. Опалив губы и нос, огор-

ченный, плевал на бумагу, бросал ее, обжигая руки, и затапывал, затапывал. Тогда-то и будил Вовочку. Тот послушно сворачивал сигарку ему. Дед курил. Потом начиналось все сызнова. И снова Вовочку за плечо. Меня не трогал, видно, как новенького. Но все не спали. Уже под утро скрутил дед в клубок подушку и простынь, одеяло замотал в немыслимый узел, наподобие бутылки Клейна, свернул все это вместе с матрасом и, приготовившись к отъезду, ждал машину. И палата ждала. Утром заломили ему руки за спину и увели, уволокли в «мягкую» комнату после того, как в палату вошел коридорный. И бурно реагируя на непрерывный стук суковатой палкой в дверь, вскричал: «Прекратится, наконец, этот стук или нет?» Осерчал дед на грубый окрик — и кулаком коридорного по носу. Теперь, выспавшись в холодном бункере, дед бродит по палате в нижнем белье без кальсон. Да так и удобнее ему ходить на парашу — кальсоны не мокнут.

Латыши Алдыс, писавший на стенах домов «антисоветские» лозунги, с чем-то насчет Чехословакии не согласен был. Признала комиссия невменяемым. Сколько лет теперь проведет он здесь, юный Наполеон, одному Богу известно.

А сколько таких, неизвестных, малых, беспомощных борцов за правду по всей-то стране? Кто поможет им? Заступится кто?

Шизофреник Коля в очках. Что-то темнит — тюрьмы боится и дурачит врачей. Не обманул бы сам, не просчитался бы. По мне так лучшие тюрьма и лагерь, чем здесь куковать, в блаженном раю блаженных ликов.

Пятым же я — неопределенное нечто.

1 октября. Вызывали на беседу. Но не врач уже, а врачаха. Контакта не вышло. И я недоволен, и она не в экстазе. Со мною понятно — с незнакомыми замкнут. А она-то чего? И кроме того, в руках у меня солидная гиря — я подопытный кролик. Она же свободна в своих суждениях — говори-молоти. И потом — у нас же думает кресло, а не собственный череп. Прочел у кого-то. И чем кресло выше, тем, по закону обратной перспективы, голова больше. Это уже мое развитие темы.

Эх, Россия, Россия! По одежке встречаем, по уму проводить не можем. Так кафтаном и меряем версты жизни. Дороже кафтан — верста длиннее. Вот где теория относительности. А то взяли моду — Эйнштейн, Эйнштейн. Стоп — у меня-то не бред пороссячий, не начало конца?

Кресло психиатра предполагает уже больным любого. И надо врачам доказать не то, что ты болен, а что ты здоров. Так и везде у нас — с ног на голову. Перевернутый мир. О, мудрость Божия! Где к тебе ворота?

4 октября. *Опять интимная встреча. Оказалось, врачаха — жена Александра Львовича. Он же, врач мой начальник, болеет.*

Сегодня взаимное изучение более плодотворно.

— Ну разве это нормально: один против всех? — спросила она, откинувшись на стуле немного назад и руки положив на стол. Белый халат шел к ней, красиво освещая волосы, подчеркивал фигуру, стройную еще, женственную, не без соблазна.

— Почему же один? — устроился и я поудобнее против нее на стуле. — Мало, конечно, кто сознательно под кувалду. Но все же есть и у нас донкихоты. Вот я читаю сейчас «Русская грозовая туча» Степняка-Кравчинского. Почитайте. Здесь есть, в вашей тюремно-психиатрической библиотеке. Много интересного освежится в памяти,

Она сплела пальцы рук и внимательно прищурилась. И прищур этот тоже был к лицу ей. Странно, подумал я, насколько все же сложна жизнь, не двойная даже, а многомерная. Внешняя: ей разобраться во мне, прикрутить к больнице или выпустить; а для меня — посадят ведь на долгие годы, рушится же все. А внутренне: что там у нее на сердце, что внутри головки ее, привлекательной внешне? И о чем думает она на самом деле? Я же: говорю одно, а молча — наслаждаюсь ее созревшей красотой.

— Я слушаю вас.

— Так вот, пишет Кравчинский, «Народная воля» еще долго до Февраля и Октября добивалась от самодержавия свободы совести, слова, печати, сходов, всякого рода ассоциаций и партий. А отсюда: свобода агитации, пропаганды. Высшая власть — народная власть. Не одной партии, а выборных от всех слоев общества. Коалиционное правительство. Разве неправильно он пишет: развитие народа прочно только тогда, когда оно идет самостоятельно и свободно, когда каждая идея, имеющая воплотиться в жизнь, проходит предварительно через сознание и волю народа. Не скучно вам?

— Говорите, я слушаю, — не шевельнулась она, только сжала сплетенные пальцы так, что они слегка побелели.

— Но самое-то главное, что вся русская демократия: народовольцы, эсеры, меньшевики, да и большевики до тех пор,

пока не захватили власть, кстати — насильем, незаконно, вся русская демократия боролась за принадлежность земли крестьянам, за систему мер, предусматривающих передачу рабочим заводов и фабрик, за широкое областное самоуправление, за выборность всех высокопоставленных и местных чиновников. И за полную самостоятельность мира, по-нашему, советов. А залил кровью революции страну, что получили?

Она молча, сосредоточенно смотрела на него. Видела фанатиков, — думала она, — но такого впервые.

— Продолжайте, я слушаю вас.

— Большая тирания, большее бесправие народа, чем сейчас, было ли в России когда? В Чехословакии попытались было поставить все по своим местам, но увы. Опять же вместе с Кравчинским, только с разницей в 90 лет, можно сказать, что свержение существующего политического режима, который является причиной страданий народа, становится вопросом жизни и смерти для передовых людей России.

Она не перебивала, но мне казалось, что и не слушала особо. Что-то свое занимало ее. Может быть, болезнь мужа? Может быть, еще какая печаль? Но вряд ли ей до меня было сегодня, до моих бредовых изысканий. И все же она заметила с некоторой долей сомнения:

— И вот это все вы собираетесь говорить на суде?

— А что остается? Молча положить голову на плаху: рубите, братья. Так братья и отрубят. Нет уж, попробуем идти до конца. На словах-то наша идеология этому и учит: коммунисты, вперед! На деле, правда, совсем иное. Мне все же кажется, что слово и дело должно совпадать везде: как у подданного, так и у правителя. У правителя тем более, поскольку от его камня больше кругов по воде.

— Так вы признаете свои ошибки или как? — сказала она печально, и расплела пальцы рук в каком-то безнадежном движении. Длинные и волнистые волосы отбросила за спину. Инстинктивно застегнула верхнюю пуговку на халате. Интересно, — подумал я, — неужели женищина действительно чувствует за 40 минут, что мужчина начнет ее целовать или объясняться в любви.

— Так как с признанием? — добивалась она.

— В чем признаваться-то? В антисоветчине? Так советская власть сама стала антисоветской.

— Вы все-таки воздержались бы от высказываний подобного рода. Имейте в виду, что вы все же в больнице, психиат-

рической, — выделила она последнее слово и встала. — Ну ладно, у нас еще будет время побеседовать с вами.

На этом и кончилось мое свидание.

Вошел я в палату к аборигенам своим раздосадованный и злой. Лег на постель. Разговорился, дурак. Ладно бы с боссом каким партийным — вон их сколько пузатых увещевали, учили. Хоть потешился бы. А то с бабой, прости, Господи. Да еще с психиатром. Они сами-то того, с приветом. Все это и убивало меня, раздражая весьма.

Незаметно для себя стал я перебирать, ворошить прожитое. И вспомнился застиранный ленинградский двор, квартира моего детства на три хозяина. Бабка «зайчиха» с нами окно в окно. Правее бабкиных окон — общая прачечная. Еще правее — квартира первого этажа, где жили друзья моих родителей.

По праздникам или по выходным — то они у нас, то мы к ним обедать. Но что за обед на Руси без закуски и водки, а то и самогон, лимонад да вино, на патефоне пластинки, домино или карты, шахматы иногда на трезвую голову, а на пьяную — скандалы в сивушном угаре. Эх, гуляй не хочу в послевоенное-то время. Житуха была, а не жизнь. Особенно если, выкурив пачку «Беломора» или «Байкала», брал отец гитару и пел любимую «Соколовский хор у яра...», и вослед обязательно — «Все васильки, васильки. Сколько их было здесь в поле...». Хорошо пел., красиво. Да и сам был он красив лицом, чернобров, со строгим взглядом и приятным грузинским носом. Даже умер когда, в гробу, говорят, красивым казался. Но был молчуном. Его молчаливость ко мне замкнутостью перебралась. Ремнем прикладывался ко мне иногда, если по делу. Но мать не трогал, когда разойдется. По стене кулаком или зубами скрипеть — это бывало. Святым делом, однако, была для него работа. Время не жалел, если надо для производства. Дома выпить — куда ни шло, на работе — ни капли. Был он мастером лесотарного цеха, что на Лиговке, от галошного «Красного треугольника». Там, до войны еще, с матерью познакомился — тарные ящики сколачивала. Сама-то мать из деревни, из Пензенской области. Да и отец не питерский — из Торжка. Но откуда конкретно — не знаю точно. Не возил отец в гости к себе на родину. Может и не осталось там никого после войны. Воевал он на Ленинградском. А мы — в блокаде. Почему-то не вывезли ни меня, ни мать. В разведке дошел отец до Чехии. Есть ранения, есть и награды. Но была и неустроенность какая-то в нем, даже заумчивость. Не отсюда ли и молчал он всегда. Что-то, каза-

лось мне, не сложилось у него, не сбылось. Может быть с матерью не все получалось. Или характерами не сошлись. Но, в общем-то, мать доброй была и мягкой. Хорошо готовила. Чистоту в доме держала. От нее чистоплюйство мое, наверное. Знаю только, что кроме меня и сестры моей Вали была еще дочь у него от другой, помимо брака. То ли с войны любовь та тянулась, то ли с работы, как часто бывает, — неведомо мне. Кто она и где — сестра моя по отцу. Слышал лишь от двоюродных родственников, что у бабки моей по материнской линии было десять детей. Выходит, родни по Союзу у меня не так уж мало.

Но я был домашним почти и не любил разъезды по родственникам. Оттого и мало кого знаю из них.

Ни улицы не было для меня, ни, тем более, девочек. Вечно чем-то был занят: то в кружках каких при домах пионеров, то книга в руках, то пила, то паяльник. В школьные годы еще сильно занимала меня радиотехника. Наше поколение тогда болело науками...

Писать невозможно — дед изнасиловал своим неистовством всю палату. Голову под подушку — одно спасение.

9 октября. Сегодня Любаши годик. Не имею возможности не только телеграмму послать, но и письмо написать. Хорошо упрятали, по-деловому.

Интересно пишет Луи Арагон в «Коммунистах»: «Всякая политика стремится рассматривать людей как вещи, поскольку ими следует распоряжаться сообразно идеям, достаточно отвлеченным, чтобы можно было, с одной стороны, претворить их в действие, для чего требуются крайне упрощенные формулировки этих идей, а с другой стороны, — считаться с неким разнообразием множества индивидуальностей».

10 октября. Четыре месяца в заключении. Что сделано? Проработаны и законспектированы 16 томов «Сочинений» Ленина, книга Герцена «Былое и думы», Чернышевского «Что делать?».

К сожалению, конспекты ленинских работ утрачены. Такой труд — и кому под хвост. Снова вряд ли осилю.

Начал разработку теории логических рядов. Нужна литература, но здесь — в основном художественная. Где выход?

Где-то прочел: когда я вижу человеческую душу в аду, то мне хочется бросить все и попытаться подать ей хотя бы глоток свежей воды. Но кто мне даст здесь хотя бы глоток свежего воздуха?

13

И ввели его в ординаторскую на последнюю беседу с врачами, где решится вся его жизнь: здесь ли быть ему или в месте другом, в лагере или в больнице.

Как ни крепился он, как ни старался казаться независимым и бодрым с врачами, а здесь четверо их сидело и все против него, все же ухало сердце в груди, трепетала душа на пороге неведомого. Однако отметил, несмотря на волнение, что нет здесь, среди четырех, длинноволосой красавицы. Конечно, в ней, наверное, и не было особенно ничего, но пятый месяц по камерам, где зэк-сосед не в радость порою, а в досадную тягость, где на прогулке лишь неба кусок в зарешеченном дворике, да охранник туда и сюда над тобою как маятник, в одиночестве этом да в серости дня и вчерашнего, и сегодняшнего, и в неведомо скольких будущих днях, такая вот женщина — радость, какой-то свет в мглистом туннеле, куда, насильно введя, не торопятся вывести.

И усатый врач приставал все и приставал, ярился и нападал, выясняя его взгляды и его позицию:

— Где вы видите возрождение сталинизма? Что за бред? Все осуждено, выяснено. Время другое. А у вас все вчерашний день.

— Не вижу я другого времени, — сидел Гаврилов на стуле против них четверых. — Или вы газет не читаете?

— Зарубежные бредни что ли, которыми ваша голова нашпигована?

— Не будем спорить. Ясно, что наши газеты не пишут такие новости. Однако дело это не меняет. Разве не было агрессии в Чехословакию? А еще раньше в Венгрию? Кто приглашал наших? Это же спектакль, разыгранный заранее сценарий.

— Вы совершенно безграмотны в идеологическом отношении. Вы же бывший коммунист. И не разобрались, что в мире идет жестокая борьба идеологий. Капитализм рушится и в агонии готов на все, на любые провокации, лишь бы подорвать единство нашего социалистического содружества.

— Подавили не капитализм, не предполагаемую агрессию со стороны ФРГ, а своих же коммунистов, братьев по партии.

— Да откуда вы можете знать? Это все сложные вопросы. Очевидно, что вы ошибаетесь. Как можно этого не по-

нимать, не видеть. Вы влезли не в свое дело, — и он всем корпусом навалился на стол. — На границе двух наших миров, социализма и капитализма, скопились все язвы, все отбросы. А вы? Наслушались зарубежных радиопередач — и сразу разобрались, где грязь и зло, а где чистота и добро? Да ведь чем возмущаться чем-то, а, тем более, направлять за границу, надо понять сложность сегодняшних отношений в мире. Вы что, политик?

— Нет, с вашего разрешения.

— Куда же вы лезете? — не заметил он иронии в ответе Гаврилова.

— Ну да, каждый сверчок знай свой шесток. Слышали уже. Или еще тезис: лес рубят — щепки летят. А вы разве не понимаете, что насилие вызывает ответную реакцию, — пошел и Гаврилов в наступление. — Вам-то, врачу, это тоже должно быть очевидно.

— Ладно, ладно, не возмущайтесь, — откинулся он от стола и вытер о халат вспотевшие руки. — Мне кажется, что вы болотные огни приняли за факел борца за свободу. Я не философ, конечно, но вы-то образованный все же и должны понимать, что революций не бывает без молний, без жертв и страданий. Молния может и убить, но, в общем-то, она для природы благотворна. И здесь вопрос стоял о соответствии и несоответствии новой ступени эволюции. Вы согласны со мной?

— Где здесь? — не понял Гаврилов.

— В Чехословакии, разумеется.

— С Чехословакией разберется история. Если очень близко смотреть на предмет, он расплывается перед взором, нет четкого представления о нем.

— Вот вы и посмотрите с расстояния. Вы применяете все к отдельному человеку, когда призываете к свободе. В этом вы и заблуждаетесь. Вы смотрите с точки зрения человечества. Люди строят новое общество. Разве новое просто построить? Сколько мусора нужно вымести со стройплощадки. Но мусор не надо принимать за фундамент. Не строители опасны, а те, кто старую свою постройку ценит дороже нового дома. Конечно, наше общество несовершенно еще, но зачем же клеветать? Помогите совершенствовать, а не разрушать.

— Я и помогаю, насколько это в моих силах.

— Каких силах? — начал нервничать психиатр. — Что вы предлагаете нового? Это все буржуазные заготовки. Это же все специально подбрасывается таким как вы, незрелым и самовлюбленным. Вы жаждете свободы, совершенно не понимая, что же это такое. — Он встал и, уложив папки с бумагами, что были на столе, в аккуратную стопочку, взял одну папку. — И вы тянете к старому, а не к новому. — Он быстро открыл папку и вынул из нее «Письмо» Гаврилова. И вдруг сорвался на крик:

— Вот эту мерзость вы зачем написали?

— Ну это уж дело не ваше, а прокурора, — взлетел в голосе и Гаврилов.

— Да неужели вы не понимаете, что это ложь, ложь и ложь?! — еще больше повысился усатый врач.

— А если окажется лет через двадцать, что я был прав? Что тогда скажете вы?! — крикнул в ответ ему Гаврилов.

— Да неправы вы, не-правы! Как вы не понимаете. Идите в палату.

— В камеру, — поправил Гаврилов и, резко встав, вышел, еле сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью.

Врач бросил его «Письмо» на стол и сел: неменяемым признать его нельзя, но и нормальным тоже. И успокоившись, добавил, обращаясь ко всем: права Руссинова, фанатик. Фанатик, оторванный от реальности. Или идеалист.

Потом падали листья. Недовольный собой, из угла в угол, вперед и назад или по кругу ходил Гаврилов в прогулочном дворике: семь шагов на пять. Сомнительно, чтобы врач это был, — думал он. — Новый театр. Идеолог какой-нибудь. А врачи — наблюдатели. Иначе, врачу-то, чего залупаться? Горячий какой, усатый мерин.

А деревья клонили к нему свои ветви из-за стены. Мирно и тихо. И желтые листья их, освещенные солнцем, уже осенним, казались золотыми. И это золото каплями лениво отрывалось от ветвей и падало медленно на застывающую уже землю ему под ноги. Он собирал это живое золото и собирал, как небесное сокровище, подаренное ему неведомо за что, неизвестно зачем. Тоненький пиджачок, в котором он ушел под арест, и стриженная наголо голова не давали тепла ему.

14

И когда они вышли из столовой, Володя еще рассказывал им о смешных и трагических случаях своей жизни в этих психушках. Гаврилов молча шел рядом с Владленом и думал, что как все непросто с этими психушками. Вот с ним обошлось, а с Парамоновым?

После ужина жизнь в зоне наполняется особым звучанием, каким-то домашним ароматом, ощущением раскованности, некоторой даже свободы. Это только говорится так, что был у них ужин. На самом-то деле для взрослых людей это мало совсем. Поэтому и толпятся теперь эзки в кипятилке, заваривая кто чай, кто какую траву. Там топят масло от посылки, чтоб дольше хранилось. Здесь варят в кастрюле незатейливый суп. Что-то жарится на маленькой сковородке. Собственно ужин только и начат: свой, домашний, почти что вольный. Конечно, если деньги есть и ларек отоварен, если посылка пришла и получить удалось посылку. Тогда и по-домашнему ужин.

Суетятся, курят, судачат о том, о сем, а больше по пустому. Бродят по коридорам и комнатам. Читают, письма пишут или думают о своем потаенном, никому неведомом. Или сидят друг против друга, как сейчас Гаврилов и Буковский, с кружкою чая не на поляне уже, а у коек и тумбочек, продолжая говоренное, опять и опять повторяя и уточняя наиболее интересное, наиболее значимое.

— Вот я спросить вас хочу, Володя, — не мог все еще перейти на ты Гаврилов, — в книге «Слово и дело» я приводил материалы зарубежных радиостанций о произведениях Синявского и Даниэля, о суде над ними. Здесь ясно все. За художественное слово в лагеря — дикость стоеросовая. Журнал «Колокол» в Ленинграде, «Феникс — 66» Юры Галанскова — принимаю. Пейте, Володя, я воздержусь пока, — и передал Буковскому кружку. — Ваш кружок «СМОГ» — слово, мысль, образ, глубина. Это все понятные выступления одиночек. «Воззвание» Габая, Кима и Петра Якира, протесты Павла Литвинова и Ларисы Даниэль — из этой же серии, ясно и с ними. Все это приветствую и двумя руками поддерживаю. Но вот письма 88-ми советских писателей по Чехословакии? Уже сомнение.

Поставив опустевшую кружку на тумбочку, Буковский слушал, не перебивая. Гаврилов продолжал:

— Ладно, допустим группой протестуют научные работники. Но московские школьники?

— А что, школьники? — заинтересовался Володя.

— Не верится мне, понимаете? Знаю я наших школьников. Не бывает у нас такого.

— Почему не бывает? — поднялся Володя. — Пойдем, покурим. — И вышли они из барака.

Повел Гаврилов Володю заповедным маршрутом: за строящийся барак из мощных сосновых бревен, по пустырю, на котором никто не мешал побыть одному, к тому складу с вещами, на крылечке которого часто сидел Гаврилов, думая о своем.

— Я почему спрашиваю, — тихо говорил Гаврилов Буковскому, — в книге у меня эти документы приведены. И прокурор кричал больше всего за этих школьников. Я по радио слышал, но сам-то этих писем не видел. А если их не было, то вымысел все. И прокурор прав.

— Эх, Гаврилов, Гаврилов, — вздохнул и затянулся сигаретой Буковский. — Конечно, сами школьники не станут писать. Не будь наивным. Все требует организации. И вот организованные школьники вполне такое групповое письмо написать могут. То же и с учеными, то же и с интеллигенцией. Всегда находится лидер, который берет на себя ответственность. Ты же вот взял на себя ответственность, написав «Письмо» да еще гражданам Советского Союза, — иронично усмехнулся Володя.

— Одиночные протесты понятны. Вопрос о массовом противодействии беззаконию и произволу, — гнул свое Гаврилов.

— Эту систему наивными методами не сломать, — остановился Володя. — Идет борьба. И жестокая. Какая уж может быть здесь щепетильность.

— Так можно и культ личности оправдать. Я имею в виду сталинизм, — остановился и Гаврилов.

— Причем тут культ? — И стояли они друг против друга глаза в глаза. — Он только в этой системе и был возможен. Фашиствующая диктатура одной партии. Что в Германии была, что здесь.

И двинулись дальше. Володя курил. Потом вдруг весело:

— Да и ты разве сможешь обойтись без насилия, если вдруг придет тебе возможность взять власть? Забудешь о

правах человека, и о свободе печати. И коммунистов к стене. Так? Да и не было в истории, чтобы парламентской болтовней достигали чего-то серьезного. Яркий пример — Италия. Сколько уже времени правительство не может сбалансироваться — все болтают, какой кафтан надеть. А фашиствующие молодчики действуют. Чего молчишь?

— Слушаю, Володя, — перешел он наконец на ты.

— Свобода нужна, конечно, — бросил Буковский окурок и придавил его к земле носком ботинка. — Но важно и многое другое вокруг этой свободы.

— Вот именно, — подхватил Гаврилов. — Я в тюрьме с работами Сталина познакомился. Когда культ стали разоблачать, я его кроме как извергом и представить никем не мог. Но почитал сочинения — что-то не связывается. В книгах-то: простота изложения, с Лениным даже и не сравнить, сжатость мысли, прямолинейность. Характер, конечно, чувствуется. Там, действительно, борьба была и бурная политическая жизнь России. Оказывается, все много сложнее, чем я думал. Оппозиции было навалом. И всяк в свою сторону тянул. Он все же учеником Ленина себя считал. — Володя скривился, но промолчал. — Конечно, неразберихи непродуманной было немало. Жертвы были — их не укроешь. Но при политическом младенчестве России можно ли было поступить в то время иначе? Думаю, что не только в Сталине дело, а в самой психологии народа, в рабской психологии, в жажде иметь над собой не Бога, а кесаря.

Буковский косил на него глазом и, как-то еще больше подпрыгивая, перебил:

— Ну ты и фрукт! Тебя по морде — и все мало.

— Причем тут по морде. Ведь это как жизнь понимать. Конечно, если только о том и забота, чтоб меня ничем не затронули, развлекаться бы не мешали, что я хочу делать давали: так я такой жизни не принимаю и не хочу. От этих развлечений, вон, куча дураков с пузырем на троих. Борьба, познание — да. Это приветствую, пусть даже через тюрьму. А пустая болтовня за ресторанным столиком, как себя помню, не привлекала. Я заметил, что как раз эти говоруны делать-то практически ничего не хотят. Ты, я слышал, очень активно поработал на воле. Ради чего?

И повернули они обратно к бараку. Пошли медленно по пустырю плечо к плечу. Помолчал Буковский, затем ответил:

— Ради себя. Мне эта система не по нутру пришлась. Давно уж пора ее к чертовой матери.

— Но один ты это не сделаешь.

— Я и не говорю, что один.

— Запад поможет? Тоже пыль одна да и только.

— А ты думал, московские барышни все сделают? По рублику собирают: благотельницы, идеалистки.

— Не знаю, но опираться на НТС, например, несерьезно.

— Да что ты знаешь о НТС? По газеткам судишь-рядишь. Ты-то не будь московской барышней.

— Из Ленинграда я, — отшутился Гаврилов. — Мы хотели союз организовать. Чтоб чисто было, без всяких примесей.

— Чистоплюи вы. Ну и много ты организовал?

— Ничего почти. Сразу и загребли, — рассмеялся Гаврилов.

И вошли они в барак — приближалось время отбоя.

— Дураки вы потому что, — заключил Володя.

— Но ты-то, Владимир Буковский, тоже здесь.

— Я другое дело. Я знал на что иду.

— Ого, эмиссар какой!

— Какой уж есть.

И разошлись они по своим комнатам, по своим постелям.

Перед тем, как заснуть совсем, любил Гаврилов подумывать, повспоминать. Где-то он вычитал: человечество не меняется. Шелк и сукно, в которые рядятся современные цивилизованные существа, скрывают под собой все тех же фавнов и дриад.

Воистину, независимо от устройства государства всяк ищет себе благосклонности городничего, всяк норовит услужить хотя бы писарю: а вдруг отзовется и ему там, наверху. Согнешься вовремя, смотришь — лепешка в руках с загнутыми краями и творожок наверху.

Вот и согнулась Русь. А как разогнуться? Как выпрямить спину и в глаза честно взглянуть друг другу? Как бы впросак не попасть. Лучше уж будем жить, как нимфы, в

листве могучих деревьев и умрем вместе с ними. Недаром же пели: и как один умрем в борьбе за это.

Но с другой стороны, казалось Гаврилову, что абсурдность человеческой жизни лишь кажущаяся, лишь на поверхностный взгляд такая. Он верил в Высший Разум, в Высший чистый Смысл Жизни. А значит, безрассудство человечества временно, преодолимо. Не может же Вселенский Разум породить лишь наше мелкое, обывательское отношение к жизни, наше жалкое существование на земле.

Нет, думал Гаврилов, бессмыслица и глупость постепенно уйдут из житейского обихода, поскольку в каждом человеке, даже самом последнем, самом жалком, самом униженном, есть испокон веку присущая ему истина и красота. Еще Достоевский писал об этом. В каждой его вещи, как бы тяжка она ни была, есть выход к этой красоте, к этой истине. Во всем, верил Гаврилов, существует некая гармония. Невидима она только простому глазу. Но придет время и проявится многое, как сказано: «наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». В любом месте Земли устремится человек к Высшему Миру.

И вспомнил Гаврилов свою беседу в первом для него лагере малой зоны поселка Озерный (а уж три года тому), вспомнил разговор доверительный с Юрием Галансковым через несколько дней после того, как на веранде барака отметили зэки его прибытие в места отдаленные.

15

За столом спортивного вида парень, супермен, как он числил себя, играл на гитаре и сишло пел: Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай ты каждому, чего у него нет...

— Конечно, дело не в награде за труд, — продолжал Юра начатый уже давно разговор, обхватив бороду свою ладонью, — но вершина всё-таки должна быть. И потом, я считаю, что человеку необходимы крупные жизненные сдвиги, важные перемены, чтобы понять себя. Идти в наступление, когда все идут, легко. Идти одному — трудно. Но эта трудность полезная. Налей-ка мне в чашку.

Гаврилов налил и оглядел сидящих с ним за общим столом. И какое-то удовлетворение защемило в груди. Тяжко было

следствие, тяжек трибунал, и весь год и два месяца, пока держали его в тюрьме, был неистово тяжек. Но вот он в зоне, в этой малой зоне Мордовского лагеря. И сразу встречи: Гинзбург, Галансков, Николай Иванов, Леонид Бородин. А как легко ему с Юрой. Гаврилов сразу прилепился к нему всей душой, доверяя самое сокровенное, самое тайное в себе. Какое-то внутреннее сродство, неведомое еще им самим, объединило их сразу, одним рывком, минутой одной.

— Ты знаешь, Юра, — зараз и легко обратился к нему Гаврилов, — извини, что лезу с ерундой, но ведь двигается же куда-то человек, да и человечество. Я не говорю сейчас о системах: капитализм, коммунизм, — хотя и это, разумеется, имеет значение. Пусть, например, наелся человек от пуза, нахватался всего, все у него есть. Неужели он не спросит себя: а дальше что? Что мне с этим добром делать? Не только ведь для этого земля породила человека и человечество. Жрать да рожать и животные прекрасно умеют. Зачем Природа огород городила? Что-то принципиально иное требуется от человека.

— Ты, Гаврилов, все очевидные вещи говоришь. Нравственно совершенствуйся, вот ты для чего.

— Ну хорошо, — не унимался Гаврилов, — если я гений, совершенствуюсь дальше, гений в квадрате получаюсь. А если дурак? Тогда плевать мне на это усовершенствование. Но почему, скажи, один рождается гением, а другой заведомо идиотом? Вот где бездна-то между людьми. И никакой краковской колбасой ты эту бездну не заполнишь. Или вот один слепым рождается, а другой — зрячим. Почему, черт возьми? И где у них равные права совершенствоваться? А сколько благ сыплются на красивую женщину только за ее красоту. Но ее-то здесь какая заслуга? Дурнушка часто душой чище намного. Только кто видит чистоту физически корявой женщины? Разве что муж, если есть. А с любовью? Почему одних мы любим, а других ненавидим? Даже с первого взгляда. Даже хороших, прекрасных людей ненавидим. Чем объяснить? Наука молчит по этим вопросам. В то же время крайности где-то должны сойтись, если мы говорим о единстве противоположностей.

— Мастер ты на монологи, — заметил Юра и начал теперь не сигарку себе сворачивать, а набивать трубку махрой.

Трубка эта, прокуренная до черноты, всегда бывала при нем, в левом кармане штанов. Не расставался с ней Юра ни на шаг. И ночью она была на тумбочке, рядом с ним.

— Я в философиях не силен, — продолжал он, зажигая трубку, — но думаю так. Сопротивляясь ударам судьбы, даже одинокий никогда не одинок. Добрые ангелы незримо хранят его. Иначе люди всегда бы гибли, раздавленные силою обстоятельств. Ведь человек вроде бы сам по себе так слаб. Но он тем сильнее, чем добрее и самоотверженнее этот слабый человек. Некоторые люди так хороши, что даже, если они будут падать в бездну, ангелы все равно подхватят их на свои крылья. — И он выпустил длинную широкую струю дыма. — Лично я хочу понимать и понимаю жизнь так и только так.

— Насчет ангелов ты, конечно, шутишь?

— Нисколько. Просто люди ничего в своей будущей жизни не понимают. А ведь кому-то и впрямь понадобилась моя ничтожная жизнь.

— Возможно, конечно, — упирал Гаврилов свое, — но если даже человек и не совсем понимает смысл своей жизни, важно, чтобы он имел возможность и стремился к этому понимаю. Иначе это все разговоры. Я хочу сказать, что идеалы человека, высокие его устремления, только тогда принесут пользу ему и человечеству, когда он начнет претворять их в жизнь.

— Вот государство и дало тебе такую возможность. Сиди, пей чай и претворяй, — улыбался в усы Юра. — Разболтался ты. Правильно, видимо, сделали, что предоставили тебе такую уникальную возможность совершенствоваться, — и стал разбирать трубку свою для чистки. — Свобода, Гаврилов, представляет универсальный космический закон.

Супермен уже налаживал новую песню. Шофер и поэт, увлекался музыкой и под музыку вывозил с завода телевизоры. Широкий и самостоятельный человек. Свою избранность читил и так же избранно матерился, скаля свои желтые от махорки зубы. За какие-то бумажки в бытовой зоне попал к политическим.

Наконец-то он настроился и ударил по струнам: Забудешь первый праздник и позднюю утрату, когда луны колеса затренькают по тракту...

— Ты, по-моему, увлекаешься, — снова задымил Юра. — Первое, чему нас учит свобода — это полагаться на самого себя.

— Так и полагайся на самого себя, а не на то, что на тебе наворочено государством, в котором живешь, идеологией, которую это государство проповедует, людьми, которые тебя окружают, и еще мешком всякой всячины, что валится и валится на твою голову каждый день, каждую минуту.

— Что-то не понял я тебя, — вынул он трубку изо рта и зажал ее в кулаке.

— Есть в человеке нечто, — спокойно пытался объяснить Гаврилов, но чувствовал, что излишне спешил, — чем человек руководствуется всю свою жизнь. Это его истина, с которой он на землю пришел. Его истина и смысл жизни. Задача его перед Космосом. Но в первый же день своего появления на земле он уже начинает осваивать наши пороки, нашу ложь. И на третий день забывает о том, для чего родился. Один Христос только не забыл и исполнил, что велено было исполнить ему изначально, еще до рождения на земле. Вот эта извечная истина и ведет человека по жизни: инстинктивно, туманно, часто отклоняясь от прямого пути, часто поворачивая назад, как планеты на небе.

— То-то твоя истина и привела тебя к этому столу, — заключил его выступление Юра. — Пошли, кружки вымоем, уберем со стола.

Но и брякая кружками в умывальнике, они не уняли разговор, а все перебирали струны души друг у друга, пытаясь поглубже заглянуть туда — внутрь своего собеседника. Подальше положишь — поближе возьмешь. И это стремление их обоюдным было и гладким.

Закончив с этим, вышли на крыльцо и устроились на ступеньках. Место в малой зоне, что в малом курятнике — на шест и обратно.

Юра снова раздымил свою «полковничью» трубку.

— Ты говоришь, — пустил он два кольца и струю дыма сквозь них, — что у тебя два подельника. Офицер, а еще кто?

— Леша Косырев, офицер. В Явасе мы вместе были. Он где-то здесь рядом.

— Возможно, в соседней зоне, — указал Юра в сторону от барака. — Вон их забор. С крыльца видно. Там зона немного больше. Рядом с ней и женская есть. Здесь целый улей.

— А второй — Парамонов Гена. Что с ним и где он теперь, одному Богу известно.

16

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1969. 14 октября. Наложен арест на почтово-телеграфную корреспонденцию Гаврилова в г. Калинин.

Обыск по месту жительства тещи.

Арестован Г. Парамонов в г. Палдиски.

15 октября. Рига. Психиатрическая спецбольница. Стационарная экспертиза Гаврилова. Вменяем.

16 октября. Перевод из Риги Г. Гаврилова вновь в Следственный изолятор № 1 г. Таллинна. Камера 44. Тройник. Вместе с кегебистом, арестованном за убийство в пьяном виде своего сослуживца.

24 октября. Газеты «Нью-Йорк тайме» и «Дейли телеграф», а также радиостанции «Голос Америки» и «Канада» и 26 октября радиостанция «Свобода» сообщили на русском языке о деле офицеров Балтийского флота в Советском Союзе.

29 октября. Возобновились допросы.

5 ноября. В Риге проведена стационарная психиатрическая экспертиза Г. Парамонова: «...как душевнобольной... следует считать невменяемым.

Подписи: Русинова З. Г., Маркие Л. А, Брегман»

10 ноября. В особый отдел КГБ поступила тетрадь с записями антисоветского содержания Парамонова Г. К, найденная при проведении уборки в номере гостиницы, где ранее проживал Парамонов. В этой тетради среди прочего содержится статья от 8 сентября 1969 года под названием «В захиту двух!», начинающаяся словами: «Вот уже четыре месяца в таллиннской тюрьме двое политзаключенных...».

24 ноября. Гаврилову предъявлены материалы обыска от 13 сентября, изъятые в камере №41: конспекты сочинений В. И. Ленина с комментариями Гаврилова Г. В. на

206 страницах; статья «Организационные задачи Союза сторонников свободы».

28 ноября. Постановление об изъятии предметов и документов во время обысков у Гаврилова, Парамонова, Косырева. В ноябре было четыре допроса.

ДЕЛО № 354. МАТЕРИАЛЫ СЛЕДСТВИЯ

...Вам предъявляется фотокопия «Письма», изъятая у Габая.

— Автором «Открытого письма» являюсь я. Никто, кроме меня, в его составлении и изготовлении участия не принимал.

...Что значат подчеркнутые здесь слова «Цель достигнутая — слабое подобие начала»?

— Я имел в виду сложность общественной жизни. Часто мы стремимся к одному, а получаем совсем другое, порою и прямо противоположное первоначально ожидаемому. Кто мог предполагать, что Октябрьская революция обернется для народа трагедией сталинизма.

...Оглашаются показания Косырева.

— Да, я вспоминаю, что содержание разговора, изложенные в его показаниях, в общем имели место, но я не ругаюсь за детали нашей беседы относительно получения адресов от кого-либо и знакомства с кем-либо.

...Уточните вашу позицию по митингам и демонстрациям.

— При этом я добавил Косыреву, что митинги и демонстрации должны, во всяком случае, должны подготавливаться определенной группой лиц, видевших необходимость подобных протестов и заручившихся поддержкой народных масс.

...Со слов Косырева, Якир говорил, что вот, мол, вы какие труды выдаете, что не они из Москвы должны давать, а вы должны это делать.

— Я полагаю, что Якир сделал это замечание, если сделал его вообще, в форме шутки. В такой форме я и передал этот разговор Косыреву.

...Из каких соображений вы решили послать эти документы майору Катаеву?

— Испытывая к нему глубокое уважение и доверие, я поделился с ним своими взглядами по чехословацкому вопросу.

...Вам оглашаются показания Косырева о том, что вы искали связи за границей с организациями типа герценовских.

— Под организацией типа герценовской я имел в виду людей, которые интересуются политической стороной дела в Советском Союзе, анализируют это положение дел. Какой-либо информации об этих организациях я не имел, а высказал Косыреву лишь свое предположение.

...Что вам известно о статье «Надеяться или действовать», а также об авторе этой статьи?

— Я знаком с этой статьей, но автор документа мне неизвестен.

...Что вы можете сказать об использовании фольги для печати?

— На фольге мною были отпечатаны «Защитительная речь» Ларисы Богораз, «Последнее слово» Павла Литвина и начало «Открытого письма». Фольгу я пробовал использовать вместо копировальной бумаги.

...Обвиняемый Косырев А. В. на допросе 11 июля показал, что на путь проведения антисоветской деятельности он встал под влиянием Гаврилова. Что вы можете пояснить по этому вопросу?

— Действия мои были направлены исключительно на выяснение мнения определенного круга советской интеллигенции о последних событиях в нашей стране и в Чехословакии.

...Вам оглашаются показания Косырева от 15 июля о том, что вас Парамонов обвинял в трусости, нерешительности, имея в виду, что ваша деятельность недостаточно активна?

— Я возразил Геннадию Парамонову, что политика не игрушка, что прежде чем что-либо делать, надо разобратся в правильности своих действий. Трусость и осторожность — понятия несколько различные.

...Геннадий Владимирович, давайте все же уточним некоторые неясности с изготовлением книги «Слово и дело».

— Началом интереса к политической стороне дел в нашей стране послужили процессы над писателями Синявским и Даниэлем. Здесь и «Пражская весна». Мне, как

коммунисту, сразу стало ясно, что Брежнев задушит эту весну. Но как скоро? Вот этот процесс удушения мне и был интересен. И я стал накапливать материал о Чехословакии. Параллельно — и о диссидентах в нашей стране, также прекрасно сознавая, что Даниэль и Синявский только начало, первый аккорд в новой волне неосталинизма. По мере поступления материала он обрабатывался и перепечатывался на пишущей машинке. По истечении полугода, проанализировав имеющиеся данные, я пришел к выводу, что их следует переплести в книгу, хотя бы для памяти. Ввод войск в Чехословакию это желание укрепил, поскольку я понимал, что накопленное является уже исторической ценностью.

...Вот, Геннадий Владимирович, было же собрание офицеров, на котором вы распространяли свои антисоветские взгляды, неужели и там вы не убедились в ошибочности своей позиции?

— Я не распространял антисоветские взгляды, а говорил об агрессии в Чехословакию. По моему мнению, собрание приняло такое направление, которое лишний раз убедило меня в правильности той позиции, о которой говорится в «Открытом письме».

...Поясните, пожалуйста, цели и задачи «Союза борьбы за политическую свободу» и его печатного органа газеты «Демократ».

— Газета «Демократ» была лишь мыслью, построенной исходя из предположения, что любая деятельность, связанная с дискуссиями, требует своего органа печати. Каких-либо материалов для газеты не готовилось. Размышления о «Союзе» также носили лишь теоретический характер в связи с изучением соответствующих работ Плеханова.

...Это ваша телеграмма Александру Солженицыну?

— Да. Я поздравил Александра Исаевича с днем его рождения. Не вижу в этом ничего криминального.

...Вспомните, о чем вы разговаривали по телефону с Петром Якиром?

— Затрудняюсь сейчас вспомнить содержание разговора.

...Геннадий Владимирович, вам предъявляется альбом с фотографиями материалов, изъятых в вашей камере 13 сентября. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Конспекты работ Ленина я делал для себя. Каких-либо иных целей не преследовал.

...Ну что вы, Геннадий Владимирович, мы же не дети, чтобы принять такую вашу точку зрения.

— Тогда запишем так, что указанные записи я хотел сохранить до моего возвращения из заключения, чтобы затем изучить их, разобраться в непонятных для меня вопросах. Так вас больше устроит?

...Как же тогда понять вашу статью, написанную здесь же, в камере?

— Статья «Организационные задачи Союза сторонников свободы» носит чисто теоретический характер.

...???

— Давайте тогда скажем так. Поскольку КПСС не допускает какой-либо политической оппозиции, такая оппозиционная социалистическая партия, на мой взгляд, должна быть создана. Первоначально — как нелегальная. Затем, разумеется, она должна добиваться своей легализации. Эти задачи и были освещены мною в указанной статье.

...Но ведь кому-то она предназначалась?

— Пишем так: указанная статья предназначалась для лиц, которые интересуются вопросами политических свобод в нашей стране.

...Нельзя ли поконкретнее, Геннадий Владимирович?

— При случае я хотел направить эту статью своим знакомым, которых называть не хочу. Имею на это право, как ваш подследственный, точнее — как вами обвиняемый. Те так ли, гражданин следователь?

17

Не одну трубку уже выкурил Юрий Тимофеевич Галансков, пока выслушал утомительные подробности уголовного дела Гаврилова. Выкурит, постучит ею по ступеньке крыльца, посидит, обхватив колени руками, и снова набьет, не спеша, как какое-то таинство совершая.

— Конечно, — подняв бороду кверху и глядя на белые легкие облака в небе, заметил Галансков, — Парамонова жаль. И ты сейчас не знаешь, где он?

— Не знаю пока.

— Надо как-то сделать, чтобы им занялись на свободе. Подумаем, — и вновь затянулся. — Косырев, видимо, испугался. Сколько ему начислили?

— Год под следствием и здесь остался год остался.

— Да, — достал Юра проволочку, которая всегда находилась при нем, и прочистил мундштук у трубки, — а тебе, значит, еще сидеть и сидеть. Хорошенькая погода.

Юра жадно тянул махру. Затем, сев на ступеньку повыше, закинул ногу на ногу так, что только колени торчали углами, начал говорить напряженно, немного отрывисто:

— Мы, Гена, должны работать ради России.

— Трудновато работать-то, Тимофеевич, — встал Гаврилов, затекла нога у него, неудобно сидел.

— Ну и что из того, что трудно. Не бывает же всегда легко. Рано или поздно всех нас ожидают трудности, которые мы обязаны преодолеть, — достал небольшую баночку от каких-то таблеток, открыл ее и, отсыпав в крышку немного соды, стряхнул ее в рот, поморщился. — Испытания даются нам, чтобы мы могли выдержать их и, тем самым, укрепить и утвердить себя. Гору, которую нам нужно преодолеть, можно и обойти, но тогда мы не будем на ее вершине. В награду за труд мы увидим вершину.

— О, Юра. Твоими устами да мед пить. Сколько людей, страдая и пересиливая свои страдания, так и не достигают своей вершины. Погибают, не достигнув. Это лагерное безумие в стране сколько унесло жизней, молодых, сильных, многообещающих? И самое страшное, что виновных нет. Нет и все тут. А ты говоришь: в награду за труд. Да какая награда, Господи. Здесь, видимо, дело в силе человеческого устремления к свету, к справедливости. Вот, подлость в человеке заложена, но также и справедливость. Здесь и борьба. Свет и тьма сражаются. Я думаю, именно труд без ожидания награды и является подлинным творчеством человека.

— Чудак, кто же тебе за так работать будет?

— Да сама дорога, по которой идешь, — загорался Гаврилов, — сама цель, к которой стремишься, если хотя бы приближаешься к ней, уже награда. Пусть я, скажем, неправ, но у меня есть цель, моя истина, мое устремление, и я иду к ней. И это лучше, чем совсем ничего. Все же, в основной массе, конечно, стремятся только приобрести: побольше наград, побольше благополучия. Да разве может в этом состоять смысл человеческой жизни, бытия человеческого? Ужасно, если это так!

— Без благополучия нельзя, Гаврилов. На этом мир и стоит, — принимал Юра его тему. — Садись, давай. В ногах правды нет.

Гаврилов сел рядом с ним, но ступенькой пониже, и продолжил:

— Я не думаю, чтобы он на этом стоял. Природа, бескорыстно отдавая себя нам, не требует, да и не ждет от нас наград, а только сознательного к ней отношения, разумного, понимаешь? А мы, словно волки, все готовы утащить к себе в логово, каждый в свое. А там, хоть трава не расти. Действительно, скоро расти перестанет. Солнце, между прочим, тебе за так свой свет дарит.

— То солнце, — усмехнулся Юра в свои казацкие усы и люциферову бороду. — Вот если б оно не между прочим нам свет и тепло дарило, а как свое главное занятие, тогда поглядели бы. Мы тоже между прочим много делаем. Чай пьем, например. Может ему приятно, что мы его пьем. И нам полезно. Может быть и мы солнцу нужны зачем-то, а ты: не надо награды.

— Может быть и нужны, но не для побрякушек же? У природы их нет. Значит, если мы и нужны солнцу, как ты говоришь, то для дела. А мы все бабочек ловим. Мы-то привыкли, что труд — каторга, а на деле, если на космос посмотреть, то труд — созидание. Мы рвемся как бы побольше отдохнуть, ничего не делать и при этом побольше взять. А природа? Остановись она хоть на миг — и все рассыплется.

Встал Юра и Гаврилов встал. И пошли размять ноги.

Прогулка здесь проста была до примитива. Между баками или за ними вперед и назад, от колючей проволоки до ворот, что вели в рабочую зону. Сто шагов вперед и назад сто, если не меньше. И вся прогулка. Летом по пыли, как вот сейчас, зимой — по хрустящему белому снегу.

— Ты как в офицеры-то вышел? — спросил Юра, трубку свою убрав в карман эковской куртки.

— Всему бывает причина. Сколько у нас до отбоя?

— Время есть еще, — успокоил Юра, — как у вас: трави по малому.

— Вижу, полковник и морскую терминологию освоил.

— Что нам, фраерам, — усмехнулся.

Сели на крылечко теперь у бани, за десять шагов от ворот в рабочую зону. Юра снова набив свою «полковничью» трубку, приготовился слушать.

— Тогдашняя романтика, Юра, — начал Гаврилов издалека. — Девочка одна подтолкнула с Васильевского острова. Гуляли мы по с ней скверикам, у Невы. В одном из стихотворений есть такие строчки о ней, написанные, когда все у нас уже завершилось:

Здесь, у причудливой изгороди,
Девчонку встречал темнокосую.
И в зимней задумчивой изморози
Грел ее бережно, мерзлую.

— Ты еще и стихоплет, оказывается, — заметил Юра.

— Так, ерунда, конечно, но иногда, под настроение, тянет к бумаге.

— Ну, ну, — затанулся Юра длинно и так же длинно выпустил дым из-под усов.

— После десятого класса поступал в радиотехнический техникум. Не набрал баллов на радиосвязь и телевидение. Предложили холодную обработку металлов. Был такой факультет. Отказался — забрал документы. И все же, по иронии судьбы что ли, повозиться пришлось с металлом — поступил в техническое училище на токаря при заводе «Электросила». Закончил, и направили на кораблестроительный завод. Есть в Питере такой — имени Жданова. Стал детали делать для кораблей. Вот и первое приближение к флоту. Сама судьба и толкнула. Но не сразу. Еще мыслил я все же на радио — от училища отсрочка в армию заканчивалась. Стал готовиться в институт. Параллельно в ДОСААФ на курсы телеграфистов ходил на случай, если уж в армию идти, то по связи.

— Пойдем-ка спать. Укатал ты меня. — Встали они. Пошли к барaku. Юра курил.

— Короче, — продолжил Гаврилов, — пришел на завод морской офицер. Нас, молодых, к начальству. Так и так, есть такое училище. Математике учат, радиотехнике, химия в полном объеме и физика ядерная. В общем, не строевых готовят, а инженеров, физиков-ядерщиков да еще моряков, офицеров. У меня глаза, конечно, на лоб. Вот бы куда, думаю, мечта, фантастика, передний край науки. В институт лежат документы и сюда собрал нужные бумажки. Прошел комиссию. Но самое странное — шесть

экзаменов сдал. Самому удивительно. И девочка та сперва не поверила.

Вошли в барак. Юра устроил, чтобы койки их рядом. На них и сели. Он уж и соду из баночки приготовил, отсыпал на крышку — и в рот. Запил, поморщился. Ногу на ногу и грудью к коленям — скрючился весь. Рукою сильно сдавил живот.

Знал уж Гаврилов, что язва мучила Тимофеевича, как скорпион впиваясь в организм, и выматывала его, выматывала изо дня в день. Теперь всю ночь будет крутиться, — подумал о нем.

— Ну что дальше-то у тебя? — улыбнулся болезненно Юра.

— Может быть, завтра? — заметил Гаврилов.

— Колю позови, — Юра к нему.

И прошел Гаврилов в другую половину барака — в соседнюю комнату на сорок персон.

Николай Викторович что-то читал, но встал немедленно, как только сказали, что Юре плохо.

— Коль, чай завари, — Галансков к нему.

И сидели они втроем уже у тумбочки. Когда же допили чай и Коля ушел, разделся Тимофеевич и лег в постель все также скрючившись: к животу колени.

И чтобы Юру от боли отвлечь, Гаврилов продолжил свою историю:

— Поступить-то я поступил в это училище, но не все так сложилось, как я планировал. Никита Сергеевич в том, пятьдесят девятом, году начал увязывать школу с жизнью, учение с практикой. И я вместо училища в Ленинграде попал матросом на Балтику, в Кронштадт. Целый год на эсминце «Справедливый». По трюмам мазутным с ветошью в руках вдоволь полазил, и с корабельного брюха соскабливал ракушки, когда в доке стояли. И походы по Балтийскому морю не забыть никогда, по суровому холодному морю. Год пролетел словно день. Вернулся в училище, а оно с проспекта Сталина на Охту переехало за этот год. Здесь же теперь и совсем распускали нас кому куда хочется — разоружался Хрущев, и меняли воины ружье на лопату. Месяца два, все лето почти, был я между армией и гражданкой.

Юра успокоился понемногу, отлежался, отошла боль, ослабла. Глаза закрыл. Замолчал было Гаврилов, но Юра вздрогнул:

— Продолжай. Может засну я под твоё бормотание.

— Короче, выбор был у меня такой, — продолжил Гаврилов, — в любой институт Ленинграда, даже в тот, электротехнический институт, куда я тоже собирал документы. Да мало ли куда была возможность поступить. Был и второй вариант — ехать в Баку. Наш химфак туда отправляли. И решил я: в Баку. Раз уж легла карта на офицера, пусть так и будет. Помню, на четвертом курсе практика была на Черном море. На катерах. Чудо просто. Там я и познакомился с Галей. На пляже. Отдыхала она с подружками — дикарями. Но три года еще друг другу письма писали, пока до загса дошли.

Заметил Гаврилов, что спит Тимофеевич. Полные губы его раскрылись. Рука под щекой. И бородака вперед — судьбе навстречу.

18

Когда пронеслось в сознании это минувшее ленинградское и бакинское время, да три года после беседы той с Юрой в малой зоне Мордовии, стал засыпать и Гаврилов, уходить в никуда. И начал свою молитву сосед, тот мужик, который то вздымался горе, то опадал долу, и все шептал, шептал в подушку слова упования, слова надежды. Метнулся луч фонаря по глазам, поплыл по стене и скрылся за дверью.

Сны были для Гаврилова особым миром, то красочным и возвышенным, то печальным и страшным. Геннадий научился жить в этом мире фантастики, в мире фантаسمатогории, таком причудливом и необычном. Часто случалось, что из ночи в ночь возвращался он в прежний сон, никем не окольцованный, ничем не огороженный.

Перед глазами проходили люди и люди: из детства, из юности, из такой трагической зрелости. Отчетливо вспоминались во сне имена и фамилии, которые днем невозможно и вспомнить.

Но самое интересное: сны в дремоте, на пороге сна. Цветной калейдоскоп картин и образов, каких-то всполохов и теней, расплывчатых очертаний, с ясным ощущением, что тело спит, а сознание бодрствует. Ясно слышишь

тогда в голове, где-то в затылке, шум иной жизни,рывающиеся голоса, выкрики, зовы, а перед глазами, в области лба, причудливые движутся фигуры, постоянно меняющие свои очертания. Ощущаешь ясно движение неведомых сил в позвоночнике и во всей голове, как в колоколе, который теперь уже являет собою вместилище иного мира, таинственного мира сновидений.

Но это так редко случается: схватить момент перехода в сон. Когда же теряется эта тонкая нить, сознание рассеивается, расплывается и сны — уже менее отчетливы.

Что за мир заключен в нас? Тело не та ли тюрьма для духа, что и эти зоны для тела? Зашоренность, зарешеченность сознания, замки на сердцах. Бьется душа внутри нас, как птица в клетке, как карась на сковороде. И где выход, свобода где? Каждый раз от сна пробуждаясь, чувствовал Гаврилов с необыкновенной силой, что вместе со сном оставляет он там, внутри неведомого себя, что-то неразгаданное и важное, не только важное для него, но и для всех.

Стало тихо в бараке. Так тихо, что звенело в ушах. И прислушиваясь к этому звону, Гаврилов все глубже и глубже уходил в сон. Тело его, это он чувствовал ясно, наливалось тяжестью, деревенело, соединялось в один нерасчленимый на отдельные части кусок, сливалось в нечто отдельное от него. И он бился с этой глыбой гранита, пытаясь и пытаясь освободиться от него, оторваться. Наконец, что-то сдвинулось, поползло, словно надгробную плиту отвалили с могилы. И глыба пошла вниз, вниз. А может быть, это он, освобожденный, воспарил птицей, расправил крылья. Чувствовалось, что есть еще нечто и вокруг него, и рядом с ним. Тонкая вуаль, прозрачность какая-то. Мягкое, нежное, наподобие лепестков роз. Но и это все вдруг осталось внизу. И он один, в легкости и свободе, в безбрежности и радости. Никаких пут, никакого стеснения. Ни суеты, ни забот. Океан неба и волны радости несут его на своих ладонях навстречу Неведомому.

О, Господи, — думал он, — счастье какое и какая любовь! Он весь был напоен этой любовью ко всему миру...

Но вот снова возникли лепестки роз и легкая вуаль.

Потом был город, величественно раскинувшийся перед ним. Широкие улицы, уложенные разноцветными квадрат-

ными плитами. Спиралевидные дома. Большие плоскости площадей. Снующие люди.

И девушка впереди. Он, обходя торопливо людей, стал догонять ее, догонять. И догнал. Узнал. Остановиться хотел, отойти, повернуть назад от этой сумасшедшей, которая встретилась как-то им, ему и Гале, а у той на руках Любаша, на улице в Палдиски, еще до ареста. Тогда она бросилась к Любе с искаженным лицом, изъеденным оспой, с гнилыми зубами. Слюна брызгала из ее рта, а глаза растопырены и безумны. Геннадий еле оттолкнул ее в сторону, сам испугавшись. И вот теперь он догоняет ее, сумасшедшую и страшную. И уже схватил за плечо, и к себе повернул:

— Как ты здесь?

А лицо оказалось прекрасным. Каким-то матово-бледным и робким. И глаза сияли большие и умные. Но все же была видна на лице и печать напряжения.

Немного с нею пройдя, вспомнил он вдруг, что ему ведь надо бежать. Но куда? Догадаться не мог, пока не увидел часы привокзальные, большие, без стрелок. И сразу понял, что ищет жену в этом вот городе. Как же он мог забыть, что она переехала, что надо пойти, посмотреть, как устроилась, где поселилась.

И снова город, он бегом уже: вот драмтеатр, почтамт, узкие улочки, площадь и ратуша Таллинна. Нет, не сюда. Вот подворотня: неужели здесь? Дом, квартира, лестница и звонок. Вот и комната просторная, чистая. Он влетает в нее и видит мальчишку на широкой тахте и на коврикe девочку. В конце коридора жена. Обнялись и заплакали.

А легкая вуаль, окружающая их, стала тяжелеть, тяжелеть. И он снова почувствовал свою спину, тяжелую, угловатую, чужую каменную глыбу. И гигантский бык с головою следователя все переворачивал и переворачивал тяжелые каменные листы своим копытом.

19

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1969. 2 декабря. Подследственному Гаврилову вручено Постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

«...В книге «Слово и дело» тенденциозный подбор фактов, показывающих якобы нарастание антиобщественных процессов в нашей стране и в других социалистических странах... ряд материалов, порочащих советский общественный и государственный строй... клевета на основателя Советского государства.

...Открытое письмо гражданам Советского Союза»... не менее 10 экземпляров... клеветнические измышления, порочащие КПСС, внешнюю и внутреннюю политику Советского государства... лишить КПСС ее руководящей роли в жизни советского общества... отменить уголовную ответственность за антисоветскую деятельность... создать новую партию «если все методы борьбы не дадут положительного результата»...

...распространял для враждебного идеологического воздействия... преступный сговор...

...развернул организационную деятельность...

...практические шаги к созданию нелегальной организации «Союз борьбы за политическую свободу» и изданию его печатного органа газеты «Демократ»...

...решение вопроса о приобретении шрифта для газеты и организации денежной кассы для нужд «Союза борьбы...», а также иных организационных вопросов...

...под стражей написал статью «Организационные задачи Союза сторонников свободы», в которой призывал к проведению нелегальной антисоветской деятельности...».

3 декабря. Отменен арест на почтово-телеграфную корреспонденцию Гаврилова в Палдиски и в Калинин.

6 декабря. Гаврилову предоставлено право ознакомления с материалами уголовного дела № 354 в объеме 11 томов.

Заявление Гаврилова: «...Не зная конкретно, какие именно материалы из содержащихся в сборнике «Слово и дело» и в «Открытом письме» являются, с точки зрения следствия, ложными, в чем заключена эта ложность и доказана ли она, на чем основано утверждение, что я заведомо знал о ложности этих материалов, а также не зная, в чем именно и каким образом эти документы ослабляют или подрывают советскую власть, на чем основано утверждение, что мною преследовались в своих действиях именно эти цели, я не могу не только признать себя виновным по инкриминируемым мне статьям уголовного кодекса ЭССР, но

и не имею возможности целенаправленно осуществлять свою защиту.

Мне неясно также, по какому закону предоставляется следователю право определять, что является антисоветским, а что не является таковым.

На основании вышеизложенного виновным себя не признаю».

15 декабря. Перевели в камеру № 46.

20 декабря. Завершение ознакомления с материалами дела № 354.

20

Пробравшись, наконец-то, сквозь режущий звук своего сна, вибрирующий, тягостный и тяжелый, Гаврилов вновь ощутил себя на втором ярусе своей постели. Он вытер простыней влажный лоб, повернулся на бок и уснул обычным эковским сном, который привычно, но всегда неожиданно прерывался резкой сиреной подъема.

Гаврилов же приучил себя просыпаться чуть раньше этой сирены, чтобы спокойно можно было умыться до пояса, никому не мешая, не толкаясь ни с кем.

И сейчас среди утренней суеты он сидел у окна в коридоре, коротая время до проверки и завтрака, и читал Юрия Вебера «Когда приходит ответ».

Со смыслом название, — думал он. — Придет ли ответ на все, что случилось с ним? Напрасны ли его усилия, это неимоверно трудное противостояние слабого человека, одинокого и беспомощного, многоглавому Змию неограниченной власти? Насколько прав Вебер, когда говорит, что ростки будущего всходят далеко не всегда в положенное время и необязательно только за столами кабинетов и библиотек. Где же тогда: за решетками тюрем? В больших и малых зонах политлагерей?

И что значит: время? Сколько людей погибло хотя бы здесь, не успев прийти к своему неположному часу. Вопросы, вопросы. Кто ответит на них ему, почти раздавленному глыбой событий, навалившихся на его плечи?

Конечно, крепился он, даже шутил иногда, ломая уныние, узлом лежащее в сердце его, в той глубине, куда и самому-то страшно было погрузить взор. Ростки будущего. Какой корень заложен сейчас в нем? И когда росток души

его пробьется, наконец, к свету жизни? Хотя бы к жизни, не говоря уже о радости счастья.

И вновь проверка. Сейчас в коридоре — на улице дождь. И звучат фамилии из конца в конец длинной шеренги. И снова «есть» вместо «я» вырвалось у него.

Отстояв проверку, пошел Гаврилов в санчасть пить желудочный сок. После аппендицита того, после пенициллина, после тех еще школьных лет был колит у него и на нуле кислота. Но эта напасть не дала бы пропасть, если бы не проклятая аритмия, неожиданно возникшая, но цепко сидевшая в нем уже несколько лет: через два удара на третий удар замирало сердце на целую вечность. Да и те два удара шли ненадежно. Может быть, и блокадное детство всему виной.

Ему же казалось, что где-то сорвался он, не сдюжил следствия, не хватило сил. А письмо жены, с которого и поехало все, было лишь запалом к снаряду. Суд, конечно, добавил свое, и затем — в тюрьме подземельный карцер на десять суток. После карцера и пришло письмо. Всего-то несколько строк, почти пустых, но сильно задевших его самолюбие. Так и бросило в жар лицо. Так и застыл тогда посередине камеры с этим письмом, прислонившись к стене. Только удары сердца проваливались и проваливались мимо него. А глаза еще бежали по строчкам: на суде ты вел себя, как петух. Все так просто оказывается, так просто. От великого до смешного один шаг. Он-то думал: за принципы, за идею. Фигу там: раскукарекался, хвост распушил.

Письмо это он разорвал и в парашу бросил, но в сердце его оно крепко засело: стала мотать организм аритмия. И больше всего по весне, как письмо то случилось.

Все обострялось здесь. Все лезло наружу. Малая заноза разрасталась в бревно — так напрягались нервы. Лишь только тот выживал, кто мог это все мимо сердца пустить, как сквозь сито воду. Но он-то и не смог в нужный момент. Теперь же мучился и проклинал себя за эту слабость, за эгоизм и самолюбие, которых не смог побороть тогда, в тяжкое время. Дракон свирепый, человеческий эгоизм, может довести, оказалось, до бешенства, до блезни.

Вспомнилось это ему опять, пока подходил он к окну санчасти. Там была уже очередь завсегдатаев этого зэ-

ковского ресторана: кому уродан, кому валериан, кому глюкозу в левую руку, кому витамин в мягкое место, тому капли, этому же таблетки опять. Каждому свое, по рецепту и без, если было что от болезни той, с которой пришел данный проситель.

Иван Ефимович здесь уже был, у окошка. Седой, опухший лицом, много старше казавшийся своих пятидесяти. Дрожащие пальцы он сжал в кулаки, чтоб не дрожали, и ловко сунулся головой в окошко. Быстро таблетки взяв, он также быстро пихнул их в карман, отошел. Конечно, аптека не прибавит века, но и Гаврилов, вслед за Иваном, подошел к окну, выпил все же мензурку сока, взял таблетки от сердца. Но, выйдя из санчасти и догнав Ивана Ефимовича, таблетки сунул ему:

— Вот, возьмите, пожалуйста.

— Спасибо, спасибо, Геннадий Владимирович. Вы уж не беспокойтесь. У меня есть пока.

Но знал Гаврилов, что не откажет, возьмет.

— Вы бы поменьше все-таки, Иван Ефимович. Не бережете себя.

Тот застенчиво улыбнулся в ответ, убирая и эти таблетки в карманы брюк.

Был Иван Ковалев филологом, полиглотом. Массу языков европейских знал, в арабском кумекал и Гаврилову помогал разобраться в хинди: нужный был человек для зоны. И каждый ученик такой благодарил его по возможности. Но всего дороже ценил таблетки Иван Ефимович. Видел он в них свет для себя в этом темном сарае, в этой зияющей бездне лагерной зоны.

А мы-то ищем вокруг диалектику. Сколько мудрецов колдовали и колдуют еще над смыслом жизни, а тут без книжных премудростей нашел человек, что дороже ему всех философий, дороже воздуха, дороже жизни самой.

И когда подошли к бараку, Иван Ефимович тронул его за рукав, еще раз благодаря:

— Геннадий Владимирович, пойду я, отдохну немного.

— Конечно, Иван Ефимович, отдохните. К тому же хмуро вон на небе сегодня.

Распрощавшись так, пошли они каждый путем своим.

Один — в барак, на койку, закутаться в одеяло с головой, съесть таблетки и кайфовать.

Другой — заложив руки назад, привычка такая еще с тюрьмы, пошел по кругу, пошел вокруг площадки сейчас пустой. На пятый год тюрем и лагерей стал и он инвалидом по болезни сердца. Нашли порок: недостаточность митрального клапана, отягченная экстрасистолой. И сидел пока, не работал. Здесь уже, по весне, лежал в больнице. Казалось все же ему, что вряд ли порок. Нервы скорее да просто слабое сердце. Лихо минует — и все наладится. Так казалось ему.

В бараке нечего было делать сейчас, шла в бараке приборка, да и дневальным не хотелось мешать, под ногами крутиться.

И каптерка пока заперта. Там дневники его, там и письма. Он захаживал часто сюда, взять кое-что, или что-то записать в тетрадь очень мелко, почти неразборчиво, и убрать подальше от надоевших шмонов, от недобрых глаз.

Писал он по-разному. Жене и друзьям на волю — четко и ясно, печатно почти. Бумаги всякие по делу или заявления там — писались забытым школьным почерком, коряво и угловато. Для себя же, от посторонних глаз, разработал он «арабскую вязь», ему одному лишь понятную, где русские буквы вперемежку были с латинскими. Сейчас вот Володя приехал, надо сделать заметки, отметить детали, пока не забылось, не убежало из памяти. Но это после, успею еще.

В библиотеку пойти, но и та закрыта на час или два: чаи гоняют там придурки лагерные. Считалось здесь, что если не инвалид, то такая работа сродни придурочной.

Была библиотека небольшой, на пять столов. Каждый стол на двоих, но сидеть любили по одному, чтоб никто не толкал, не сбивал со строки или мыслей, если оставались еще такие у ээка в бесконечной и однообразной веренице дней и ночей.

Библиотекарем работал здесь молодой бугай. В большой дружбе с поварами был, с портным да с сапожником. Сапожник, правда, его не потчевал, но и не гнал, коли пришел. В зоне таких не любили, даже если и не были замешаны они в связях с начальством. Но старикам прощалось, когда по немощи занимали они подобные кресла. Все деньги какие-то. Да и немало было здесь инвалидов. Поближе к больнице и привезли их на случай.

Так что и хинди подождет пока. Оставалось одно сейчас Гаврилову: руки назад — и ходить вокруг площадки от барака, где жили они — к туалету, и оттуда — к барaku.

Конечно, сами по себе эти функции тривиальны, — думал он, — и ничего отсюда не вытащишь, а если логический ряд — совокупность функций, их единая цепь, что тогда?

Эта странная логика открылась ему в сыром подвале — в камере первого для него карцера калининградской тюрьмы. Через три с лишним месяца после суда. Показалось ему тогда, что каши в обед дали меньше, чем нужно по норме. И обратно вернул он кашу, отказавшись от пищи. Но то ли зэки-раздатчики, прежде чем доложить старшему, добавили в миску, и потом уж — на весы злополучную кашу, то ли сам Гаврилов ошибся, только вышел неожиданный крик, и Гаврилов в ответ огрызнулся начальству. Докладная вверх, и сразу же сверху — в карцер: десять суток ему.

И здесь по достоинству оценил Гаврилов вкус и запах черняшки, прелесть поваренной соли, аромат кипятка. Через день лишь была поварешка горячей баланды.

Но вспомнил он это свое одиночество, как рай в аду, как звезду в темноте ночи. Вспомнил, как любил он вообще камеры-одиночки, эти карцеры, темные и холодные, где ни сесть, ни лечь толком нельзя, но где ты один с целым миром, где не лезет никто с надоевшей ерундой, где можно спокойно подумать, медленно побродить по своему прошлому и заглянуть в бездонные глаза своего будущего.

В этом вот карцере, где не видно было ни зги, где лампочка, мотаясь над дверью, почти не светила, где торчал из стены лишь кусок доски, на котором невозможно было сидеть, где на стол помещалась лишь миска, а доска, на которой ты ночью спал, подложив под затылок ботинки, замыкалась на день к стене, где стояла черная тишина, словно в космической бездне, перекликающаяся лишь с журчаньем воды в унитазе, именно здесь, пронеся за щекой карандаш, на клочках туалетной бумаги записал он свои первые построения по логическим числам.

И не в том была суть: правильны или ложны были они, а в том, что работала мысль: в холоде, в голоде, в темноте. И была радость творчества среди погребения. Что-то, ему непонятное и невидимое, заставляло его работать,

жить, думать и действовать, заставляло искать. Как это ни странно казалось ему, но он заключил для себя как закон, что чем человеку труднее, тем больше рождается в нем устремления. И это устремление свое он решил тогда нести до завершения срока, как последнюю влагу и последний огонь в этом аду, в этой бездне мрака, в этой зоне безжалости и жестокости. Иначе можно не выжить, не устоять. Недаром и сон свой на этой доске он запомнил: стрелу, летящую через ночь. И светящийся след ее разрывал темноту, как бумагу.

Тогда получаем нечто единое, — продолжил он свою мысль, начиная очередной круг, — и здесь элемент в элемент переходит по замкнутому кольцу. Четыре опорных точки цикла. Или эволюция через четыре мировых периода, как у индийцев. Колесо кармы у буддистов. Круг как символ вечности.

Дойдя до сруба на шесть персон, он зашел в него, сел.

Общая посылка «все в одном», — шуршал он бумагой, — и есть логический ряд. Модель того, что нужно исследовать. Но как это колесо заставить вращаться?

Он встал. Заправил майку в штаны, поправил куртку и вышел. И снова медленно побрел вокруг площадки. Один круг, другой. А если спираль, — вертелось в нем. — Закон спирали, структурные уровни материи. Один уровень в другом, и развитие.

Сколько бы еще ходил он так вот в себе замкнутый, если бы вдруг не появился в дверях барака Буковский. Увидев его, Гаврилов ускорил шаг, подошел:

— Привет, Володя. Тебя еще не сунули на работу?

— Не сунули, — ответил закуривая. — К начальнику вызывают.

— Без этого и нельзя. Познакомится, поговорит как ты и что, работку предложит.

— Сам пусть работает.

— Он-то работает, жарко аж.

И пошел Константинович в кабинет, а Гаврилов — по кругу. Вот и Володю из тюрьмы сюда, — подумал он. — Там одно, здесь, вроде, другое. Но и общее есть между термосом и мешком: оба закрыты и нечем дышать.

И пахло на него тюремным бытом. Поплыли образы, воспоминания — и к горлу комок. И дождь по лицу словно слезы.

21

ЛИСТЫ ДНЕВНИКА. 1969

1969. 15 октября. Наконец-то экспертиза. Две женщины и двое мужчин в белых халатах внимательно изучали меня, забыв даже засучить рукава своих халатов. Один особо старался — с усами. Но и остальные подливали масла в костер.

Через час уже собрали меня с вещами.

Прощай Вовочка, лови потихоньку мух своих — помогай человечеству. Прощай дед, так и неуспевающий просушить свои кальсоны. Прощайте Коля и Алдыс. Как сложатся ваши судьбы? Кому известно? Да и кого занимает в громадном государстве судьба человека незаметного, неказистого.

Прощай камера 99 — палата шикарная.

И пока видения палаты, встреч с врачами и экспертиза еще витали во мне, черная «Волга» донесла меня до аэропорта. Конечно — с охраной. Конечно — в наручниках. До отлета самолета оставалось еще около часа.

Машина стояла у аэропорта, невидимая постороннему взгляду. И только осень была явлена всем.

Деревья и кусты в зеленых, красных, желтых и даже в голубых одеждах. Повсюду разливанная тишина.

Мягкий свет от фонарей делал эту тишину особенно строгой и величественной.

— О чем думаешь, Гена? — спросил сопровождающий меня следователь майор Пипко.

Для меня он был нов. И виделись мы с ним впервые. Наверное из тех, — подумалось мне, — кем расширено следствие.

— Так, — ответил неопределенно, чтобы закончить неначатое.

Мы много беседовали в пути. И сейчас какая-то грусть, смешанная с тишиной, располагала к раздумьям. Говорить не хотелось.

— А все же? — приставал он.

— Посмотрите, какая прелесть эти деревья, кусты. Золотая осень. Действительно — грустная пора. Особенно в вашей карете. Давайте уж помолчим.

Но он все же разговорил меня. Этаким допрос на лоне природы при свечах фонарей. Опять же задел изъятые у меня конспекты. И ему известно — круговое дознание.

— Не то тебя волнует, Гена, — нес он, невзирая на осень. — Подумал бы лучше, сколько неприятного ты принес своим родителям, детям, жене.

— Это важно, конечно, — возразил я майору. — И столько передумано уже на эту тему: Но дети — не ради же только детей. Жена — не ради же только постели. Это все во имя чего-то. Во имя добра, во имя жизни, что ли. Доброй жизни. А у нас: вонь кругом — и в семьях, и в государстве. Антисоветчиков ищете. Смешно смотреть на вас, на ваше расследование, на вашу игру в серьезность и значимость.

Но майор верещал свое: по заданию ты действовал, по указке из-за бугра. Назови явки, пароли, резидента, — спросит еще.

— Разумеется, жизнь еще может быть налажена, если выйдя из заключения, — продолжил он, — ты прекратишь свою деятельность. А не прекратишь — плохо придется. Подумай, Гена.

— Ты хочешь критиковать Ленина, — начал он после короткого молчания. — Конечно, все ошибаются. Но твои идеи сейчас никого не интересуют. Они ни к чему, твои идеи.

Я смотрел на деревья, на движение машин и людей.

Чувствовался покой, какая-то мистическая глубина природы, нам неведомая. Наша суета с майором казалась такой чуждой и ничтожной для этой осени, для кустов и деревьев, для темнеющего уже неба. О чем спор? — размышляя я, отвернувшись от следователя. Сможем ли мы понять друг друга? Может быть, действительно, я ошибаюсь в чем-то, но почему же никто, ни один политработник, ни один следователь, ни прокурор, никто из всех, с кем соприкасался я за время следствия, не сделали даже попытки разобраться что и как. Нет же, все заранее предопределено — антисоветчик.

— Конечно, в твоем «Письме...» нет ничего особенного, — гнул и гнул свое майор Пипко, — но ты же знаешь, как за границей используют всякий подобный документ, исходящий из Союза. Они, может быть, и не разделяют того, что ты пишешь, но опубликовать это считают своим долгом.

Объявили посадку — и поток слов следователя прервался. Раньше всех мы подъехали к самолету. Стюардесса была взволнована необычным пассажиром-преступником, и не один раз спросила — сколько же нужно оставить вокруг нас свободных мест. Ее заверили, что преступник спокойный.

В полете следователь закончил свой воспитательный монолог, между прочим заметив, что Леша Косырев перестал нервничать, волнуется лишь — допустят ли к лаборатории после окончания срока. Оптимист, — подумал я, — загодя о будущем — это верно.

— Дадут ему год или два, — продолжил Пипко. — Уже очень Косырев тяготился военной службой.

А мне сколько дадут? — подумалось мне, словно иглой кольнуло.

В Таллинне нас уже ожидала машина. Быстро и, опять же, без лишнего шума меня доставили в зарешеченные апартаменты, не забыв до помещения в камеру проверить вещи мои и меня самого. Изъяли записи. Но квитанцию выдали.

20 октября. Камера 44. Сокамерник кагебист. Сажая, значит, и своих иногда, если нельзя уж не посадить. Из газет узнал, что в Чехословакии летят головы. Из состава ЦК КПЧ выведен Сморковский. Из состава Президиума ЦК КПЧ убран Дубчек. Он же смещен с поста Председателя Национального собрания. Президентом остается пока Свобода. Надолго ли?

Из резолюции Пленума ЦК КПЧ: «...Отменяет заявление Президиума ЦК КПЧ от 21 августа 1968 года потому, что оно является неклассовым, немарксистским и в корне неправильным ...Ни в коем случае речь не шла об акте агрессии против народа, речь не шла об оккупации чехословацкой территории и подавлении свободы и социалистического строя в нашем государстве. ...Обязывает Президиум ЦК КПЧ... принимать решения в неотложных случаях о кадровых изменениях в органах партии, государственных органах и органах общественных организаций, входящих в компетенцию решений Пленума ЦК КПЧ».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. История, конечно, разберет эти завалы. «И горьки будут плоды с дерев их».

24 октября. Странно, но почему-то не вызывают на допросы. Где же мой долгожданный Бодунов Михаил Николаевич. Отзови-и-сь, кар-ау-ул!..

А осень движется своим чередом. Листья падают и падают. Из прогулочного бокса видны вершины постепенно оголяющихся четырех деревьев.

Из рассказа В. Вересаева «В мышеловке»: «...Звезды в зеленоватом небе сияют тихо, ясно. Человеческие жизни, ясные звезды — все равно. Каждую ничем нельзя заменить, каждой нет цены. Если только любить друг друга, то это так легко

почувствовать и понять! Кругом холодно, темно, людям бы нужно жаться друг к другу, а они все, сами застыв от холода, высматривают из-за насыпей, как бы всадить друг в друга пулю».

Становится холодно. Скоро не смогу выходить на прогулку: пиджак тоненький — не греет, и лысая голова мерзнет. спасаюсь гимнастикой.

25 октября. *Вызывал следователь — услышал мой зов. Ему присвоили майора. Это я только в камере заметил. Вспомнилось: что-то в нем изменилось? Погоны, вот что.*

На столе бумажная пепельница и окурок — кого-то допрашивал. Сам он не курит. Я намекнул: с кем вы чаевничали? Оказался Косырев. Неужели начал курить?

Выяснил я, что Парамонов еще в психбольнице в Риге. Попросил у Бодунова бумаги — мои запасы кончились. Выделил пачку. Добрый сегодня. Вот что значит — погоны.

Передал мне письмо от Гали, конечно открытое. Валялось оно 20 дней в канцелярии тюрьмы. И здесь бюрократия — куда ни плюнь.

Галя пишет: «...Я, конечно, хотела бы присутствовать во время суда, но никто не сделает так, как мы хотим, а постараются наоборот, поэтому не следует никого просить об этом. Мне даже стыдно за тебя, как ты выпрашивал свидание. Все равно придется долго не видеться, так что привыкай. А с защитником вообще не должно стоять никакого вопроса, если, конечно, он дается бесплатно. Вряд ли тебе будет лучше без него. Конечно, не нужно возлагать на него больших надежд, но пусть уж будет все так, как должно быть. Теперь уж поздно что-то менять и переделывать...».

Написал ответ.

Коротая вечер в беседе с сокамерником. Представительный, лет 45, мужчина в очках, начитанный и интересный. Присудили к 8 годам за убийство друга. Тоже кагебиста, наверное. Уверяет, что был невменяем. От водки, что ли? Подал на кассацию. Пишет жалобы на действия следователя и суда Генеральному прокурору.

29 октября. *С утра моросил дождь — небо затянуто серой простыней облаков. Мрачно.*

После завтрака сосед мой собрал вещи и направился в «пятый лагерь». То ли его заявление начальнику отдела мест заключения сработало, то ли звоночек помог — неизвестно. Но на прощание заметил он, что более 4 лет из 8 вряд ли будет

сидеть. А может и меньше, — подумал я. Вчера вечером водили его «на помывку». И как мягко и ласково смотрел на него надзиратель. Эдуард Рудольфович, так его величают по имени и отчеству, боится попасть в лагеря России, но и в Эстонии, однако, его мучают страхи. Оттого, наверное, что задница у него уж больно круглая. Думаю, все же, что «свои» не пропадают в зонах, будь-то большая она или малая. Эдуард Котть промурлыкает свой срок где-нибудь на диване рядом с кумом или с опером рядом будет песенки петь.

Впервые в камере я остался один. Комната пять шагов на четыре с решеткой и жалюзи. Три койки, и потому это «тройник», раковина, горшок, дверь с окном, «кормушкой», для подачи пищи и «глазок» надзирателя для наблюдения за нами ночью и днем, в час еды и в минуты туалета. Этот глаз, неотступный и вездесущий, поначалу больше всего выводил из терпения. Ни читать не мог я, ни писать, ни сесть на горшок, — все дергался на этот зрачок, из застекленной дырки торчавший. Со временем привык, однако, как и ко всему привыкает человек, притирается ко всему, соглашается со всем, успокаивая себя тем, что могло ведь быть еще и хуже.

Есть тумбочка здесь, табурет и надоевший динамик. Днем, кроме суббот и воскресений, дают газеты. Из библиотеки — книги — спасение для меня. Если бы не они...

Пришел с допроса. О, Шерлок Холмс — Михаил Николаевич. Выяснял мои связи со старшими офицерами части, особенно — Беловым и Головки. Не скрывает, что у Юрия Белова произвели обыск. Мало им трех арестованных. Конечно же, сошлют их на Север или на Тихий. Выгнали «на гражданку» Александра Салюкова, сокурсника по училищу, всего лишь за хранение моего портфеля с бумагами — продолжением книги «Слово и дело».

Заметил следователь между делом, что много желающих присутствовать на суде. Зачем эта информация мне? Не съезжаются ли диссиденты вокруг процесса? Сергей Солдатов приложит усилия, чтобы процесс не прошел скрыто, особенно после очной ставки. Не случилось бы так, что организуют трибунал там, где Макар телят не гонял.

— Михаил Николаевич, вернули бы записи-то. Зачем они вам?

— Отдали на экспертизу — ваши ли?

— Естественно не мои. Выписки из Чернышевского, Герцена, Ленина.

— Это мы знаем. А комментарии к Ленину? Может быть, сокамерника?

— Шутки у вас, однако. У эстонца? Какие комментарии у валютчика и грабителя?

— Ваши, ваши комментарии, Геннадий Владимирович. Но есть процедура проверки. И потом, эта статья «Организационные задачи Союза».

— Какого союза? О чем вы?

— О «Союзе сторонников свободы». Или не ваша статья?

— Моя. Ну и что? Мало ли что я напишу в камере для себя. Не распространял, не агитировал. Не имеете права приобщать ее к делу.

— Для характеристики обвиняемого, Геннадий Владимирович.

— Михаил Николаевич, у меня бумага кончилась. Дали бы пачечку.

— Нет уж, увольте.

Разошлись с ним сегодня, не договорившись.

И подумалось: без нас, диссидентов, что делать им — заплыли бы жиром.

Мое содержание под охраной и обороной продлено до 10 декабря.

30 октября. Принесли часть из заказанных мною в тюремной библиотеке книг: «Подполье свободы» Жоржа Амаду и «Преображение России» Сергеева-Ценского.

— А что сочинения Огарева и Сталина?

— Огарев на руках. Сочинения Сталина с разрешения следователя.

Еще новости. Вероятно до сих пор нет еще Сверху директивы о свободной выдаче сочинений Отца Народов его подданным детям.

31 октября. Тюремный рацион зэка: 600 грамм хлеба, прилипающего к стене, 10 грамм сахара, черпак каши на завтрак и обед. На ужин: кусок селедки или килька, картошка-размазня по миске или капуста, сваренная на воде. Кружка чая утром и вечером. Черпак супа или щей на обед. Все это 33 копейки. А попробуйте на эти золотые 33 копейки в день прокормиться на воле — шиш без масла. А в государственном масштабе — аж голова кругом от экономии. Если же в карцере зэк, то 40 копеек на него идет за два дня. Вот, весь Союз бы в карцер. Господи, как бы мы рванули в экономике. В зонах, правда, названных «учреждениями», кормят получше, но там зэк за все платит

сам, трудом своим — и за питание, и за спец-зэковскую одежду. Остались если деньги еще от зарплаты зэка — тогда 50% долой на содержание конвоя, охраны тюрем и лагерей, на содержание прокуроров и следователей, на воспитание этих самых зэков, и еще надо дать на поддержку верхних этажей карательной пирамиды государственной власти. Сиди зэк — и плати за то, что сидишь.

1 ноября. Утром выпал первый снег. Морозно, но мягко и незаметно. Ленивые снежинки медленно плыли в воздухе и таяли, падая на ладонь. Четыре дерева за прогулочным двориком оголили уже свои ветви. Редкие листья застыли, умирая, пригнувшись беспомощно к еще теплым ветвям. В сером небе, изредка отливающим голубизной, медленно парили редкие чайки. На стенах тюрьмы чирикали воробьи, рассказывая друг другу о первом снеге. А на решетках окон сидели нахохлившиеся голуби, недовольные приходом зимы.

Над двориками и над всей этой осенней красотой по настилу медленно вышагивал надзиратель, звеня ключами.

А днем солнце ударило в окно. Разбрызгало свои мягкие лучи по решеткам. И отражение решеток прилипло к стене причудливыми квадратами полосок и кружков, набегающих друг на друга. Все это отраженное чудо медленно двигалось в камере вдоль стены. И ни звука. Лишь изредка заскрипит за стеною кран, да в коридоре иногда прозвучат голоса или шаги надзирателей.

В субботу уборка камеры — тряпка, щетка, таз. Но воды нет. Жду. Наконец набралось немного из крана. Теперь за дело.

3 ноября. В субботу и воскресенье отдых заключенных от газет, чернил, иглол и ниток. Зато сегодня, в понедельник, кипа газет за три дня.

Принесли казенное полупальто, тюремную фуфайку и шапку. Шапка оказалась велика. Заменили — мала. Вот, мать эти. И неудобно теперь спрашивать еще раз замены. И всегда у меня так: у всех через рот, у меня — через жопу.

Для получения имущества потребовалось: неделя времени, беседа с начальником режима, три просьбы у корпусного, снова запись к начальству и, наконец-то, сработало. Ну, вроде вовремя — за окнами на решетках снег и стекла запорошены крупными белыми пятнами.

4 ноября. На прогулочном дворике все бело. На ослепительно синем небе разбросаны желтые хлопья облаков, освещенных солнцем. Под ногами пушистое покрывало по цико-

лотку. Взял лопату и сгреб всю эту равнину в угол. Сделал рядку и растерся снегом. Тело горит. Оказывается — и в тюрьме могут быть свои маленькие радости.

В камеру вдруг открылась дверь.

— Фамилия?

— Гаврилов.

— Имя? Отчество?

— Геннадий Владимирович.

— Владимирович? А у меня — Константинович.

— Значит, не меня.

— Одевайтесь.

И вышли из камеры.

— Руки назад.

Видимо, на допрос, — подумал я. — И если перепутали отчество, значит Парамонов где-то здесь, в соседних камерах. Арестован?

Следователь подтвердил мои предположения: Парамонов в изоляторе. И познакомил меня с ворохом экспертиз: судебно-психиатрической, криминалистической, радиотехнической и так далее.

Допрос касался мелочей. Главное же, статья «Организационные задачи», по которой и проводилась криминалистическая экспертиза на почерк, будет, видимо, рассматриваться следователем совместно с прокурором. Чуть не написал — прокуратором Большуновым.

Какие нежности при нашей бедности. Этакая игра в закон и законников. Есть воры в законе. Есть, вероятно, и прокуроры в законе, и следователи. Да они друзья не разлей вода. Как Пилат, умоют не только руки, но и ноги себе и друг другу.

Я читал, когда снова лязгнули засовы и открылась дверь. Несет кого-то опять, — подумал я, — и здесь нет покоя.

Вошел старшина. Невысокого роста, с розовой, как апельсин, физиономией. И приступил к своему делу.

— Предпраздничный обыск, что ли?

— Так, шмон небольшой, — он обыскал мои карманы, прощупал штаны и рубашку.

— Скажите, что ищете, и дастся вам?

— Что найду, то возьму, что не найду, останется с вами.

Взяв свои записи со стола, я вплотную подошел к нему и спросил:

— Почему вы один? Не положено.

— Почему один? Вон, в коридоре.

Действительно, в коридоре чуть в стороне — здоровенный дитина.

Старшина листал мои бумаги.

— Здесь я делаю выписки из прочитанных книг, — объясняю старшине.

Полистав лениво, он вернул данное ему.

Железная дверь с лязгом захлопнулась, щелкнули два массивных засова.

Весь мой секрет в этом и был — все главное для меня лежит на виду. А это уже свой глаз — вот оно, лежит. В своем же глазу бревна не видно, не то что тетрадь. Конечно, мелкие документы необходимо убрать, и подальше, чтобы взять поближе. Хотя именно здесь и больший риск потерять. Нашли же они уж так хорошо запрятанные «задачи Союза».

И второе. Гениальность в простоте. Пишу, например, в тетради: Н. Вержбицкий «Записки старого журналиста»

...В школе из нас делают безгласных пешек, забывают нам головы всякой чепухой, глушат любознательность, угнетают чувство личного достоинства, любовь к свободе.

И вот, начиная со второго или третьего листа тетради, чаще же — сшитых в тетрадочку серых листов, между цитатами из книг вписываю свое: имена, фамилии, детали событий.

Бумага плохая. Записи карандашом еле различимы. Но названия книг и авторы выделены ясно, жирно. И большие двух-трех листов и беглого просматривания середины никто не читает. Такова Русь.

Полежат у них эти записи для приличия неделю, две, месяц от силы. А я нажимаю, шумлю — верните, в чем собственно дело, дикость какая. И вернут. И что сейчас написал, никогда не прочтет охрана. Не по книгам живут россияне, все больше по сплетням. Так всю историю свою и просплетничали на завалинке или крыльце. Иначе, чем объяснить, что творится у нас на российских просторах.

5 ноября. *Галя прислала фуфайку, зимнюю шапку, нижнее белье. Пригодится для поездки на суд — все поприличнее тюремного.*

В одной из камер драка, визг, крики: «Дежурная! Дежурная! ...Она меня душит. А-а-а!» Звон разбитого стекла. Нескончаемый стук в дверь. Женщины скандалят. И ту, и другую увели в карцер.

Закончив зашивать разорванную рубаху и отдавая иглу, я спросил надзирателя:

— Почему не разведут их по разным камерам?

— Они режимники. Все время дерутся. Куда их разведешь.

Будни, будни тюремной жизни.

7 ноября. ПРАЗДНИК.

Газета «Молодежь Эстонии» опубликовала любопытный материал: Процесс против «Искры», — защитником которой выступал Карл Либкхнехт. Приводится его беседа с экспертом по России социал-демократом профессором права Томского университета Рейсснером.

Либкхнехт: — Как обстоят дела со свободой собраний в России?

Рейсснер: — Это полностью предоставлено на усмотрение полиции.

— Разрешены ли мирные стачки и демонстрации?

— Нет, в России все это находится под строжайшим запретом.

— Для меня еще очень важно узнать, как обстоят дела с судопроизводством в России?

— За всеми подозреваемыми в чисто административном порядке можно установить полицейский надзор и выслать в самые отдаленные места Российской империи.

— История России, — говорит Либкхнехт, обращаясь к Суду — написана кровью, написана руками властителей, липкими от крови крестьян и рабочих.

Как мы от всего этого оторвались! Ведь теперь, как пишет «Комсомольская правда»: «Открытая, гласная критика, позволяющая вникнуть в существо дела, — это лучшее средство воспитания и руководителя, и коллектива». Смейся, паяц!

11 ноября. Начальнику следственного изолятора подал заявление по поводу содержания меня под стражей без соответствующего постановления прокурора о продлении такого содержания, и об уменьшении нормы питания подследственным.

13 ноября. Вызвали к начальнику тюрьмы. Там уже следователь. Все оказалось проще пареной репы.

По двум причинам, независимо от начальства, могло произойти уменьшение выдачи нормы питания: неправильная раскладка продуктов при приготовлении и неравномерная раздача пищи самими заключенными, хозобслужбой.

Если же учесть, что были предпраздничные и праздничные дни, — заключил я для себя, — то ответ вполне резонный. Всем

кушать хочется. А чем выше кресло, тем хочется кушать больше.

Кто же у парашки лежит — так какая им пища!? Довольны будьте тем, что дали вам.

Со сроком содержания под стражей и совсем ерунда: пока-а из Москвы придут бумаги от Генерального.

— Но все имеется, Геннадий Владимирович, не беспокойтесь, — заверил Бодунов.

Где уж мне, действительно, бодаться с ним.

Эх, тройка, птица-тройка — прокурор да следователи! Куда несетесь вы? Нет ответа.

И все же я снова пристал к начальнику тюрьмы:

— Мне здесь еще долго сидеть...

Это к следователю, — перебил он меня.

— Да, Геннадий Владимирович, до закрытия дела осталось недолго.

— Я хотел бы, — снова к начальнику, — просить вашего разрешения ознакомиться с работами Сталина, которые имеются в тюремной библиотеке, но не числятся в каталоге.

— Разве вам мало Ленина? — вытянулось лицо у Михаила Николаевича.

— Хорошо, только согласно норме, — перебил его начальник тюрьмы.

— Разумеется. Я больше и не прошу. Значит, вы сообщите о вашем решении в библиотеку?

— Вопрос решен. До свидания.

И спустились со следователем в кабинет на первый этаж, где решетки и табурет к полу прикрученный. Там я подписал акт экспертизы статьи «Надеяться или действовать», написанной группой эстонской технической интеллигенции.

Дело затягивается, — подумал я.

— Михаил Николаевич, — продолжил я свое, отдавая ему подписанную бумагу, — мне бы уголовно-процессуальный кодекс для ознакомления. Распорядитесь, пожалуйста.

Оказалось, что обвиняемому не положено знать законы и использовать их в средствах защиты. В библиотеке же тюрьмы таких книг и не держат. Это вам не какой-то там Иосиф Сталин. Того хоть в каталогах нет, так в тюрьме есть, а законов ни в тюрьмах, ни вне тюрем не было и не ждите.

— Вот, если бы вы были на свободе, тогда изучайте, — глубокомысленно заключил следователь.

Но где она, свобода-то, — подумалось мне.

— И все же, — продолжил я, — вы, Михаил Николаевич, используете против меня процессуальный кодекс, а я против вас не имею возможности?

Спорили долго. Решили: выясним у прокурора.

Неужели же в России без прокурора и шаг не шагни?

— Можете идти, Геннадий Владимирович, — завершил наши прения следователь, и нажал кнопку звонка.

— А что допрос? Сегодня не будет?

— У вас неважное настроение. В следующий раз. Дней через несколько.

14 ноября. Результат задушевных бесед с начальником тюрьмы и следователем: отключили радио и лишили газет.

— Вам не положено, — и кормушка захлопнулась.

— Объясните, на каком основании? — барабаню в дверь. — Почему вдруг... Пять месяцев читал газеты и слушал радио...

Засовы сдвинулись, лязгнули, дверь отворилась.

— По какой статье? Антисоветчик?

— Инкриминируют эту.

— Ну вот. Существуют правила относительно вас.

— Хорошо, я выясню эти правила, кормушку вам в дышло.

Дверь захлопнулась. Задвигжки щелкнули.

Коридорный и надзиратель направились, как я расслышал, снимать динамик в 41 камеру, где я находился до Риги. Кто там? Политический? — думал я. — Косырев? Парамонов?

Значит, не в моем заявлении дело. Что-то шире, что-то значительнее. Что может быть? — метался я мыслью. — Газеты и радио... Сообщения о нашем деле по «Свободе», например?

Или в наших газетах журналист обмолвился словом, заклеил в полемике с Западом? Вот что! Тогда ясно — нельзя радио и газет. Не пущать, а нам — не пиццать.

Долго не мог уснуть — мешал яркий свет, который не выключается на ночь.

16 ноября. В прогулочном дворике разговор:

— Правды не было и не будет. Вы уж лучшие и не произносили бы этого слова.

— Нет, есть правда. Всегда была и будет.

Два мнения прямо противоположные. Кто прав?

В соседнем справа дворике беседа о жизни. Хриловатый и уверенный в себе голос говорил:

— Надо так прожить жизнь, чтобы было потом, что вспомнить. Широко надо жить в век космический. А то чита-

еишь передовицу: соревнования всякие, цеха да поля, мать их е...
. Ужас. Читать невозможно.

Из романа Ордубиди «Меч и перо»: «Неужели гуманность, справедливость, жизнь, разум — все это ложь... Если жизнь — это царство пустых, бесплодных мыслей, откуда в нас рождаются представления обо всех этих вещах?»

И еще: «Отобрав плоть у одного и передав ее в руки другого, нельзя изменить и улучшить жизнь народа... Нельзя завоевывать доверие народа, не создав строя, сообразно духу народа, его величию, его культуре».

Двенадцатый и двадцатый век. Между ними времени бездна. А проблемы человечества те же: отдать на произвол одного самодура несколько миллионов людей — это с нашей стороны непростительное преступление по отношению к народу, к самим себе.

21 ноября. Ох уж мне эта информация.

— Почему же все-таки, скажите, запретили мне радио и газеты? — какой уж день добиваюсь своего у тех, кто вне камеры.

— Откуда мне знать почему, — 1-й надзиратель. — Сказали не давать, я и не даю. А радио не я же брала. Корпусной это. К нему и обращайтесь

— Ну, а сами-то вы, как считаете? Почему пять месяцев я читал газеты, а теперь вдруг запрет?

— Не знаю. Мне приказало начальство — я выполняю.

— Вероятно, это ваш следователь запретил или прокурор, — отвечает корпусной. — Наше начальство здесь ни при чем. Наверное, временно. Может быть что-нибудь в газетах, что вам нежелательно читать.

— Что же можно скрывать в газетах от заключенного?

— Не знаю. Выясните у начальника.

— Корпусной неправильно вам объяснил, — 2-й надзиратель. — У вас 68-я статья, антисоветская агитация. По этой статье газеты не положено подследственным.

— Почему же это? Одному зэку газету, а другому не дам? Бред какой-то.

— Не знаю.

— Существует постановление Министерства внутренних дел, что подследственным за государственные преступления до суда прослушивание радиопередач и читка газет запрещены, — пояснил временно исполняющий обязанности начальника тюрьмы.

- Неделю назад принято постановление, так?
- Почему же, давно уже.
- Ознакомьте меня с этим документом.
- Документ секретный, и я не могу вам его показать.
- Объясните хотя бы, на каком основании построено это положение секретного документа. Что за фундамент?
- Мне неизвестно.
- Ну хорошо, посоветуйте, хотя бы, как мне ознакомиться с уголовно- процессуальным кодексом?
- Возьмите у следователя и читайте в комнате для допросов.
- Гражданин начальник, в этих комнатах допрашивают, а не изучают законы.
- Обратитесь к прокурору. Кто вам давал санкцию на арест?
- Не знаю. Мне забыли доложить об этом.
- Он позвонил в канцелярию. Затем подошел:
- Военный прокурор Балтийского флота Колесников.
- Имя? Отчество? Вы мне не скажите?
- Это не обязательно. Мы отошлем куда следует.
- Итак, одиночка без радио и газет. Эксперимент на выживание? Или надежда, что сдадут нервы?
- Идет охота на волков. Идет охота.

22

И так увлекся Гаврилов воспоминаниями, так ясно и подробно предстала перед ним вся его тюремная бытность, что он шагал и шагал вокруг площадки, не считая времени, не замечая дождя. И когда уж хлынул народ из рабочей зоны в жилую, тогда и он, оттолкнувшись от прошлого своего, вошел в барак.

Там уже хлопали тумбочками, галдели, мылись либо просто сидели, на койки облокачась, ожидая обеда.

Иван Ефимович давно уже встал и, сидя на табурете необычно прямо, что как-то и не шло к нему, просматривал книгу. Койка его была убрана двумя одеялами, достал где-то себе, о здоровье заботясь. И даже сейчас, летом, он кутался в шарф, храня тепло. Вышел срок ему небольшой и сидеть этот срок он только что начал, но выглядел плохо. Этот вид его больно бил Гаврилова по глазам, мурашками холодил спину — сколько же идти ему к своему Свету? Да и куда пойдет, и когда?

Встав с койки, на которой сидел, порывлся Гаврилов в тумбочке, где кроме книг его и тетрадей редко что было, взял ложку и пошел из барака на двор и дальше — к столовой.

— Здравствуй, Логик, — окликнули его.

— Привет, Философ, — в тон ответил Гаврилов. И умерив шаг, пошел рядом с мужчиной уже пожилым, с утонченным профилем и острым умом. За этот ум и звали Николая Мелеха философом. Был он не то украинцем, не то литовцем, не то философом, не то католиком. Так Гаврилов и не выяснил этого для себя. За что дали срок ему, и немалый, тоже было неясно — молчал он об этом. А если и говорил, то трудно было понять, шутит он или говорит правду. Знал он Платона, читал Сократа, был полон иронии и доброты. Ни к кому особо не примыкал, но приглашали его чаю попить в ту либо иную компанию. С Гавриловым у него отношения теплые были еще с малой зоны, с Мордовии. Не раз, решив поболтать, пекли они в печке лук, нарезав его крупно в кружку и залив растительным маслом. Затем садились с этим луком где поудобнее и вели разговор. Или пили чай за печкой — где была койка Мелеха. Здесь же, в пермском лагере «всех святых», печек не было уже — отопление паровое. Разве что в кипятилке, но и там плита. Не тот коленкор, не та порода.

— Ты чего за сверток тащишь? С бандеролью, что ли? — спросил Гаврилов.

Видел он утром, когда с Володей перемолвились словом, шли от цензора эскизы: с бандеролями, посылками, письмами. Не всегда их утром давали, но бывало и утром. Гиля пачку писем принес. И Мелех свой сверток.

— Книги пришли, отозвался Коля, — получил, наконец-то, «Историю античной эстетики».

Как в этой зоне, так и в той — мордовской малой, поразился Гаврилов, не ожидал, что так много здесь книг обнаружит. Книги эти не в библиотеке, конечно, лагерной, хотя и в ней попадались жемчужные зерна, а у эсков самих на полках и в тумбочках, да в чемоданах хранились. И сундук тот заветный открывался тогда, когда и сам ты откроешься людям, когда сойдешься с кем по взаимным влечениям.

Тогда в Мордовии, после беседы с Галансковым, после песен лихих супермена, когда работу еще не дали

Гаврилову, и были барака почти пусты, он ходил осторожно от полки к полке с этими книгами и все листал, и листал их, стараясь запомнить нужную ему, чтоб спросить потом чья и взять почитать. Сколько интересного прочел он там у Коли и Юры. Сколько нужного обнаружилось он здесь у того же Философа. Постепенно и Гаврилов сложил из книг свою симфонию, библиотеку свою.

Книги эти шли в зоны потоком. Раньше, когда дозволяло начальство, высылались они из дома родными и близкими, просто друзьями. Сколько книг получил он, Гаврилов, в то трудное время от Наташи, Натальи Андреевны Кравченко, из далекой Москвы. Не сестра, не подруга, а дороже была ему, чем родная сестра. Да и то: доброта и отзывчивость всегда покоряют. Здесь же это читилось особенно, когда тюрьма и лагерь, когда вокруг пустота, как в снарядной воронке, когда тесным кольцом окружили тебя егеря.

Теперь эту книжную роскошь не позволяли. И покупали книги наложенным платежом. Гаврилов всегда старался узнать, кто чего получил, чтобы можно было прочесть, а то и сменить.

И когда дошли они до столовой, там уж у раздаточного окна толпились зэки. Стояла очередь. И они встали — ломать бока здесь не принято было. Взяв щи и кашу, двинулись Философ и Логик к своим привычным местам. Владлен добивал уже первое, а Гиля, навалившись на стол, не до еды ему было, рассказывал новости из Израиля.

— Кому, мужчины, котлету сегодня? — устраиваясь у окна, а сидели здесь по четыре, задал свой привычный вопрос Гаврилов.

И решили: Володе. И то резон — надо было кормить его после Владимира. Зона не сахар, но и тюрьма не мед. А мясо из щей Гаврилов кому-то другому выдал. Немного было этого мяса, но все-таки было.

— Бери, Гена, масло, — подвинул к нему бутылочку свою Владлен.

— Спасибо, Константинович, не рассчитаться мне будет с тобой за масло.

— Ну что ты несешь всегда ерунду. Бери, раз дают.

Но в первое Гаврилов все же масла не взял, постеснялся. И эта стеснительность его, непонятная и необоснованная, всегда бесила Владлена. Архангел несчастный, —

кипел он внутри себя, разрезая головку лука на части и, не спрашивая уже, не выясняя хочет тот или нет, бросил Гаврилову лук тот в тарелку.

Отношения между ними были неровные. Обидчив и щепетилен был Гаврилов. Излишне самолюбивым казался Владлен. И это не совмещалось у них, не сходилось. Они то объединялись в колхоз, то колхоз этот почему-то разваливался. Но сейчас, с приходом Володи, снова сошлись они вчетвером, вместе с Герой.

И все же неуютно Гаврилову было в колхозе — все боялся он лишнее съесть, вдруг то будет уже через норму. Норма же эта выделялась после стола, за которым сейчас они ели, уже в бараке, не казенным харчем, а своим — ларьковым. Но неравными были ларьки — не работал Гаврилов. Неравными были и те пути, где что достать можно было помимо ларька, но в этом Гаврилов совсем был ребенок.

С Юрой в Мордовии было не так. Расчеты Юра не вел. Но и там напрягалось. Делил с ним Тимофеевич диету, если давали, а это тоже неверно, — думал Гаврилов. Поэтому и бывал он спокоен только в компаниях крупных, нечастых, по разным праздникам и эковским датам, где можно было незаметно уйти, ничего не съев, никого не обидев. Лучше, — считал он, — давать, нежели брать. Вот этим равновесие и нарушалось. Оказалось давать тоже надо умело.

И только с Бутманом Гилей шло у них душа в душу — никаких проблем из-за рыбы и мяса. Гиля радушно все принимал, но так же запросто угощал и своим.

Полакомиться же у них было чем. У них, потому что теснее всех держались вместе евреи. И общий кибуц их работал без сбоев. Эта действительно была община — образец всего лагеря. Письмо к одному — было для всех. Каждая посылка была общей. И это вот обстоятельство омрачало гостеприимство — на общественное Гиля не имел личного права. Даже молоко, которое он получал за работу в котельной, шло в их общий котел.

Но самым уникальным в зоне были посылки оттуда, из Тель-Авива. Немало губ завистливо облизывались на эти посылки. Немало глаз искренне не любили евреев за эту их избранность. Но какая здесь избранность: на котельной пахали они не меньше других. Нелюбовь эта скорее была

животной, чем понятой разумом. Так собака и кошка не знают, откуда эта вражда между ними.

Да Египет с Израилем подливали масла в огонь. Конфликт там отражался и на отношение к евреям здесь. Считалось, что мог бы Израиль и не трогать Египет. И еще напрягалось, что письма пачками получая, они еще и роптали. Смешливый Гера повторял на это, что всегда же в чужих руках х.. кажется толще. Пишите, — говорил он, — и у вас столько же будет. Но зависть всегда плохой советчик — и Геру пинали. Хотя он-то причем — Гера был русский.

А роптали евреи вполне справедливо — пропадали их письма, застревали в таможне. Поэтому и письмо, отправленное из зоны, отмечалось в тетради: куда отправлено и когда, и сколько листов, и под номером шло. Пунктуальность такая, несвойственная здесь никому, кроме евреев, и, разве что, из русских, кроме Владлена, всех поражала и — раздражала ленивых на такую отчетность эков. Но зато знали они, эти евреи, сколько писем пропало по дороге оттуда, сколько в цензуре застряло, а сколько и совсем неизвестно где.

И зрела уже подспудная мысль затребовать ответ у начальства об этих письмах, особенно тех, что где-то завязли между Израилем и Москвой. В этом стремлении приблизиться хотя бы так, через письма, к обетованной земле весь их смысл был и единый вздох. Себя они здесь уже и не числили. Чувствами и мыслями давно уже были там — в желанном Израиле.

Гаврилов же жил с евреями дружно, считая, что в большой-то зоне нужно мирно бы жить, а тем более — в малой. На мир и согласие ответ такой же. И знал поэтому Гаврилов об Израиле многое: и строй какой, и какие там партии, у власти кто, а кто в оппозиции, как живут в городах, а как в кибуцах, где строят поселения и где Стена плача, и в чем отличие Иерусалима от Тель-Авива. Знал и о том, где и как поселились их родственники, вырвавшиеся, наконец, из Союза.

Поэтому многим и странно было, чем же еще можно быть недовольными тут?

Гаврилов же писал свои два письма в месяц и получал два, а то и меньше, ничуть не завидуя евреям.

Не было у него постоянных корреспондентов, которые так же много и ему бы писали. И жена не любила без дела

бумагу марать. Надо дома было сидеть, а не в лагерь ехать, — рассудила она. — Не хотел журавля в руках, нечего и воробья ловить в небе.

Он об этом и думал, входя в барак после обеда.

Напротив Гаврилова, через проход, суетился у тумбочки Верующий, тот мужик, что молился ночами.

За посылку лишнюю и молоко, за надбавку к ларьку, а может и по вере своей, работал он ассенизатором в зоне. Дело свое выполнял добросовестно, даже с любовью. Всегда прибран был тот немаленький сруб за площадкой, всегда хлоркой посыпан. Место хлебное было, но не мог никто удержаться так долго, как этот вот верующий. Остальные ленились.

И хотя не любил Гаврилов этих военных, а у каждого из них за плечами-то целая жизнь, но к этому православному мужику что-то питал он за его трудолюбие, за его доброту. Трудно, наверное, доброта эта ему досталась. Было жаль старика, когда тот по ночам стонал, а над ним потешались те же военные: «Никак грехи свои не замолит, паскуда». И крикнуть хотелось: «А сами-то, лучше ли?» Но молчал Гаврилов, знал, что народу этому палец в рот не клади: враз откусят вместе с рукою. Да и ржали-то они не по злобе больше, а от безделья души, от черствости сердца, а может и завидовал кто: вот, б..., нашел же себя, успокоился, курва, и как с гуся вода ему эти сроки.

Перешел Гаврилов к нему, сел напротив на койку, спросил:

— Как здоровье-то, ничего?

— Слава Богу, ничего пока. Господь даст еще пожизнем, — перекрестился, и полез в тумбочку съестное достать, чтобы обед тот дополнить. — Садись, чем богаты.

— Да сел уже, прокурор постарался. Хотелось мне с вами потолковать. Евангелие вы дали ли бы мне почитать.

— А зачем тебе? В суете живя, Евангелие и не нужно, — и огляделся, нет ли лишнего кого рядом.

— Да в какой же я суете? У меня вон в тумбочке почти ничего нет, книги одни. Вечный странник. И потом, просто интересно мне почитать. Вот, как бы я воспринял Христа? Может быть и я найду в Евангелии что-нибудь для себя.

— Эх, все вы так, от ума идете. А вера, она от сердца, — спокойно ответил он, делая себе тюрю на растительном масле.

— Но ведь человек не рождается сразу верующим. Видимо, взрослея, он к вере приходит или к неверию. Здесь много факторов. А вы, разве сразу стали верующим? Нет, наверное.

— Эх, сынок. Знать бы где упасть, соломки бы подложил. Да спасибо, сберег Господь. Не дал сгинуть.

— Я о чем хочу, давно уже, спросить вас, да все как-то не решаюсь.

— Спроси, спроси, сынок. Если по доброму, почему не спросить.

— Понятно мне: верит человек в Бога. Отдает ему и сердце, и душу свою, — начал медленно свое Гаврилов. — Ну, а церковь-то здесь причем? Разве человек не один предстоит перед Господом? Лицом к лицу.

— Церковь — храм Божий. И через церковь нисходит на верующих Дух Святой.

— Храм Божий? А я наблюдал, вот, в одном таком Храме Божьем толстые морды церковников. Правда, правда, редко очень встретишь приличную физиономию при храмах. У Христа, на иконах-то, одни глаза да борода. Видел я, как ругались хористы с батюшкой, словно последние торговки, что мало им заплатили за их труды праведные. Видел, не успеешь еще свечку поставить Христу или Деве Марии, или Николаю Угоднику, не успеешь зажечь и отойти, как тут же бабушки прицерковные свечку погасят. Куда торопятся? На переплавку ее — да снова в продажу? На что же еще.

— Ты чего пришел-то? Поносить Господа? — верующий даже есть перестал и перекрестился уже не единожды.

— Я же не о Господе говорю, а о слугах Его в Храме Божьем. И вас я никак обидеть-то не хотел. Как вы веруете, так, по-моему, и надобно верить, если уж веришь. Но вот храмы мне непонятны. А если уж Храм, то он должен быть без базара. Говорил же Иисус: «Дом мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». Разве без этих разбойников нельзя обратиться к Господу? Ну, в сердце своем. В сердце же у нас и невежество, и страхи, и лицемерие всякое, эгоизм, да много разной дряни сидит. Вот где храм, который и вашей лопатой совковой не очистить. Подождите минутку. — И прошел Гаврилов к себе, вытащил из тумбочки тетрадь, подошел.

— Прочту я вам: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?», и дальше: «Храм Божий свят, а этот храм — вы». Выходит, человек и есть Храм Божий. И престол этого храма — сердце. И тогда уже не имеет значения, какой это храм, какая это вера: христианская или мусульманская, иудейская или буддийская. Кровь единая течет у всего человечества. Ни наряды, ни обряды, ни обычаи имеют значение, а наше сердце, одинаково стучащееся к Богу. Все человечество — единый Храм. И все наши сердца — единый Престол Господа в этом Храме. И драться-то не из-за чего. Люби ближнего своего, как Господь заповедовал. Все остальное приложится нам. Без этой любви — лишь игра в Бога и в Царство Его, — и Гаврилов откинулся на кровати, возбужденный, взволнованный. И куда только сдержанность и молчаливость его подевались.

— Не горячись, — охладил его Верующий, убирая хлеб в тумбочку. — Тебе может и не нужна церковь-то, ты вон как по Евангелию прошелся, а говоришь «не читал». Нам, простым верующим, без церкви нельзя. Ты на церковь не нападай, не богохульствуй. В храме учат познавать свои немощи и плакать о грехах совершенных в надежде на милость Господню. Иди, иди, сынок. Господь с тобою, — и поднялся, и направился к выходу, трижды перекрестясь.

А Гаврилов остался сидеть, нахохлившийся и хмурый.

Вспомнил он, что была в мордовской зоне у него не такая еще беседа, а спор, почти на ножах, с баптистом одним по кличке Хромой. И там их было, не как здесь, побольше. Держались спаянно, одной семьей. Хлеб и соль — пополам у них. Тайные сходки, с оглядкой беседы. За веру свою на все готовы, всем могли пожертвовать, не только свободой. Сила духа такого к ним и влекла. Да разнились они по годам, старики все там были. А тот среди них, что хромал и был помоложе, видно почуял нужду Гаврилова — сам подошел. Слушал внимательно его Гаврилов. И возражал тихо сначала, а потом, как до основ дошло, и у них разгорелось.

— Да я только потому уже вас принять не могу, — загорался Гаврилов, — что вы — секта. Все погибнут, а вас, избранных, Бог сохранит. Остальные, значит, верующие,

которые в вашу секту не входят, остальные религии, верящие в Бога, но не так, как вы, пусть погибнут? К чертовой матери их? Так, что ли? Да может быть миллионы из этих людей, которым вы, а не Бог, определили место в аду, как ваш Бог решит, вы и знать не хотите, так вот эти миллионы пусть горят? Чем же вы заслужили исключительность-то такую?

— Правильным пониманием путей Господних. Верным служением ему.

— Так это любой верующий говорит так. Любая секта себя только правой считает. Как мне выбрать, чтобы не ошибиться?

Сидели они на пригорке тогда этой маленькой зоны. На том пятачке, откуда видны и два барака, бывших конюшнями, и еще два барака немного новее, где столовая, она же и клуб, где санчасть и пристройка начальства. Под углом же справа и слева от них — колючая проволока.

— Нет, уж вы меня извините, — Гаврилов даже встал, чтобы удобнее говорить, — но я не так Христа понимаю. Общемировое Христос нес в жизнь, а не сектантское. Христос думал больше о других, а вы, в основном, о себе печетесь: не дай Бог что-нибудь не так сделать, не так сесть, не так встать, не дай Бог чужое знамение выполнить. И сделали из Христа идола. А Христос-то — Свет Миру.

— В Евангелии сказано, — перебил Хромой, — «И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба». Избранных, сказано, а не кого попало.

— Согласен, что избранных. Но не только же из вашей секты, а от края земли, до края неба, со всей Вселенной. Так выходит. Бог-то над всеми Хозяин. Над всеми людьми, какие бы они ни были. И конечно — соберет. Сами говорите: от четырех ветров. От Вечности, значит. Ветер-то и есть время, Вселенское Время. А вы уж сами себя и избрали. Не обожгитесь! Бог — Огонь посядающий, уж если по Библии. Огонь и Свет. Сами же говорили: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Но Свет пронизывает собою все. От самой маленькой букашки, до гигантской галактики. И даже тьма наших сердец, тьма нашего невежества и неведения Путей Господних не может поглотить этого Света. В нас самих, в каждом из нас, в преступнике

и в праведнике, этот Свет Божий. А вы на этот Свет свою тряпочку вешаете. Не загорелась бы?

— Бес вашими устами глаголет.

— Я так и знал, что вы этим закончите. Я ведь к вам подойти хотел не столько о вере вашей потолковать, сколько посмотреть, а что внутри-то вы за человек такой.

— Иногда глаза больше скажут, чем сотня слов.

— Глаза-то у вас хорошие. В них больше мудрости, чем в учении вашем.

— Вот и поговорили. А я думал, вы тихий такой, один все, йогой, смотрю, занимаетесь, по-своему молитесь. Может быть, думаю, повернется его сердце к Господу. Вас же вон куда несет, — и тоже встал.

И вошли они каждый в свой барак.

А сейчас Гаврилов, отойдя от Верующего, подошел к кровати и лег на свой второй ярус, все еще неуспокоенный и раздосадованный тем, что, наверное, обидел он Верующего. Надо будет извиниться, — подумал он и с досадой, и с сожалением.

Но и малая зона еще гудела в нем, и Хромой из памяти еще не вышел. И когда встали зэки и двинулись в рабочую зону, опять всплыло в памяти из прошлых лет.

Вспомнил Гаврилов, как и сам вот так же, торопясь, бежал на развод, загребая ботинками пыль, рядом с Юрой, вечно опаздывающим. Уже на ходу застегивал Галансков свою куртку, расчесывал пальцами бороду, затягивал ремешок на спадающих брюках. А Коля Иванов, широко шагая, всегда при Юре, как адъютант при полковнике, поглаживая свою шикарную бороду, подшучивал добродушно над ним за его такую нерасторопность.

Но именно за эту нерасторопность его, за детскость и беспомощность, Иванов и следил за ним, как отец за ребенком. Да он и был батюшка, Николай Викторович, православной веры архиерей, как величал его про себя Гаврилов. Весь обшитый с иголочки, Николай как-то не по зэковски выглядел. Штаны плотно облегли зад и были заправлены в сапоги. Но и сапоги эти, подрезанные сверху и загнутые немного вниз, тоже смотрелись почти парадно. Рубашка черная блестящая, из какого-то особого материала, и черная курточка. И весь Иванов был какой-то черный. Но эта чернота его, как бы просвечивалась,

была прозрачная, добродушная. А Юра будто светился весь изнутри и легкий был, как само детство.

Так и прошли они ворота втроем. Сразу за воротами и начиналась рабочая зона. И в ней длинный барак с высоким крыльцом, на котором тогда стояли ээки, встречая Гаврилова. И с этой стороны был вход в швейный цех, и с другой стороны — противоположной. Цех был не слишком велик, однако достаточен, чтобы вместить их всех, способных работать.

Пожилые солидные мужики сразу брались за дело. Получали раскрой, удобно клали его вдоль стола слева от себя, чтобы было сподручнее брать, и, вдвое холстину сложив, сразу пихать под иглу и делать шов, и палец вшивать, и саму рукавицу прошив, бросит готовую пару направо и вниз под ноги, чтоб не мешала. И сразу другую начать, разминаясь, и набирать, и набирать скорость работы. Поработав так час или два, шли они покурить, со смаком и не спеша, походить, размять ноги.

Но это мужики начинали так. Эти же, интеллигенты, если лето и не дождит, накурятся и наговорятся всласть, а потом уж и за работу. И сейчас сели они на завалинке, греясь на солнце. Трубка дымила и впалые щеки Юры еще больше осунулись от затыжки и натянулись скулы.

— В карцере я и натолкнулся на эту мысль, — как бы продолжил начатое Гаврилов. Коля, услышав что они опять про логику завели, отсел поближе к крыльцу. — Четверичность эта пронизывает все мироздание. В Индии и у древних греков — четыре первоэлемента, у стоиков — четыре категории, четыре основания в различных мифологиях, четыре магических животных в Евангелии. А крест? А четыре масти игральных карт? — загорался Гаврилов. — Ахиня все это, скажешь?

— Отчего же, очень даже интересно, — дымил Юра. — Очень даже. Только давай пойдем поработаем. Надзиратель идет.

— Пусть, подожди.

— Я подожду, а он ждать не будет. Видишь, бумажку достает. Зачем нарываться.

Они встали и направились в цех. Пошли по длинному коридору.

— А если поближе к нам посмотреть, медленно вышагивал Гаврилов. — Та же четверичность обнаруживается.

Четыре типа взаимодействия элементарных частиц. Четыре основных класса этих частиц. Четыре квантовых числа в состоянии нуклонов, а это уже ядро атома. Четыре нуклеотида в цепочках ДНК. Это еще повыше. Четыре вида хромосом — еще выше по спирали эволюции.

— Ты мне надоел, Гаврилов, — засмеялся Юра, усаживаясь за машинку.

Машинки их были рядом. И они опять оказались нос к носу. И Гаврилов продолжил:

— Вот это и плохо, что надоел. А жрать, например, никому не надоедает. Ты все же дослушай, сделай милость. Мне ведь и самому от этого понятней становится.

— Ну ладно, валяй, привязался. А это объясни вот, — выступил он, бороду смяв и ладонью ее подперев, — у сфинкса четыре ноги, говоришь, а у коровы?

— Юра, ценю я твой юмор, но сейчас я серьезно.

У Коли уже пар пять рукавиц под ногами валялось. Шил он эти пары так же красиво, как и ходил. Руки у него были пухленькие и пальцы так и порхали над материей, сгибая, протрачивая, сгибая и снова протрачивая.

Юра же рывками работал, согнувшись в спине так, что лопатки лопастями торчали. Не всегда норму давал. То заговорится, как вот сегодня, то язва закрутит. Тогда сидит он скрючившись, облокотясь на машинку. Но нынче шло у него — и он был доволен. Поработав полчаса, опять приблизились они нос к носу из-за шума машин.

— Так вот, если четверичность пронизывает все мироздание, — начал Гаврилов, будто и не прерывался совсем, — должна же она проходить где-то и в математике? Николай Гартман, например, прекрасно разработал эту четверичность в философии, но это, все же, не совсем математика, не совсем строго, понимаешь?

— Что за Гартман? С чем едят?

— Да твоя книжка. Я ее недавно прочел. Вообще-то, подари ее мне? Идет?

— Подумаем. Строчи дальше.

— И вот, смотри, что есть в логике.

Гаврилов, ручку из кармана достав, на пачке раскроя начал писать размашисто нули, единицы, нули, единицы.

— Параноики рисуют нолики, — улыбнулся Юра.

— Вот, смотри. Здесь четыре непересекающихся подмножества или четыре элемента: огонь, воздух, вода и земля.

Почувствовав затылком сверлящий взгляд, Гаврилов сел, не оборачиваясь, не выясняя, кто бы это мог быть, но зная наверняка, что сверлит его надзиратель через окно, высматривая лодырей и болтунов. Но и шить начав, он не прервал мысль, а, повысив голос, закончил:

— Сочетание этих основных элементов в совокупности образует цепь, причинно-следственный ряд. Или, как я называю, логический ряд.

Но Галансков увлекся шитьем и не слушал бессмыслицу Гаврилова. Ну и что, — думал Юра, — шить нам легче от его дурацкого ряда не станет.

И Гаврилов уткнулся в машинку, нажимая и нажимая педаль. Норму он старался давать. Не всегда получалось: отвлекался иногда на свои логические симфонии.

Всегда тетрабочка малая и карандашик были при нем: вдруг в голову забредет заблудшая мысль. Сразу тетрабочку на рукавицу — раз, и карандашиком по тетрабочке — чирк. Иногда это чирканье шло до обеда, иногда лишь до рук надзирателя. На вахту тогда уносили тетрадь. Часто и он следом шел для объяснений. Отберут и вернут. Бывало и насовсем забирали. Тогда все сначала. Не мог он только рукавицы и шить. Иногда же и просто не шил — сердце сбивалось по непогоде.

Были здесь и настоящие мастера — ассы своего дела. И не только из стариков. Молодой один, Витольд Абанькин, энергичный парень, за границу сунувшийся в армейском еще, плечистый, спортивный, прямой телом и характером, норму шил до обеда. Потом шел за поленницу дров играть со штангой из двух колес, к пруту прикрученных. Все удивлялся Гаврилов, как умудрялся он с такой скоростью шить. Но действительно было — сорок пар до обеда.

— А вы что валяетесь? Вставайте, — услышал он вдруг у самого уха резко и звонко.

Замечтался Гаврилов, задремал почти — и нарвался на надзирателя. Днем, обычно, не положено так, в постель, если не болен. Если же болен, — объяснял надзи-

ратель, — то разденься и ляг, а не так, в чем есть, поверх одеяла.

Гаврилов встал. И не стал что-то доказывать, выступать. И сошло ему нарушение режима.

Он вышел во двор немного развезаться. Тучи рассеялись, Облака, освещенные солнцем, отбрасывали причудливые тени на лес, уносящийся в горы. Парило. Душно было в природе и на душе. И сердце сбивалось с ровного ритма: удар и провал, два удара, провал. Пошел по кругу.

Навстречу Гаврилову шел Иван, местный сапожник. За войну сидел он двадцатую зиму. Мучился язвой. Половину желудка оставил врачам, но крепился, не унывал, хвост держал пистолетом. Он слева шел, как раз от бани мимо столовой.

— Привет, Иван. Из бани?

— Из бани.

— То-то и вижу: распарился весь, хорошо помылся. Горячая есть?

— Мыться можно, — ответил.

— Народу, наверно, поднатокалось?

— Иди, пока мало. Строители после работы подходить начнут — тогда не протолкнешься, — и пошел в барак.

— Ваня, — вдруг вспомнил и остановился Гаврилов, тоже уже было начавший свое движение по кругу. Повернулся к Ивану:

— Тебя что, слышал я, запретку пахать заставили?

— Да, хохол попросил помочь.

— Он, по-моему, и один смог бы вспахать, без лошади. Щеки-то у него из-за ушей ведь торчат. И шея от жира скоро треснет. А тебе-то, с язвой, можно было бы и не лезть. И так, наверно, зарабатываешь достаточно на галошах.

— Не жалуюсь. Да пристал и пристал, как банный лист к заднице.

— Смотри, дело твое. А то удивился я — молодой еврейчик, Глузман Семен, отказался, а ты, старый зубр, не смог.

— Ладно тебе, дратву-то тянуть. Да и не могут меня на запретку-то, инвалида.

— И я про то. Почему и спросил. Тот-то тоже инвалидом числится.

— Так ему мало. Посылку зарабатывает. Да четыре рубля к ларьку.

- Так ведь и ты.
 - И мне, конечно.
 - Как бы боком не вышла посылка.
- И разошлись.

Пройдя круг, вернулся Гаврилов в барак за мочалкой и мылом. Решил помыться. Мытье для него — святое дело. Без еды может побыть. Без мытья нет. В каждом удобном случае или под кран, или в баню.

Мыла в бане давали шматок, но лучше было и того взять, что давали эзку один раз на целый месяц: постирать что помалу, платки носовые, носки, трусы проверить. Рубашки да постельное сдавались здесь же, при бане, в стирку. Была машина стиральная в прачечной. Громадная, емкая. Там все и вертелось раз в десять дней.

Вспомнил Гаврилов, как еще в Мордовии бился Владлен эту стирку Владлен. По закону положено лагерному, где-то он вычитал, стирать постельное в неделю раз, а они — через десять дней. Писал он и наверх, и пониже, но так и осталось, как было прежде. Да и действительно, не бумага ведь, а практика — критерий истины. К тому же, зачем банщику мучиться лишнее: и так почти каждый день стирка идет.

Здесь же баня была солиднее, чем в Мордовии, как в городе баня: пять кабинок с рожками, четыре лавки для тазиков.

Но в малой зато: громадный котел с горячей водой, можно было попариться, побаловаться веником. Правда, стояли лоб в лоб и спина к спине, если народ подойдет. И банщик был злой — никого не пускал, если не время. Сам, вероятно, во всех шайках резвился.

Тутошний банщик, с простреленной правой рукой, так она в половину и работала только, дело делал спокойно, эзка зря не гонял. Добрую душу сразу и видно. Голубь был у него с подбитым крылом. В бане жил. Только и мог на чердак взлететь, да оттуда почти упасть. Из рук у банщика ел. Жили как братья они. Но кто-то, видать по злобе, свернул голубю шею: вот тебе, падло. За что, почему? Кому мешала убогая птица?

В малой зоне, вспомнил Гаврилов, у прожженного лагерника, не с одним уж убийством, кот сибирский, пышный да ладный, пристроился жить. Все на постели его лежал. А эзк этот, суровый и злой, все кота гладил, ласкал. Мур-

лыкали оба. И сквозь мат и крик: «Паскуду зарежу, найду!» — заливался этот суровый зэк слезами. Плакал навзрыд, когда ножом перерезали горло Василию, так звал он кота. Часто думали на охрану, но, скорее, сами зэки счета сводили.

То в лагерях. В тюрьмах кошек не держат. И птицу увидишь лишь в прогулочном дворике. Но там бок о бок, да и длинный срок — все накалялось. И не зверя резали, а друг друга, как звери. Не раз и не два услышишь за срок предсмертные крики. Большая общая камера — это как ад, похуже ада. Не раз подумаешь, что хуже-то не может и быть нигде, как вот здесь, на земле.

Но и сквозь ад люди проходят. Глубок человек. Железный прут от земли до неба как в нем уместился? Воистину, чудо.

А сейчас попал Гаврилов под один рожок с Верующим. Строители все же успели прийти, пока он собрался. Тесновато становилось и жарко, а Гаврилов жару не любил, торопился помыться. Плескались зэки, не зло матерились, стирались на лавках или, просто, на животе. Но под душем стирать не давали — сразу наглого выгоняли.

И Буковский был здесь. Да не один, а с бархатным мылом, каким-то московским или заморским. После этапа, после камеры той, карантинной, решил он помыться.

— Ты где взял-то? — фыркнул Гаврилов из-под воды, глядя на мыло.

— Мать нагрูзила, — а сам кайфует, нежится сам — с таким-то мылом.

Мыло это, как баба, здесь оказалось: ароматная, притягивающая, желанная. Это тебе не хозяйственным куском башку тереть.

— Дай, Володя, хоть рожу-то смазать, — опять к нему со своим Гаврилов.

— Ну, конечно, чего тут спрашивать.

Не спросить, так от этого мыла вмиг пена останется.

Но Буковский знал, не расхватают здесь. Не та зона, не бытовка какая. Понимающе улыбнулся.

Коля-Философ уже заканчивал грудь тереть и живот:

— Логик, спинку потри.

Тщательно мылся всегда Философ, чтобы красным аж стать. А как тело чисто и уже скрипит, он его содой: и

грудь, и спину, как мог достать, и живот, и ноги, и лицо, и задницу, чтобы сода впиталась, и затем — смывается на-чисто. И пойдет вытираться.

Пока Гаврилов тер Философу спину, Верующий один, как король, под душем. Считалось, пока спину кому-либо трешь, место все одно за тобою. Крестик свой он держал во рту, чтобы лишнее не мочить. И лишь шнурок от крестика подрагивал на шее, весь обмыленный. Да веревка была в мыле вся вокруг пояса — от нечистой силы предохранение.

Буковский же майку намыливал и трусы. Сам стирал — в общую кучу свое не сваливал. И Владлен стирал за компанию с ним. И Гаврилов.

Но особо — Владлен и Володя. Настирают так, наберут в обе руки и идут за баню развешивать на веревках, сушить и сторожить, чтоб не усохло шелковое.

А Гаврилову где было взять изысканный шик? И часто сдавал он белье в общую кучу. Да и меньше хлопот. Бывали случаи, усыхало бельишко — не будешь же каждого раздевать и смотреть, что там из нижнего, не твое ли. Шаромыги и здесь бывали — перебежчики из зон бытовых. За провинность там перед ээками, если смертью грозит, за заслуги перед местным правительством, да мало ль причин, всех не упомянешь. Но и местные аборигены разными были.

Потом Философ уже Гаврилову спину тер. Здесь за этим следили: тебе добро — и ты ответь той же монетой. Не как на воле: сработал на рубль, получи пятак.

Вместе с Философом и Гаврилов вышел из бани.

— Пойдем, Логик, ко мне, чай заварю, — к нему Философ.

Когда повесил Гаврилов мочалку на гвоздик за форточкой и полотенце перекинул на спинку кровати, и мыло на место — в бумажку и в тумбочку, тогда поднялся неспешно на второй этаж к Коле-Философу. Коля Мелех в той же комнате жил, где Володя с Владленом. Но те еще за баней сидели, сторожили свое.

И устроились они у тумбочки, сложив книги Колины на кровать.

— Ну, как работаете тебе, Философ, — улыбнулся Гаврилов. Нравилось вот так поговорить ему с Мелехом,

всегда необычным: никогда не знаешь, как пойдет разговор с ним в грядущий миг.

— Если бы мне, а то руками, в основном, крутим.

— А что мозгус двуполушариус не шевелится уже все? — открывал Гаврилов банку с конфетами и, открыв, протянул ее Коле.

Тот взял, как всегда, аккуратно, двумя пальчиками, и, откусив половину, также аккуратно положил оставшееся на бумажку. Это если не увлечен еще беседой. А когда увлечен, то держит в руках остаток конфеты, пока не приходит черед и ей в рот отправляться.

— Что мы есть, прежде чем говорить о мозге? — поднял он глаза к потолку, словно к небу. — Печальное сочетание печальных случайностей: случайных страстей, случайных мыслей. И все это воняет. Эта вонь — и есть человек. Человек? Животное чище в своей естественной простоте.

Задел он самое для Гаврилова болезненное.

— Я думаю, ты, все-таки, не совсем прав, Философ, — Гаврилов поставил стакан на тумбочку. — Да, человек воняет. Безнравственностью своей воняет. И все же между человеком и животным расстояние гигантское. Расстояние, равное человеческому интеллекту, которого у животного нет.

— Болтливости нет у них, да. А интеллекта — никто не знает.

— Конечно, я соглашусь, что в человеке много еще от зверя, но именно в силу понимания того, что он, человек, разумен, этого зверя он и перешагнет в себе.

— Перешагнет? Да можешь ли ты сказать Эврика, если все пронесится с быстротой урагана? Цивилизации создаются и разрушаются, снова создаются и вновь гибнут, а человек — еще больший зверь, чем был в начале.

— Но дети все же становятся взрослыми.

— Ха-ха, Логик. Сравни ребенка и взрослого. Это день и ночь. Невинность и порок. Беззащитность и агрессия. Доверчивость и неверие никому.

Мелех молча убрал стакан в тумбочку. Бросил в банку оставшиеся на бумаге конфеты. Убрал банку и книги снова положил на тумбочку. Сел на кровать.

— Человек — царь Природы. Допустим. Но человек, искалеченный религиями, дурными законами, дикими

обычаями и еще более дикими нравами, предрассудками всякого рода, которым нет числа, этот человек слишком далеко отклонился от самого себя, от царства, в котором он царь. И я думаю, так далеко, что это отклонение и выпрямить невозможно. Человек — раб привычек, своей глупости. Этим дерьмом и набит его мозг. И царству света, как ты говоришь, там места нет. Просто нет. Занято все иными миражами.

— Отклонился? Правильно ты заметил, — Гаврилов встал и оперся локтями на верхние койки, — но эти отклонения и есть его пути познания. Каждый народ, каждая раса, каждая культура и история земли — какой-то, пусть маленький, но путь познания, ступенька на лестнице в беспредельность. Двигаясь по разным путям, разным дорогам или тропинками, люди начинают понимать, что вот этот путь ложен — он ведет в тупик, и идти по нему не следует. А вот по этому пути еще можно пройти, посмотреть, что там дальше получится. Помню, Монтень прекрасно сказал: «Все, решительно все пригодится — даже чьи-либо глупости и недостатки содержат в себе нечто поучительное». Это можно не только к человеку отнести, но и к человечеству. Пойду я. Спасибо за чай.

— Иди, мозгокрут, иди. Помни только, что проявления лжи бесконечно многообразны, а истина — одна есть. Поймет ли твое человечество эту единственную истину? Скорее разобьет череп свой о свои же лживые нагромождения.

— Поймет, — на ходу ответил Гаврилов.

И пошел по проходу между кроватей на другой конец барака к Владлену. Тот, розовый после бани, просматривал последние номера журналов. И на входящего в его межкоячее пространство посмотрел снизу поверх очков.

— Что тебе?

— Не сердись за масло-то. Правда, мне неудобно. Ты зарабатываешь, а я жрать буду.

— Дурак ты, чего я еще могу сказать.

— А вот журналы, если дашь, я с удовольствием возьму почитать.

— Философию сразу возьми, я потом почитаю, — сказал Константинович примирительно, — а по истории и экономике Гера забил, да и я еще не закончил. Не спеши, не уйдет, — и опустил стекла очков снова книзу.

Журналов здесь, как и книг, было навалом — самых разных, как и газет. «Литературка» и «Правда» стояли особо. По «Правде» сверяли ритм мировых событий. В «Литературке» намеков искали на диссидентов. Страсти накалялись до ругани иногда в поисках истины — свобода слова и мнений здесь была абсолютной. Легче, правда, от этого не было никому — истина ускользала, как под камень змея.

Партии были, но, скорее, по расам, чем по взглядам и убеждениям. Лидеров не было. Каждый сам по себе лидер. Да и лидерство здесь было особое, бытовое. Тот брал верх над другим, кто где-то чем-то разжиться умел: табаком ли, чаем, телогрейкой, валенками, да мало ли чем, что эзку понадобится: мундштук, трубка или другой какой сувенир. Умельцы водились. Каждому хотелось поесть послаще, и за чаем повечерять, и табачком побаловаться. Этим держался экз. Иначе и нечем было — не всем же, как демократам этим, книжки читать. Книжкой не каждого здесь накормишь. Да она и хороша лишь тогда, когда в желудке не пусто, а густо.

В эту лагерную жизнь и нырнул Буковский, как в воду — ногами и головой. Оказалось, что в этой воде он плавать привычен. Быстро наладился в углу коридора эзковский преферанс. Знал Гаврилов о картах — откуда пошли, в чем их смысл философский и сколько утеряно карт со времен фараонов, а как пульку раскинуть — не мог усвоить. И не приглашали его, дебила, к столу — бесполезно. А там порой накалялись страсти почти бычачьи. Только по ним и судил Гаврилов, что игра стоит свеч, а, может, и трех рублей с ларька или что-то из ближайших посылок. Казалось порой, что «блаженный» тот угол от дыма взорвется — столько смраду и мата там было.

И в этот вечер шла игра, как обычно, когда вдруг полыхнуло по зоне: «Ивана!.. Ивана несут...»

И рванулись эзки по лестнице на первый этаж к дверям, к площадке, к запретке. Кто-то бежал на вахту начальство звать и врача. Гул нездоровый сводил уже глотки. Напружинилась зона, готовая к взрыву.

— Какого Ивана? — пихнулся и Гаврилов в дверь из барака. — Ефимыча, что ли?

— Да нет, Ивана-сапожника...

Его вели уже под руки к воротам больницы, почти тащили. И молотили в дверь — там тоже зона своя, на замке, за забором. Белорус этот или хохол, не поймешь, здесь суетился, морду в землю уткнув. Разъяснилось сейчас же: загнал он Ивана, загнал на запретке за посылку, за ларек: давай, давай, Иван, сегодня закончим.

И прорвалась злосчастная язва — и кровь в живот. Не сдюжил он глину, надорвался на борозде.

Бледного, в лице ни кровинки, ввели в палату, положили, готовить начали к операции.

Каждый случай такой — в зоне ЧП. Суежилась охрана. Не сидели и эски. То по два, то по три собирались по углам, вопрос решался: что теперь делать

Все могло бы сойти, куда бы ни шло, но упасть на запретке — вся вина на начальство. И ответственность вся. Выясняли: что, почему и как?

И рассосалось немного, растеклось. Узнали, что сам согласился, сунулся сам. Да и был он из этих, военных. Из военных, но мужик как мужик.

Улеглось понемногу, но совсем не остыло. Ждали все утра. И мысли всех на больнице сходились. И Гаврилов, забросив дела, сидел отрешенно.

Так же быстро увозили и Юру в больницу, вспомнил Гаврилов, на третью зону. Так называли. Там не как здесь — в дверь вошел и уже в больнице. Там сперва воронок. Но пока с конвоем дела утрясешь, пока по ухабам до больницы доедешь, можно и в морг заносить. Бывало такое. Но в этот раз Юра доехал. В палате лежал у терапевтов. Не шел к хирургам, хотя была там врач неплохой, женщина в теле.

Через месяц привезли и Гаврилова — сердце хандрило. В санчасти врач решила обследовать что да как, сюда и направили, в больницу на третью. В палате нашел он Юру измотанным, осунувшимся, но с трубкой во рту. Обнялись. Сели к Юре на койку.

— Ну как ты, Полковник? — спросил Гаврилов.

Блеснув глазами из-под очков, измученными глазами, ответил кисло:

— Как видишь.

— Неважно ты выглядишь, — не сдержался Геннадий, сказал, так жалко было ему смотреть на Юру. — Ты бросил бы свою ароматную дудку — нельзя же тебе.

— Отстань, — ответил устало. — Много ты понимаешь.

И встал. И потащил Гаврилова к санитару-эзку заваривать чай: разве можно было не отметить такую их встречу. А там курил опять. И смеялся уже. И соду глотал, морщась надсадно, так она ему в горле стояла.

— Юр, если ты гражданским не доверяешь врачам, был же здесь и военный хирург из бывших эзков. Скажи мне — в чем дело?

Сошла улыбка с лица и, губы поджав, напряженно ответил:

— Откровенно если, я боюсь операции. Не то, что вообще боюсь, а в тюрьме не решаюсь. Пусть в Ленинград везут, там и режут.

— Это же нереально. Из зоны-то в зону переезжать трудно тебе, а ты в Ленинград мотануться хочешь. И потом, это же местные не решают.

— Это не мое уже дело, — и снова уперся в живот рукою, скрючившись телом.

— Не знаю тогда. И потом, эта женщина, нормально же оперирует.

— Все они здесь только учатся, а я не хочу быть подопытным кроликом.

— Операция-то левая, если серьезно, — уговаривал его Гаврилов. — Смертных случаев почти не бывает.

— Почти, Гена, это еще не все сто.

Через неделю вернули Юру в Озерный. Здесь держать нельзя уже было — сроки все вышли.

В этой вот больнице оставшись, среди совсем незнакомых эзков, пока врачи анализы его собирали и изучали, он все вспоминал и перебирал вкривь и вкось, вдоль и поперек совершенное им. Как же так все легло неудачно, — думал Гаврилов.

А легло-то вон еще где — в парке Петродворца. Там он был с девушкой, с той самой, что смутила его в офицеры пойти, и с другом курсантом. Сидели под деревом на траве — пили чай с пирожками. И цыганка. Прямо к ним по траве. Пристала к Гаврилову:

— Клади, красавец, два пальца на зеркало. Погадаю.
— Не надо мне. Возьми вот рубль — иди с Богом.
— Ну что ты, хороший такой. Рубль рублем, а гадание гаданием. Все как есть скажу. Что было скажу и что будет.
— Девушке погадай. Или вот парню.
— Нет, красавец, тебе хочу. На лице твоём мне все написано.

Положил он два пальца на зеркало, совсем не веря.

— В отпуске ты, дорогой. Видать, при погонах.

Удивился Гаврилов — по-летнему были одеты они, рубашки простые и брюки, никакой униформы. Цыганка же дальше говорила свое:

— Девушку любишь. Не обижайся, красавец, скажу как есть. Расставание вижу. Много будешь страдать. Казенный дом вижу. Скажу тебе правду. Трудно будет. Потом все устроится.

И пошла она от них по траве, никому не гадая больше, не требуя денег. Они же смеялись. Казенный дом — конечно же служба: в Заполярье где-нибудь или на Тихом — у черта на куличах. Кому ж там легко?

Оказалось, вот оно как — места заключений. И с девушкой той расстался он. Цыганка в зеркало, как в воду смотрела. Время пришло и под обвинилровкой подпись поставил.

Томительно время, когда кончилось следствие и не начался еще суд. Каждый день неделей тянется, неделя тянется словно месяц.

23

ЛИСТЫ ДНЕВНИКА

1969. 22 ноября. Наконец-то! Наконец-то в сопровождении следователя появился Валентин Борисович. Не болел ли? Нет, в отпуске был. Похорошел, округлился мой прокурор. За два-то месяца на югах да не округлиться — смешно было бы.

Но раз уж явился сюда, наверное, не до смеха мне — развязка близка. Однако полковник юстиции, заместитель прокурора Балтийского флота ограничился мелочами.

Я, естественно, о радио и газетах, если уж Сам апостол закона ко мне пожаловал.

Милостиво в два горла ответили, что разберутся.

— Если дело не затянется, в январе состоится суд, — заметил следователь.

— Подумайте о защитнике, — добавил прокурор.

Интересно у нас. Обыскали, арестовали, заключили под стражу. Много месяцев ты один, как перст, против жесткой машины следствия. Все делают размеренно и уверенно. Углубляют тебе ямку, углубляют, пока не оформится она в нужный размер. Тогда и скажут — о саване подумайте, о надгробии. Защита наша по этим делам — саван и есть. Обелить чуток да и оставить как приготовлено к погребению. И упаси, Господи, чтоб воскрес.

Галя пишет: «...Напиши, наконец, понятный нормальный адрес, чтобы все доходило вовремя. То какие-то буквы, то какие-то циферки. Телогрейка тебе может пригодиться, скоро опять похолодание, будешь одевать ее под тюремную. Дают ли вам мыло и зубной порошок. Если дают, денег, разумеется, больше не пришлем... Мама все плачет, отец все пьет, говорит, что рубля лишнего вам не дам. Любашка растет. Говорит плохо, всех называет «дядя»... Пиши, как себя чувствуешь»

24 ноября. Часа в четыре ночи проснулся от шума в коридоре. В одной из камер прорвало кран и ее затопливало. Надзирательница и корпусной переругивались с заключенными, пытаясь заткнуть течь, которую, наконец-то, и заткнули.

Корпусной, рассерженный и на повышенных тонах, кому-то:

— Одевайтесь! Посидите ночь в боксе.

Бокс — это камера без всего. Без окон. Одна параша. Случайно может быть в боксе скамейка.

И повели... Оставшиеся в камере начали уборку воды совком и тряпкой. И вдруг рядом с моей камерой знакомый голос:

— Я же не мог...

И дальше пошли.

Неужели Парамонов? — кольнуло в сердце.

Утром его вернули в камеру. Он ругался, кричал, требовал начальника, чтобы заменить намокишую постель и выспаться.

Около одиннадцати, вернувшись с прогулки, услышал за дверью:

— Парамонов, встаньте с постели. Не валяйтесь под одеялом, — надзирательница к нему.

Через несколько минут его опять увели. Грохнула дверь и два засова.

— Как у вас, все нормально? — в окно «кормушки» медсестра с вопросом.

— Нормально, да. Скажите, сестра, в какой там камере кран прорвало? Всю ночь спать не давали.

— В 38-й.

— А что там за чудака-то сидит?

— Да так, — замялась.

— Что-то очень на сердце жаловался. Что с ним?

— Укол ему сделали.

И пошла сестра. Милая девушка. Наверное, распределили сюда а, может, по благу. Как везде у нас в значных местах.

И слышу опять:

— Дайте мне отдохнуть, — вернули, значит, Парамонова в камеру. — Переведите меня отсюда.

— Да куда же тебя перевести, милый, — надзирательница к нему с издевкой в голосе. — Сиди, где сидишь.

— Тогда отправьте меня в Америку. Да, я хочу в Америку. Не имеете права держать меня здесь.

— Вот вам бумага и ручка, напишите, что вы хотите, — потешалась над ним надзирательница.

«Корпусной, — звонила она минут через двадцать, — Парамонов все успокоится не может. Проветрить бы надо». И опять повели его в бокс. «Вздумали перевоспитывать», — ворвалось в мою камеру через двери.

Через несколько минут и за мной:

— Выходи... Руки назад.

В коридоре второго этажа толпилась обслуга, готовая к раздаче пищи. Двигали баки. Гремели поварешками. Матерились. Зэки есть зэки. Осужден он или под следствием — без мата пищи не примет. Мат здесь как молитва, как сладкое на обед.

Я шел быстро и несколько опередил сопровождающую меня надзирательницу. Это вроде телохранителя при зэке, как и при членах правительства. И там, и там государственные... мы — преступники, они — праведники. Но одинаково — государственные.

Прошел еще вперед, и вдруг — Парамонов. Окликнуть его. Нельзя — сразу разведут в разные стороны. Ускорил шаг, стараясь догнать, дать знак о себе. И уже сблизилась, пока моя телохранительница, разинув рот, смотрела на раздатчиков-зэков.

Боже мой, как он пал духом, — пронеслось во мне холодным ветром. — Как согнулась спина. И вся фигура съежилась куда-то внутрь, как бы пытаясь укрыться от всего этого кошмара, от сна наяву, от этого умалишенного бреда. И все тот же черный пиджак, в котором он приходил ко мне иногда поиграть на гитаре и попеть песни Высоцкого. У него получалось. И в серой кепке сейчас — почти как у Ленина. Где только достал. На воле не видел я его в такой кепке.

И уже подойдя совсем к нему: «Гена!»

Он не понял, не расслышал, не ожидал. Он лишь чуть повернул ко мне голову — заросшее черной щетиной лицо, усталое лицо молодого совсем человека.

— Стоять!! — бросился ко мне надзиратель, который вел Парамонова. И к моей провожатой:

— Вы что, мать вашу, не видите!?

И не то чтобы знали они, что Парамонов и я по одному делу идем, что мы здесь подельники, а просто не положено по инструкции встречаться подследственным на переходах.

И развели нас в разные стороны. Скрывшись за дверью, он так и не понял, что произошло, кто звал его и звал ли вообще.

Если меня к следователю, — все еще продолжался во мне холодный ветер, — то его-то куда? Снова в бокс? Или в карцер?

Во время моего допроса вошел дежурный офицер, и к следователю:

— Вот письмо Парамонова от матери. Изъяли при обыске. Как попало к нему?

— Ладно, разберемся, — Бодунов ему.

Значит, на этап Парамонова, или в другую камеру, — размышлял я отстраненно. — Но письмо мог и следователь передать на допросе. Как он будет вести себя на суде, или устроят ему больницу? Бросила же надзирательница между делом фразу: «Маленький дурачок», — когда уводили Парамонова ночью.

Закончив допрос, прокурор и следователь балагурили между собой о Парамонове и Солдатове. Без меня и мои кости перемывают, — подумалось мне. Да что говорить, глупому на что на ум: у него дума сдумана, работа сроблена, — коротают время до закрытия дела.

28 ноября. Выдали три тома сочинений Сталина: 7, 8 и 9-й. Немного просмотрел: слог более простой, чем у Ленина, изложение логичнее и без повторений.

У следователя подписал пачку постановлений о производстве всевозможных экспертиз после их производства. Поставили точки.

Сергей Солдатов признан невменяемым. Таков вывод экспертов, хотя из текста заключения этого не следует.

Возмущенный протест на акте своей судебно-психиатрической экспертизы написал Парамонов. Считает себя здоровым, вменяемым. Конечно, он полон колебаний, неизвестности, боязни сделать что-то не так, ухудшить мое положение.

У Косырева проще: это все Гаврилов — бяка, а я хороший.

— Салюков устроился в проектный институт, — сообщил Бодунов, когда я заканчивал подписывать последнюю бумажку, сколько они их наплодили.

— А жена ваша с дочерью, — дополнил он с некоторым раздумьем после короткого молчания, — выезжают из Калинина в Палдиски.

— Когда? — машинально спросил я, будто смогу проводить или встретить.

— Сегодня.

Оперативно у них. Следят, не отводя глаз, не прикрывая от ветра уши. По медали бы им на уши, по грамоте на спину и грудь.

— Под бочок бы к жене сейчас, а, Гена? — улыбнулся Бодунов, а глаза безразличные, холодные.

Тебя бы быку под бочок, — ответил я мысленно.

И позвонил он уже, чтобы вели меня в камеру, да вдруг вспомнил:

— Вот резолюция на ваше прошение.

Я быстро прочел: «Нет необходимости лишать Гаврилова Г.В. и Косырева А.В. газет и журналов».

— А Парамонова? — сразу вопрос ему. — И потом, какие журналы, когда речь шла о газетах и радио?

— Отведите в камеру, — сказал он вошедшему корпусному.

Да им-то, что черт, что батька, — подумал я и, заложив руки за спину, шагнул в коридор.

1 декабря. Сегодня баня. Этот день всегда несколько торжественен. Тюремная баня — это система, уникальная организация. Прежде всего, и это жаль, отменяется прогулка — сидишь в ожидании бани. Потом вдруг объявят, что она, баня, будет после обеда. Пообедал — и баню ждешь после обеда. Поужинал, наконец, — и пошли. По коридорам, по переходу

дам, руки назад, вниз, вниз, стоять, пошел, по коридорам, вниз, вниз, наконец — баня.

Входим в предбанник — большое проходное помещение с лавками вдоль стен. Большое — если ты один в камере. Здесь раздеваешься и проходишь в парикмахерскую — в другое такое же помещение. Вот тут-то только и начинаешь понимать, почему все-таки парикмахерская называется именно так и не иначе. Два амбала в грязно-белых халатах уже наготове. Профессионально быстро ПАРИК с тебя сМАХнут и ХЕР поСКАб-Лят. Всех и вся одной машинкой — вот и вся процедура.

Опарикмахерили тебя так, и дальше идешь в собственно баню — в большую комнату с двумя окнами и двумя трубами вдоль этой цементной залы. На трубах рожки или просто дырки. Но прежде чем благоговейно ступишь на территорию бани, в руки сунут тебе факиры в белом собственно мыло, как раз достаточное, чтобы внизу то место помыть, что только что поскоблили машинкой. И двери — хлоп. Засов — звяк. В дверях, как положено в приличной тюрьме, вездесущий глазок. И дали воду. Здесь успевай.

Через десять минут: «Выходи!»

Торжественно выходишь в другую залу с лавками посередине. Белье уже здесь. И пока одеваешься, слышишь, там уже снова воду включили. Через пять минут и тебе команда: «Выходи! Поживе-е». Никакого контакта не должно быть между теми, кто идет еще мыться с той стороны тюремного лабиринта, и теми, кто «помылся» уже и торопливо натягивает на себя белье на этой стороне его.

Баня закончена. Через десять дней повторение бани. В этот же день смена наволочки и полотенца. Спальный мешок, удобный для хранения или перевозки картошки, меняют раз в месяц. Иногда, как у меня, и полтора месяца спишь в мешке до его смены. Еще имеем ватный матрас и байковое одеяло.

3 декабря. Предъявили новое обвинительное заключение. К статье 68 УК ЭССР добавлена 70: деятельность, направленная на создание антисоветской организации.

По это — плевать. Печально другое — признан невменяемым Парамонов. Больница — это неопределенный срок «лечения». А ожидалось у него приличное будущее. Я все поломал.

Какой «ущерб» нанесли мы советской власти?

Советская же власть за 14 страниц машинописного текста: двое в заключении, один в психушке. Солдатов отправят в больницу наверняка или выждут момент для помещения в

лагерь. Салюкова из флота долой. Не ошибусь, если предположу, что старших офицеров Белова и Головка сошлют на Север, прочистят мозги и молодым офицерам, кто хоть как-то соприкасался со мной. Семья разбита. Жена без работы. Дочь без яслей. Кругом улюлюканье, тыканье пальцем.

Откровенный фашизм. Есть ли он еще более жесткий, нежели у нас, в России? А процесс следствия? Комедианты в погонах — именно комики. Ваньку валяют с серьезными рожами. Ладно меня одного, но столько людей задавить, прижать, глотку заткнуть, на колени поставить. Благо, что член не пихнули в рот.

Но с другой стороны. Куда я лез? Что изменил? Повлиял на что? Разве можно сдвинуть танк мизинцем? Палец ломаешь. Вот и сломал.

Болван и еще раз болван. Революционер пархатый. Стоп! Спокойно...

Ну, б..., я им закрою дело за два дня. Косырева нашли — глянул глазом и расписался. Пока не выпишу все, что мне нужно, не оторвут от бумаг. Имею право.

Ну, успокойся. Все — успокоился.

4 декабря. Назначили адвокатов. У меня — Пипко. Вот ирония судьбы. То — следователь Попко, то — адвокат Пипко. Хотя что-нибудь приличное будет, наконец, в этом деле?

Есть у меня подозрение, что мой адвокат откажется от защиты — есть какая-то статья его в книге «Слово и дело», тенденциозной и антисоветской по мнению обвинения. Адвокат же Косырева не столько намерен защищать обвиняемого, сколько рвется почитать «Открытое письмо...» и книгу. Он несколько огорчен, что Косырев лишь заблудшая овечка. Не явилось бы для адвокатов главным не наша защита, а простое любопытство. Так сказать, второе действие комедии с выносом тел.

— Николай Михайлович, простите, Михаил Николаевич, запутаешься здесь с вами, я настаиваю все же на предоставлении мне очной ставки с Парамоновым. Не верю я в его невинность, — обратился я к следователю, подписывая постановление об окончании следствия, как-никак, а полгода возились.

— В этом нет необходимости, Геннадий Владимирович, — отстраненно ответил.

Да и можно его понять. Он уже был там, на другом месте службы. Переводили его в Калининград и давали квартиру. Ле-

ти, следовательно, следом за своим счастьем. Может быть и выгорит оно у тебя.

Часть дела, касающаяся Парамонова, выделена отдельно и будет рассматриваться особо.

Выделена часть дела и в отношении Солдатов. Она отправлена в Таллиннский комитет госбезопасности. Будут Сергея дальше таскать по поводу статьи «Надеяться или действовать». Если докажут, что он автор, — найдут местечко ему вдали от дома.

Итак, последний акт трагикомедии.

Карты брошены. Правда, много крапленых, но не играть невозможно.

5 декабря. Каждый день корпусные осматривают камеры, выводя эзков во время осмотра в коридор.

Во время проверки соседних камер услышал голос корпусного:

— Вы что, вернулись только?

— Как видите, — голос Парамонова.

Значит, после случая с краном: ночной бокс, еще раз в бокс часа на три и в карцере 10 суток. Но есть экспертиза, признавшая его больным. Тогда должна быть санчасть, а не карцер. Но искать логику в нашем правосудии бессмысленно. Что в карцер, что в санчасть — какая разница, если чужая спина и чужая задница.

6 декабря. Защитник толкует о 150 рублях по таксе. Да еще на такси, — подумал я. Такие деньги нам не поднять. Пусть уж ищет доходы в других казематах. Откажусь от него.

Радио не поставили. Газет не дают.

8 декабря. Дали газеты.

К следователю вели нас вместе: меня и Косырева.

— Как дела? — спросил я.

— Защитник не хочет ввязываться в это дело.

— Дай ему отвод — дадут другого.

И совместная беседа, почти дружеская, со следователем.

— Геннадий Владимирович, Косырев вон подписал уже все, а вы возитесь. Все же ясно. Чего тянете?

— Это вам ясно, а мне нет, — ответил спокойно, но внутри — с напряжением и взрывом.

16 декабря. Перевели в камеру 46, более мрачную и грязную. Два часа занимался приборкой.

Отдавая тряпку и веник, спросил надзирателя:

— Так как же быть с радио? Когда подключите?

— Это не я решаю. Вот вы добились газет, теперь добивайтесь и радио, — и хлопнули кормушкой.

От жены довольно жесткое послание:

«...Про дела в Калинин я тебе уже писала. Доехала уж как доехали. Как бы себя не чувствовала, болеть некогда. Кого ты считаешь своими друзьями? Салюкова? Вряд ли он был бы рад встрече с тобой, слишком мягко сказано. Два месяца он не мог устроиться на работу. А уж тебя и в колхозники вряд ли примут. Любу в садик не устроила. С работой безнадежно. Хожу на вокзал. Вещи Парамонова свалены в углу и пусть лежат. С библиотекой рассчиталась. Какие книги Парамонова, а какие наши — я не знаю, поэтому отобрать их не могу. Любашка тацитит все подряд и рвет. От полки ее за уши не оттащишь. Еще ни разу не выиграл тот, у кого нет денег. Сдали дом. Еще один почти готов. Работает бассейн. Большие ничего не заметила. Да, у особистов новое здание. Очень подходящее. Меня допрашивал следователь Попко, не помню точно фамилию, может быть это тот самый адвокат. Но к тебе он не очень расположен. Да это и понятно. А насчет встречи с тобой — если смогу».

Таковы ответы на мои вопросы.

20 декабря. Закончил чтение материалов дела. Сделал необходимые выдержки. Подписал последнюю бумажку следователя. Попрощался с Бодуновым, с Большуновым и с адвокатом.

Милые, приличные, благоустроенные люди.

Господи, все давно уже решено у них, определенно все. И срок-то мой они знают заранее. Но мину делают благородную. Правосудие на плакатах — беззаконие в делах.

— Не распространяйтесь особо о процессе, — шепнул следователь моему адвокату. — Дайте понять, что процесс будет в Таллинне.

— А где будет? — шепнул в ответ адвокат.

В Калининграде.

— В чем дело? — я обратился ко всем.

— Да вот, Геннадий Владимирович, — выручил прокурор, — адвокат пытается отказаться от вашей защиты. Вряд ли это возможно. Но вы можете спасти его, отказавшись сами от адвоката на первом судебном заседании.

Добрые люди нашли себе спасителя.

— И потом, — продолжил прокурор, — адвокату будет трудно вас защищать. Вы же не признаете себя виновным и, по всей видимости, не собираетесь этого делать.

— Да, Валентин Борисович, не признаю и не собираюсь.

И расстались мы: кто в хоромы, а кто в эковский угол с парашей.

Дай-то Бог не встретиться больше со столь приятными во всех отношениях собеседниками.

Итоги шести месяцев изоляции.

Что дает человеку тюрьма и что от него она отнимает?

Происходит переоценка личных и общественных ценностей, реальное понимание свободы и смысла жизни. Это основное и, можно сказать, положительное.

Отрицательные моменты: одиночество, особенно в камере-одиночке, оторванность от всех и всего, монотонное однообразие изо дня в день, не исключая и пищи, если можно эту кормежку назвать все же пищей, умственная деградация и прочее, прочее. Всех мелочей не перечислишь. Да и смысла нет в этом. Тот, кто не был здесь, все равно не представит себе с надлежащей наглядностью и полнотой эту размеренную совокупность оупляющих, нервирующих и иссушающих мелочей тюремного быта.

И опирается зэк в тюрьме лишь на надежду, которая вне его, и на волю, которая в нем. Если сломается хоть один из этих двух костылей, то дело труба, дело заключенного — гибель. В полный рост вырастает тогда перед ним короткое, но весомое слово КАТОРГА. Каторга не столько работы, сколько внутренней жизни в местах лишения.

И еще. Чтобы натуру человека узнать, чтобы ее из глубины души вытащить, не один пуд соли нужно съесть с ним, далеко не один. Каждый к другому примеряет, приделывает бессознательно и упоенно свои глупости и свои пороки. Злой видит в другом зло, добрый — добро. Вот настоящее зеркало нашей жизни. Да и разве может кто о другом определенно что-то сказать, если заняты все только собой и кроме себя ничего не хотят ни видеть, ни слышать. Это не только в семье между женой и мужем, между родителями и детьми, так же оно и в обществе между союзами, партиями и разного рода течениями.

Братство, которое мы собирались построить в один день, творится веками. И в этом задача не только России, но — всего человечества. От одинокого волка до единства Ангелов путь

огромный. Безудержная самость в человеке, этот бешеный волк в нас, — самый страшный и безжалостный бич, который не только каждого в отдельности бьет, но и всех нас вместе.

31 декабря. Ночь. С Новым годом, товарищи!

С 1970-ым. Вылез из спального мешка. Взял кружку с водой, заготовленную еще с вечера. Приосанился в исподнем: Дамы и господа, мадамы и месъемы, гражданин начальник и гражданка начальница, все присутствующие здесь злые духи, — всего вам пресамого в наше смутное время.

Извините, что я в кальсонах и мошонка наружу, но парадное мне не позволил надеть сегодня наш Генеральный Принц. Простите, если вид мой несколько замордованный и заморенный, но все от сердца, от искренности все. В сердце, к счастью, еще не ступила нога и там еще не шарил рука досточтимого товарища из Эпицентра, то бишь гражданина, простите.

Виват! Что по-русски: Вам И ВАшим Трулялятам.

Выпил воду, помахал всем рукой, залез в мешок.

Спокойной ночи...

И уже серьезно: все, знавшие меня, простите, если обидел чем, если горе принес. Право же, не по злой воле, не по умыслу. Мир вам и вашему дому.

Мама и папа, здоровья вам и мира, и хотя бы немного радости.

Галя и Любаша, пусть все устроится у вас в новом году.

1970. 1 января. Прочитано за тюремное время:

17 томов «Сочинений» Ленина. Поучительно. Много неожиданного, дающего ответ на современное состояние нашего государства и общества. Корни репрессий — от Ленина. Диктатура, однопартийность, избранность Партии, абсолютное право на истину — от него. Демократ до революции и монархист по наитию после нее.

Герцен. Душа радуется, читая его. Знание истории России, ее глубинной культуры, ее насущных потребностей. И вообще, Герцен, Чернышевский, Плеханов — учителя Ленина, умнейшие люди России. Преданные ей и нравственно чистые. Вот бы за кем надо идти россиянам, вот бы за кем — и человеку с ружьем.

Но грубая сила повсеместно пока много выше доводов разума. Разогнали Учредилку, припугнули министров — и взяли власть. Вся революция. 10 человек в ЦК ленинской партии решились судьбу России. Знай наших, в хвост вам и в гриву.

Прекрасен Вересаев. Хороша и трилогия Сергеева— Ценского о России.

С наслаждением прочел в камере сумасшедших «Божественную комедию» Данте и «В лондонской эмиграции» любимого мною Степняка-Кравчинского.

Законспектировал семь томов «Сочинений» Сталина (7—13). Сегодня принесли первых шесть. Достойный ученик Ленина. Ленин — корни, Сталин — дерево. Но насколько же дерево больше корней: один посеял, другой собрал урожай.

12 января. Дело передано в ведение военного трибунала Балтийского флота. Рекомендуют рассматривать дело в Калининграде, о чем и шептал следователь адвокату. А диссиденты ждут суда в Таллинне, готовя акции протеста. Сорвется все.

Теперь всякая связь с внешним миром прервана до вступления приговора в силу. Свидание с женой стало окончательно невозможным.

16 января. Усилили мою изоляцию. Из «тройника», где я и был-то один, перевели в камеру-одиночку. Камера эта — штрафной изолятор для малолеток.

Или уж ясно им со мною до последнего сухаря.

Но ведь и на сухаре можно зубы сломать.

23 января. Удивительна эта моя новая одиночка.

Ослепительно белые стены. От лампочки в 200 ватт они еще более яркие и своеобразны. Но уснуть можно, если накинуть на голову полотенце или залезть с головой в спальный мешок.

Вместо стола деревянная тумба, неуклюжая, кособокая. В тех моих тройниках-одиночках тумбочки были поприличнее и свет поскромнее, да и сами камеры побольше — на троих все же. Здесь же — из «уважения» что ли ко мне — такую персоналку выделили?

Лампочку я разобью, конечно, или стряхну. Высоко, правда, висит, но с парашки достану. Пусть меняют, может не найдется снова на двести-то ватт.

Около тумбы-стола сруб, на котором сидеть невозможно. Поэтому сижу у тумбы на парашке, благо я не хожу побольшему в камере, а терплю до выхода в туалет. Ссанье же не так воняет, да и крышка у парашки массивная, довольно плотная. И если ее каждый день выносить и споласкивать, то терпимо. И Иосиф Виссарионович потерпит.

Как-то в коридоре, рядом с моей одиночкой, разговаривала обслуга между собой.

— Что здесь за чмо-то сидит, в карцере-то? — спросил один, гремя кастрюлями.

— Х... его знает, — ему в ответ. — Сталинист какой-то. Все, б..., книжки переписывает, идиот.

— Вломят ему, — опять первый.

— По самые яйца, — ответил знаток.

Еще особенность этой камеры в том, что она стоит совершенно отдельно, на другой стороне всех камер, расположенных, как обычно, одна возле другой. Постучать можно в стену — соседи услышат. Или матом послать, если бабы там. Или спросить чего, ежели мужики.

Здесь же пустота по бокам. Стучи, кричи — разве что надзиратель подойдет или корпусной, чтобы в карцер отправить.

Топчан, на котором спать, грубый такой, солидный, полоторный — головы хорошо рубить на нем, или душить.

Итак: стена, топчан, параша впритык, стол-тумба впритык, стена. Вот и вся длина камеры-люкс. Сбоку проход на ширину параша, которая на ночь стоит в ногах, подальше от носа.

Прогуляться по камере практически негде.

Короче — спецзаказ для особо избранных и подальше убранных.

25 января. Сталина вернул. Взял материалы 20 съезда КПСС. Теперь с Хрущевым на параше.

Эх, ештую мать, легче с ними погибать.

26 января. Из материалов КПСС. Хрущев: «У нас сейчас нет заключенных в тюрьмах по политическим мотивам. Хорошо было бы, если бы югославские руководители, которые любят рассуждать об отмирании органов принуждения, освободили всех коммунистов, томящихся у них в тюрьмах за то, что они не согласны с новой программой Союза коммунистов Югославии, за то, что они имеют другую точку зрения о строительстве социализма и роли партии... Критика, пусть даже самая острая, помогает нашему движению вперед... Трудно, да и невозможно рассказать, сколько горя и несчастья причинила народу банда Берия. Десятки, сотни...». Комментарии излишни.

7 февраля. Что можно сказать о стенограммах съездов КПСС от 20 к 22: в начале было СЛОВО, потом — словоблудие. «И судим был каждый по делам своим».

10 февраля. Восемь месяцев заключения.

Ты еще жив, курилка? Отмечаю этот день чтением поэм, прозы и литературных статей Николая Огарева. Как упоительно и свежо после гула литавр и визга фанфар Никиты Сергеевича.

Воистину, не хватает нашим политикам поэзии и мистики жизни. Нет, мистики, пожалуй, у них навалом. Поэзии мало-вато.

15 февраля. К моим листам дневника можно было бы для прояснения сути, для выяснения того, зачем я пишу их, привести слова Огарева из его книги «Моя исповедь»: «Я хочу рассказать себя, свою историю, которая мне известна больше, чем кому другому, с точки зрения естествоиспытателя... Мысль и страсть, здоровье и болезнь — все должно быть как на ладони».

19 февраля. Переезд в Калининград, в п/я ИЗ-35/1.

Камера 39, карантинная одиночка.

20 февраля. Вручили Обвинительное заключение.

Опус на 20 листах.

21 февраля. Перевели в камеру 71. Одиночка.

Сколько же времени я в изоляции, да еще без радио и газет? Только в Таллинне добился газет — здесь опять глухомань.

Впрочем, иногда пролетают из угла в угол камеры какие-то духи. Но больше предпочитают они висеть над парашей. Ату-ату, — гоню их. Нет, отлетят немного к окну, а там все равно ничего не видно, и опять над парашей зависнут. Упрямые козлы.

23 февраля. День Советской армии и Военно-морского флота.

Принесли подарок и зачитали адрес:

27 февраля трибунал.

Господи, в эту лухую напасть не дай пропасть.

24

И Иван пропадал совсем. Умирал Иван, когда прошла операция, когда, казалось, было все позади уже. Ан, нет, тянула к нему Смерть свои костлявые руки и шамкала над

ним беззубым ртом: иди, иди ко мне, Ваня, пора, брат, готовы апартаменты на французский манер.

И он начал было листать страницы жизни своей с конца на начало. Примерялся уже к той, новой, бытности, к иной зоне. Прикидывал, что взять с собою, что здешним экам оставить. Воистину, что на этом свете, что на том — одни заборы, одна колючая проволока. Это мы придумали, что там рай да ад. А по мне так то же самое, — думал Гаврилов. Как внизу, так и наверху — еще в бородатой древности Гермес учил. Был такой мудрый мужик. Знал всё и про всех. До сих пор на литургии в церквах поют: и всех и вся. Это про него. Можно сказать, от него и пошло: Моисей у нас, Кришна у них. Дальше известно.

Так вот: умирал Иван. В тюремной прозе. В обычной провинциальной эковской лечебнице, в обычной рубашке и кальсонах, положенных эку по штатному расписанию.

И не было нужных лекарств, как везде на Руси, и нужной крови.

Видел Иван вдали Голубое море, наподобие Черного, но посмирнее. И ручьи стекались к этому морю, и реки. Вдоль этих ручьев и этих рек и искал Иван где шалаш заложить, где ковчег поставить. Но все не его были места. То дорого очень, то ветер с Верхов, то глина одна, то болото, то камень. Ни травинки приличной, ни дерева — одни лишайники. Ну ладно, здесь всего лишился Иван, но там-то за что? И вот, у самого моря, остров вдруг. И мост к нему. Идет Иван через мост. Вода волнуется. Птицы кричат, но не видно птиц. Враз стихло все, успокоилось, море застыло. И откуда-то Голос, тихий-претихий: Иван. И опять: Иван. То ли вопрос к нему, то ли просьба какая. Вниз посмотрел: огонек вдали — и будто жена его и дети. Зовут. Прыгай, Иван, — этот же Голос. И прыгнул Иван — коли зовут.

А здесь, в ординаторской, капитан, начальник больницы, провозившийся с операцией ночь, куда-то звонил и требовал крови. В ней сейчас была жизнь для Ивана.

И когда уж выяснилось, что кровь может быть только к вечеру, а сейчас только утро, когда ждать нельзя уже было, велел капитан готовить прямое переливание крови.

И лег на стол капитан рядом с Иваном.

И замедлился вдруг полет Ивана. Снова мост. И он на мосту. Снова лишайник и ручьи, и реки. Но от всей земли,

по которой он шел, жаром палило, и смрадом, и горем. Тяжко было идти по земле. Тяжко было вновь возвращаться в знакомую зону.

За что простились грехи Ивану? А может, в наказание за них вернулся он к жизни? Трудно сказать. Но у всех отлегло, когда узнали эки, что жив Иван.

Конечно, каждый живет сам по себе, особенно в зонах. Но такое ненастье, несчастье такое было в лагере общим.

И еще — капитан. Ясно, у эка отношения жесткие и с охраной, и с надзирателями, и с отрядными, и с хозяином зоны, не говоря уж о куме. Да и в больницах не всегда гладко с врачами, даже если и из гражданских они.

А здесь военный, и лег на стол — и кровь свою эзку. Это поступок. Не так уж и безнадежно у нас, — думал Гаврилов, — если даже здесь, в преисподней, офицер-коммунист, проинструктированный с головы и до пят, наспигованный партийной мякиной о классовом вздоре и иной чепухе, не утратил природных свойств человека, помнил о милосердии и взаимной поддержке, без которых человек, может быть, человеком не стал бы. И не только помнил, но это милосердие и творил.

Все чаще Гаврилов, особенно в этот, пятый год заключения, старался оставаться один, уходить куда-нибудь в угол зоны и там сидеть, думать там, разбираться в себе.

Старался Гаврилов постичь смысл хотя бы своей маленькой жизни, в общем-то мало кому интересной, мало кому нужной. Жена и та надломилась, надорвалась после ареста его, после долгих мытарств без работы, без денег, без нормальных условий жизни. Ну-ка, батюшки, офицер — и вдруг заключенный. Как пережить? Да и как понять такое падение, развал перспектив и утрату надежд. Как понять эту глупость его и борьбу, смешно и сказать — борец нашелся. Угнетало же то, и его и ее, что виновен, уж если виновен, один, а кулак бьет по многим. И жен не щадят, и детей: с корнем вырвать хотят заразу даже маломальского неповиновения, а тем более — сопротивления и протеста. Да что же это за власть насилия и садизма?

И вспомнил Гаврилов, как после упоения ленинскими лозунгами дооктябрьского времени он вдруг ударился лбом о совсем иные призывы после захвата власти Лениным и Компанией. «Расстреливать каждого десятого сабо-

тажника из рабочих» — призывал Лидер. Дословно не помнил сейчас Гаврилов, отняли конспекты еще на следствии, но «каждого десятого» его поразило. Мятеж матросов в Кронштадте был жестоко подавлен. Мятеж тех же матросов, что шли на Зимний, на чьи штыки опирался Ленин. Дальше — покатилося само.

Вспомнил он, как кричал прокурор на суде: «Имеющаяся на листе 12 из числа малых нестандартных запись: «Знамя Октября разорвано и выброшено в отхожее место. Нового еще нет, но его уже шьют. И сошьют обязательно. В этом сомнения нет. В этом ключ к двигателю истории», — эти слова вам принадлежат?»

Гаврилов ответил, что это его слова и он их считает правильными, поскольку путь прогрессу нельзя закрыть и прогресс этот будет. Социализм, как система, не должен быть таким, каков он есть. Он должен быть преобразован и будет преобразован. Дело во времени. Но то, что сейчас творится в России, это не социализм, а лишь грубая, но тщательно прикрытая идеологической болтовней диктатура одной партии, диктатура над народом и против него.

И дальше нагнетал прокурор из его записей, которые по закону не должны были быть приобщены к «уголовному» делу, так как не распространялись, никого не агитировали, никто их не читал, кроме следователей и самого прокурора. А на суде он сам, прокурор, именно и распространял им же самим запрещенную к распространению, как они, праведники, считают, «антисоветчину».

Но он-то влиял на суд, на тройку в погонах: смотрите, какой перед вами фрукт, офицер, но не наш, не из нашей компании, ату, ату его, к е..... матери — сгноим в лагерях. Вот он какой, даже в тюрьме успокоить не может.

И кликушески взывал прокурор к трибуналу: «Тезис на листе 17 из числа малых нестандартных: «Неужели правящей партии большевиков было недостаточно ошибок, чтобы понять, что, прикрываясь именем народа, ухватившись за власть, уничтожив оппозицию, они преступно тормозят развитие как экономических сил страны, так и духовных сил народа, ломают грубой силой диктаторской власти стремление к свободе, свету, равенству, коммунизму», — вам принадлежит?». Это мои слова, — отвечал Гаврилов. — И в них нет ничего антисоветского.

Но вот сейчас, пройдя следствие, одолев трибунал, насмотревшись на зону, так ли он думал, этот Гаврилов, неприметный и маленький человек, дерзнувший восстать, дерзнувший сказать и свое слово, не услышанное никем, почти нигде не отзвучавшее даже маленьким эхом сочувствия и поддержки.

Повели, посадили, он все думал шутя...

Но знал Гаврилов непреложно, что с этой партией не пойдет, райских садов ее он не хочет, а силой брать, что не его, он не умеет. Что же тогда? Выход-то где?

Гаврилов не знал пока где этот выход

Он искал его в одиночестве среди скоплений людей, с теплотой вспоминая отдельную белую с яркой лампочкой камеру с полюбившейся ему парашей, на которой сидел он, словно на лошади — ведь и от лошади немного попадает дерьмом.

Тогда он был весь напоен демократией, поиском путей к ней: вот она, свет в окне, избавление для России.

Тогда он искал у Ленина — где отклонились и куда?

И Сталину норовил заглянуть в глаза, понять — почему так случилось.

Посмотрел и Хрущева со всех сторон: гладкий да ладный, но не то изделие в золоченой оправе.

И вот в зоне полный набор: коммунисты, социалисты, монархисты, демократы, националисты, фашисты и просто верующие. Наверное, и онанисты имелись, все же мужики и без баб. На все насмотрелся он уже здесь, а выхода для себя так и не видел.

Все о свободе толкуем, о счастье ближнего печемся, не умея сотворить личного счастья, — перебирал уже в который раз свое Гаврилов, то бегая вокруг площадки, если пуста, то забиваясь в дальний угол зоны к складу с зэковским барахлом.

Но свобода и счастье свои у каждого. У крапивы стремление, а значит, и свобода ее, это жалить, у розы стремление благоухать. Как совместить это разное в одно понятие Свобода? А люди закрутились в абстракциях, не замечая вокруг себя здравого смысла Природы, настроили категорий от земли до небес, и к этим одиноким столбам пытаются прикрутить по желанию или насильно все многоцветие планетарной жизни. А ну-ка рос бы на земле

один лишайник? Или сплошным болотом была бы земля? А внутри нас лишайник такой, либо болото такое к чему б привело? К тому, что имеем, — истязал себя Геннадий Владимирович. — Ради призрака социализма — кровь рекой, море страданий, океаны слез. Ладно, можно сказать, здесь диктатура. А что демократии? И там насилие. Самоопределение наций — кровь за кровь, зуб за зуб, смерть за смерть. А религии с проповедью любви? Руки в крови, крестящие лбы или сложенные в смирении. Во имя чего этот кровавый эксперимент на земле? Кем запланирован? Осуществляется кем?

Ясно одно, человечество только в начале Пути к человеку. И не три перед ним дороги, как в сказках, а великое множество. Может быть, Мелех-Философ и прав, говоря, что мы шею ломаем в поисках истины. Может быть, и Юра прав в своих надеждах на добрых Ангелов. Но тогда должны быть и злые.

Не пешки ли мы во Вселенских Игрищах, в Забавах иных сил, нами невидимых? Это должно быть так, если внимательно вчитаться в «Изумрудную Скрижаль Гермеса»: «То, что находится внизу, подобно находящемуся наверху... ради выполнения чуда единства». Но если строго следовать диалектике, то почему мы ограничиваем ступени развития Природы: минералы, растения, животные, человек? Почему молчим: а дальше-то что?

Дальше, может быть, и идут человечества звезд и созвездий, — завирался и завирался Гаврилов, завихряясь вокруг площадки. — Тогда выходит, что мы, действительно, марионетки, исполнители чужой воли. И дело крапивы — жалить, дело розы — благоухать, а дело людей на земле — мучить и убивать друг друга. Видимо, это основное желание существующих над нами Сил.

Гаврилов и дальше бы нес весь этот бред, если бы не столкнулся с Верующим, идущим из туалета. Он закончил выгребать из ямы детали человеческого производства, отчего Гаврилов и пробежал это место быстрее, чем дугу круга рядом с баракком. От ямы все же воняло. А этот Верующий без намордника греб и греб — жилистый малый.

Пошли они рядом, но обратным движением мимо поляны к столовой и дальше, налево свернув, дошли и до бани. Здесь, с торца, была комната Верующего с инстру-

ментом: совковой лопатой, киркою и ломом. Зимой только ломом и можно разбить дерьмо человечье или киркою, а потом уж совковой лопатой наверх и бросать. Летом похуже — глубокая яма, и объемный черпак еле дотянешь до края, потом замах и попасть надо в бочку, что рядом. Машину редко давали, так и греб черпаком, жилистый Верующий. Так же было и в зоне Мордовии.

Каморка Верующего очень была уместна ему: барахлишко можно было здесь схоронить, что в бараке нельзя, а по погоде необходимо, не каждый раз тебе склад открывают, и дверь под ключ, на запоре, надзиратель не всяк войдет, и оконце мало — не видать что да как, молиться можно спокойно — не мешает никто, не скалится рожей.

— Заходи, гостем будешь, — распахнул Верующий дверцу своего чистилища.

— Да неудобно как-то, чего я тут? — Гаврилов ему.

Но зашли уже. Вмещалась сюда кровать, самый раз — от стены до стены. На кровати посылка. Получил, наконец-то, он посылку за вонючую работу свою, все же дождался. Верующий снял крышку с ящика.

— Вы извините, — запричитал Гаврилов, — я, собственно, не за этим пришел.

— Ничего, можно и за этим, — в тон ему ответил Верующий, и стал отрезать от копченки два кругляша. — Угощайся вот, — и себе отрезал два кругляша, подумал и еще отрезал один, понюхал, губами почмокал.

— Спасибо большое, но не ем я мясо-то.

— Что так? Вера у тебя такая, нет? А я, чай, подумал, что ты вовсе уж нехристь, — и перекрестился. — Совсем-то неверующих, по-моему, и не бывает, — положил он кругляш колбасы на хлеб, откусил, зажмурился. — Грешат люди, да, а все одно, хоть во что, а без веры не живут, прости им, Господи. Только не осознают свою веру-то за суетой-то, — жевал он деликатес свой медленно, очень медленно, чтобы дольше была эта радость во рту. — Думают, нехристи, что не верят они ни во что. А остановись, да подумай, куда торопишься? Куда спешешь? Вот в эту спешку вера и есть.

— Почему вы думаете, что обязательно спешка? — устроился Гаврилов у маленького столика, приткнувшись на табуретке. Верующий же у этого столика сидел на кровати. — Спешка ведь может быть от того, — продолжал

Гаврилов, — что человеку за свою маленькую жизнь надо много успеть. Разве нельзя испытывать радость, стремясь познать тайны мира? Радость от познания смысла жизни, например? Какая здесь суета, какая спешка? Дай-то Бог, хоть немного преуспеть в этом деле. Вот евангелист Иоанн пишет, — достал из кармана куртки блокнотик, поискал: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Я думаю, что вода — это познание. Постоянно познавая, человек утоляет жажду познания, но, в то же время, это познание, это знание в нем, устремляет его к новому знанию. И опять человек жаждет: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». Знание и есть источник, текущий в вечную жизнь. Текущий непрерывно и беспредельно.

— Это хорошо, что ты изучаешь Евангелие, — жевал Верующий колбасу, — но плохо, что превратно его толкуешь. Вот ты тогда церковь хаял, — и перекрестился, — а церковь-то и говорит нам, как правильно толковать Евангелие. Христос, Отец наш Небесный, учит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».

— Тогда и церковь не может знать, что Господь приготовил, если никто не видел, не слышал и не чувствовал.

— Для этого знания нисходит на церковь Дух Святой.

— Вот и я говорю: знания, а не веры слепой, — ерзал Гаврилов на табурете, неудобно было сидеть ему, тесно все же, да на двоих и не рассчитывались апартаменты. — Церковь верит и склоняется на колени перед Христом, а Христос им говорит, что «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». Упасть на колени и причитать — силы много не надо. А чтобы что-то действительно познать, и кровью, и потом, и слезами не раз и не два умоешься, пока дойдешь до чего-нибудь стоящего. Да и вся жизнь человека и человечества разве не есть поиск и обретение истины: «Ищите и обряцете», «Старайтесь войти сквозь тесные врата». Тесные врата и есть муки познания.

— Эх, молодой человек, как тебя занесло. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот это бы тебе запомнить, сынок, — и раздосадовался весь, засуе-

тился, — «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Узрят все же, говорит Господь, но чистые сердцем. Вот главное. Чистота человека. Отсюда и «будьте как дети» Через чистоту жизни, через святость придет человек к познанию премудрости Божьей. А не лукавым рассудком своим. — И не сдержался, перекрестил Гаврилова и еще раз перекрестился сам, размашисто, широко, сокрушенно. — Возьми-ка лучше вот балычка кусочек, — полез в посылку свою, доставая балык.

— Простите, но мне, право, даже неудобно перед вами, но рыбу я тоже не ем.

— Но это ж не мясо, — совсем удивился он.

— Не мясо, но все равно.

— У тебя желудок, что ли, больной?

— Больной немного, — ответил Гаврилов, чтобы прекратить эту тему. — Вот вы про сатану говорили, — продолжил он, — мне кажется, Сатана — символ разрушающей силы в человеке и космосе. Сознательно разрушающей. Сознательно противостоящей силам создающим. Это больше даже к человеку относится, наверно, чем к Космосу. Разложение, распад, смерть, как мы ее понимаем, — это естественное разрушение, разложение материи. А вот войны, насилие всякого рода — сознательное зло и разрушение. Здесь Сатана. Безнравственность, эгоизм, жадность — от Сатаны. Что следует противопоставить этим разрушительным силам?

— Молитву, молитву к Господу, сынок. Без него нет на земле спасения человеку.

— Наверное, молитвой. Большая сила в молитве заложена, это верно. Но в молитвах-то своих что-то вы все больше о себе печетесь: дай да дай, Господи. Когда же скажете: на, Господи, и тело мое, и душу на общее благо. Христос ведь всего себя миру отдал. Если вы в Бога верите, так неужели он, всемогущий и благий, как вы говорите, не знает, что нужно нам, смертным и заблудшим? Откуда такое недоверие к всезнанию Господа, что о всякой болячке на носу надо непременно напомнить ему? Неужели не видна ему ваша болячка? Не лучше ли вместо этого стараться в жизнь проводить его великие заветы?

— Завет-то прост, сынок, что ты мудришь все. Возлюбь ближнего своего, как самого себя. И весь завет.

И замолчали оба, каждый думая о своем, понимая посвоему.

— Пойду я, — поднялся Гаврилов.

— Трудно тебе на страшном суде придется, — засуетился Верующий. — Возьми вот с собой немного, — и сунул ему в ладонь пакетик с сыром и пачку масла.

— Чуть не забыл, — остановился Гаврилов в дверях, — вы, я видел, в больнице туалет убирали, не слышали, как там Иван?

— Спаси его, Господи, очнулся Иван. Но слаб еще. Все же оправился с Божьей-то помощью.

И вышел Гаврилов, оставив и сыр, и масло на столе у Верующего. Непросто достается ему эта посылка, зачем же лишать его удовольствий, — думал Гаврилов.

И хотя Ивана болезнь закончилась мирно, но что-то в зоне сломалось, заострилось что-то, искру дало для недовольства.

Все больше возмущались евреи задержкою писем, иногда — и пропажей. Украинцы и прибалты недовольны были своим. Владлен Павленков больше меры курил. Сердцем хандрил опять Гаврилов. Лишь Володя Буковский был остер и активен обычно. Со всеми быстро сходься, уточнял он дела: кто сел и за что, когда и сколько еще сидеть. Снимал копии с приговоров. Давал советы кому и куда жалобы направлять, на что можно жаловаться, а на что не имеет смысла бумагу наверх подавать. Помогал и Гаврилов с этими жалобами, если нужда у кого была. Но больше Володя. Здесь равных он не имел. Был первой персоной.

И хотя Гаврилов помогал иногда писать бумаги, но сам не писал пока, считая, что зря все, эти бумаги. Не выведут они никого из зэка на круги своя, на желанную волю. Ну перебросят листочки их с места на место, туда и сюда, вниз и пошлют местным шерифам. А они, накопив побольше бумаг, с ними в сортир, а зэка того, кляузника и подпевалу, в шизо — в штрафной изолятор, или, лучше еще, в карцер отправят. Еще вернее: в суде рассмотреть и на дальний этап, в тюрьму — во Владимир, за нарушение режима. Здесь это просто.

Смысл имело, конечно, приговоры писать, чтобы слать их на волю, а оттуда — на Запад для учета и помощи. Это и делали. Но с одним приговором не согласился Гаврилов

с Володей: ни жалобу по нему направлять, ни передавать приговор на волю.

— Володя, — как-то его в коридоре поймал Гаврилов, — я по Богданову опять к тебе.

— По какому Богданову? — Володя к нему.

— Что с деталью попался. С секретной какой-то, ну что с радиацией.

— Помню, помню. И что ты хотел?

— Писать, по-моему, ему бесполезно. Мы же не знаем истинных обстоятельств дела. Радиация — это очень серьезно. Он же может изобразить нам как угодно.

— Но приговор-то есть.

— Есть-то есть, да не про нашу честь. По такому делу в приговоре всего не напишут. Представь, что многие облучились от украденной им болванки, что тогда? Начнут разбирать, поплывут новые данные о зараженных. Не сделать бы ему медвежью услугу.

— Но он же болен, на болезнь будем и напирать.

— У него и так инвалидность есть. Рассматривается вопрос о комиссовке. Твоя бумага все может испортить. Потом, ты же знаешь, сколько он жалоб таких отослал уже, корявых, конечно, но тем не менее. Да и я ему недавно писал, когда лежал с ним по весне в больнице. На помилование ему надеяться не приходится. Ты это прекрасно знаешь.

— Знаю, и что? Если он желает писать, пусть пишет. Хуже не будет.

— И лучше тоже. Только нервы ему лишний раз дергать пустой надеждой. Он и без этого весь задержанный. Кончится тем, что запретят ему с воли лекарства, а рижский бальзам, что с трудом ему достают, найдешь ты ему?

— Я все же не согласен с тобой.

— Как хочешь, Володя, только и здесь надо с умом подходить. Приговор, ведь, не ради самого приговора, а чтоб помощь была.

— Но и обнародовать тоже необходимо.

Не договорились они на этот раз. Но, может, и прав был Володя. Начиналась компания жалоб. И лишняя жалоба в общую кучу, как голос на выборах.

Вот и Гаврилову нужно было жалобу свою начинать. Но сердце болело, и не просто так, шатко и валко, что

можно терпеть, а как тогда болело, в памятной малой, в Мордовской зоне.

Стояло в то лето жара, горели леса. Для сердечников самое время поближе к могиле. И с воли писали, что гиб-ли сердечники. Многие гиб-ли.

Недели не прошло, как вернули Гаврилова из третьей зоны, где больница была, а хоть снова вези: сорок ударов вместо семидесяти, руки дрожат и в ушах непрерывные звоны. Дошел до санчасти, по ступенькам поднялся. В двери вошел. Сказал санитару-зэку, что плохо ему. Сел на стул для укола. И только успел санитар засучить рукав его эковской куртки, только набрал в шприц нужного зелья и ввел иглу в вену левой руки, как поплыло все у Гаврилова, растеклось, затуманилось...

Очнулся он на полу. Юра Галансков в халате, после больницы опять лежал теперь уже здесь, в санчасти зоны, и Коля, Николай Иванов, оба испуганные, склонились над Гавриловым, не зная, чем помочь, что предпринять в этом вот случае, таком нежданном. И санитар, высоченный украинец, растерялся не меньше.

— Ну, что вы испугались? Нормально все, — сказал Гаврилов глазами больше, чем ртом, пытаясь подняться.

— Лежи, лежи, — руками взмахнул санитар и прижал его к полу. — Нельзя тебе.

И подняли осторожно его, понесли тут же рядом в палату на койку. Опять оказался он с Юрой нос к носу и плечо к плечу. А еще через день или два нес уже Гаврилов Тимофеевичу свою ахинею про странную логику.

— Юра, ты не отворачивай нос, а внимай мне внимательно. Логический ряд ты освоил уже. Это как целое. Число же логическое — его элемент. Отсюда можно ввести и отрицательное логическое число, как в математике. Что такое «отрицание», то есть логическое «не», понятно: стол и не-стол, что-то другое. А минус-стол? Ерунда, скажешь? Ну, а если глубже в материю, то минус-электрон уже не вздор, уже протон, а не электрон: протон и еще чего хочешь, кроме самого электрона. Ущучиваешь? Переходим теперь к «мнимому» логическому пространству: мнимый-минус не-стол? Чуешь, чем пахнет?

— Дерьмом чую, а больше ничем, — и заскучал на подушке Юра.

— Поэтому оказывается, — свое вещал Геннадий Владимирович, — что логика эта не столько для понятий человеческого ума подходит, сколько для поиска в ней аналогий с законами иных областей познания: физики, химии, генетики, да мало ли еще где.

— В генетике это точно. Скажи санитару, пусть послушает, нет ли тиков каких у тебя в башке, — и повернулся Юра к нему спиной, — как прекрасно было здесь без тебя — тихо, спокойно. Ну и что еще? — буркнул в подушку.

— А еще то, — не унимался Гаврилов, — что поскольку это все же логика, а не физика или химия там, то и свойства этой логики и от химии, и от физики отличаются, понял, Полковник? — и он щелкнул Юру по затылку, — отличаются тем, что это законы и принципы высшего порядка, и их частное отображение должно существовать в других сферах науки. Если же логический ряд свернуть в матрицу, то возникают матричные логические ряды иерархической структуры. И на каждом уровне интересные особенности возникают. Например, зеркально-симметричные логические матрицы и прорва другой нечисти.

Юра уже дремал. И Гаврилов притих, сел на кровати, подложив под спину подушку и на коленях пристроил дощечку. Дощечка эта всегда находилась при нем — и сюда ее ему принесли.

Достав из тумбочку папку с конвертами и бумагой, он решил написать супруге письмо — не писал еще в этом месяце, и можно отправить.

Положив чистый лист на дощечку, он отодвинулся мыслями от своих теорий и начал первые строки:

«Галя, здравствуй. Привет, Любашенька.

...А у нас жара. Нечем дышать. И засилие комаров. Ласточки свили гнезда под крышами наших бараков. Скворцы на готовых квартирах поют свои песни. После полудня на небе сгрудились мрачные тяжелые тучи. Молнии металась из конца в конец неба. Но дождя нет, только раскаты грома рвут небо-свод на части.

За стеной санчасти, в столовой, идет кинофильм, слышна знакомая песня, старая, но ужасно памятная. Набегают воспоминания — и комок к горлу. ...Я приболел немного. Врачи говорят — от внутренних напряжений. Переживания не находят выхода во вне и бьют по сердцу. Но не волнуйтесь — все устроится. ...Посылаю открыточку, репродукция со скульптуры

Родена «Кариатида», Тимофеевич подарил. Этот образ тяжелой доли изображен здесь изящно и с чувством. ...От Юры привет. И Владлен посылает свои пожелания».

Вечером Коля принес поджаренный хлеб, обсахаренный и на молоке. Большой был мастер Николай Викторович на такие поделки. Заварили кружечку в печке и вели разговоры, курили.

Когда же Коля ушел, довольный вечером, хорошо получившимся, они, Геннадий и Юра, оставшись вдвоем, санитар любил побродить перед сном вдоль забора, начали вдруг о России. И чего им взбрело?

— Я думаю все же, что Россия ближе стоит к востоку, чем к западу, — задумчиво говорил Гаврилов. — Как там ни верти, а мы — азиаты. У нас гораздо больше общего с Индией, например, чем с Германией, хотя и крутились немцы на Руси довольно долго по воле Петра. Многие корни русского языка и грамматика — как у санскрита. Языческие представления Древней Руси о человеке и космосе, обряды, народное творчество, лепка, вышивки, орнаменты всякие — почти Индия. И взаимное тяготение между Индией и Россией показательно.

— Китай тоже вон на востоке, — возразил Юра, — однако, такой тесной связи, как видишь, у нас нет.

— Да, Китай — несколько иная песня, другая культура, иная ветка что ли. Но все же Китай своеобразен весьма.

— Вообще, мне эта идея «Индия — Россия» нравится, — размышлял Юра, сворачивая сигарку, трубка что-то не шла у него сегодня, — но я бы идею эту дополнил: Запад — Россия — Восток.

— Как мост между мирами?

— Лучше, как крылья птицы.

— Ну и что ты отсюда выводешь?

— Ничего. Это ты выводил своей дурацкой логикой, — и засмеялся. Пошел в палату, взял лист и ручку, сел на пол перед стулом у печки, лист положил на стул и стал писать. — А сейчас не мешай мне, — бросил Гаврилову.

И Гаврилов не мешал, понимая, что Юра начнет сейчас эту мысль развивать — о крыльях птицы. И то благо, лишь бы меньше о болезни тревожился...

Между делом вспомнив все это, Гаврилов закончил, наконец-то, писать свою жалобу. И бумага пойдет. Не

только его, но и многих эзков, решивших все же отстоять кое-что у них отнимаемое. Стало заметно, что ступень за ступенью и шаг за шагом обращалось все жестче с ними начальство. Ерунда, пустяк — а бьют по желудку. Из барака в тапочках вышел на двор — лишают ларька. Не встал по подъему, залежался усталый или больной на пять минут, или в строй опоздал на проверку, или начальство прошло, не заметил, — лишают надбавки к ларьку. На работу не вышел — подожди со свиданием еще годок, или в камеру тебя, на хлеб и воду. И там говоришь, качаешь права — увезут во Владимир.

Система работала как жернова — молола жизни без состраданий. Не о перевоспитании шла у них речь, а о возможном уничтожении на законном, естественно, основании. Но все мы знаем, как работают на Руси законы: какова широка спина есть, столько и ремня ляжет. Это с той стороны.

Со стороны же другой, с точки зрения эзков, за все, что положено им, нужно бороться. В одиночку затруднительно выжить иному эзку. Поддержка нужна. И эзки, сплотившись, начинают компанию жалоб. Это первый этап. Пусть работают начальники и их подчиненные, а не толстеют, и здесь — внизу, и там — наверху. И прокурору местному побегать полезно. И кагебисту. Буковский официально ему бойкот объявил, — посмотрим, что выйдет.

На жалобы эти иногда приезжают с проверкой. И не только эзков шерстят, но и местную знать, несмотря на их хлебосольство и радушный прием. Бывает, но редко, и сдвинется нечто в сторону эзка, смягчится режим на малое время. Затем опять закрутка гаек, еще более жестко.

И тогда — все сначала, как снежный ком, одно наворачивается на другое: жалобы, протесты, отказ от работы, голодовки, а с ними — болезни. Это и калечило эзка, но и давало ему тот невидимый стержень, около которого и держалась его тщедушная жизнь, его воля и его надежда.

Встав тяжело, со звоном в ушах, добрался Гаврилов до барака скособоченного, где начальство, и бросил жалобу в ящик для жалоб. Был такой в зоне ящик, рядом с почтовым. И уже повернул было обратно идти, но с жалобой подошел Павленков. Бросив в ящик свое послание, обратился к Гаврилову:

— Слышал, у Верующего твоего посылка пропала.

— Не может быть, — опешил Гаврилов. — Три дня назад я был у него — все в сохранности лежало в его каморке. Он угощал еще меня, довольный такой.

— А сегодня утром зашел, говорит, — нет посылки. Ящик и бумажки на месте лежат, из еды — ничего.

И пошли они рядом к бараку, обсуждая случившееся.

Оконце в каморке оказалось разбитым — замок не помог. И Верующий на койке сидел опущенный весь, в одночасье осунувшийся, похудевший, даже на румяные щеки его желтизна накатилась.

— Ящик, бумага да пакеты целлофановые остались, да веревочка от мешочка, где сухофрукты лежали, — уточнил он Гаврилову. — Господи, прости их, грешных — не ведают, что творят, — сокрушенно добавил.

Но Господь не простил.

Стали сопоставлять в зоне, стали смекать — кто же мог быть этим вором непрошеным. Таких вещей не любили в политической зоне, чтобы положить ничего нельзя было. Таких вещей не прощали.

Вспомнил Гаврилов, как перед самым отбоем вчера ходил он по дорожке своей вдоль барака начальства до вышки на вахте и дальше — по своему пустырю. И заприметил ханырика из бывших бытовиков. Непокойно стоял у столовой, у самых дверей. А что там торчать, — думал сейчас Гаврилов, — если давно на запоре столовая. Что стоять? А мимо ханырика этого, налево и баня, и прямо с торца каморка Верующего. Дверь и окно на запретку выходят — от бараков не видно. И чувство у Гаврилова было тогда — неспроста здесь стоит. Но мало ли какие дела могли быть здесь у зэка. Но чтоб воровать, у своих же зэков, — не продумал Гаврилов. Если же так, значит не он, а кто-то другой. А ханырик на шухере. Сразу и вычислилось ему, кто же это мог быть.

Еще в малой зоне эта морда, широкая снизу и узкая сверху, проявила себя. Бывший крытник, он в зону приехал с разбитой башкой. Проигрался там или что еще — неясно было, но валялся в санчасти недели две, пока швы не срослись. Потом, надо ж случиться так, нарядчиком стал и с начальством свой, и в библиотеке «гостиная» у него. Вроде свет знания людям нес: книжечки, подшивочки, смехуечки. А потом: фальшивые документы, подкоп в

столовой и нож между книг. Спровоцировал, падла, подкоп — и всех заложил. Сашу Чеховского таскали и Витольда Абанькина, Райво Лаппа и Пидгородецкого Василя, Олега Сенина и Гуннара Астру, Гаврилова с Юрой и Владлена, конечно.

Думал Гаврилов — не встретится больше, а вышло — сошлись. Молодого он в этой уж зоне пристроил к рукам.

И так резко отличались двое этих от всех остальных, что сразу и решилось для всех: они! Этого не учел узколобый. Ясно стало, у кого искать. И нашли.

Потом били его в рундучной на втором этаже барака — братья лесные парни были здоровые. Оттащили на вахту. И как причалил он к политической зоне с разбитой башкой, так и отчалил. Позже зэки узнали, что пришили его пижоны свои же за грехи еще старые. Законы тюрьмы жестоки: под себя гребь, но знай и меру.

Но бывает в зонах смерть и иная.

Опять же в мордовской малой, перед самым отбоем уже, в десятом часу, три недели спустя как вышли Гаврилов и Юра из местной санчасти, готовил Геннадий в тот жаркий июнь открытку ко дню рождения Юры. И подписывал дарственно книгу ему о Матиссе.

Такая традиция здесь была — открытки дарить друг другу и книги. Больше нечего было.

Ровно два месяца тому назад, в апреле 16-го, и Юра поздравил большой тетрадью в красной обложке с днем рождения Гену, на ней написав:

«В день Рождения Геннадию Владимировичу Гаврилову для особо важных занятий по космологической логике и цифровой магии». И открытку подарил с Никитой Кожемякой у плуга: «Эту открытку я берег для лучшего друга. Вот и дарю ее тебе в день твоего Рождения. Мы — лошади. И как лошади — должны работать ради России. Этой ответственной работы ради России — я и желаю тебе. Полковник Ю.Галансков».

А Николай Викторович подписал:

«Дорогой Геннадий! Доброго Вам здоровья, бодрости, юмора и снисходительности к друзьям, которые Вас любят и ценят. С симпатией и расположением Николай Иванов».

Эти открытки и просматривал сейчас Гаврилов, собираясь с мыслями, что бы такое написать и Юре, не заумное, а простое, доброе и памятное. Три дня до рожденья — совсем уж скоро. Может столик ему сварганим — поси-

дим, побалдеем, Супермен побренчит на своей шести-струнке.

Из окна, где Гаврилов сидел, притулившись у тумбочки, запретка была видна — рукой подать: часовой на углу забора, и прожектор его, и полянка, немного левее тропинки, почти у самой стены барак.

На этой полянке, заметил Гаврилов, что-то случилось. Сразу выскочил он, словно вылетел, в дверь, в темноту, к той полянке, к толпе, что враз собиралась, к телу тому, что здесь распростерлось. Михайло Сорока, — выдохнул он.

Темнота резко резалась отблеском света от прожектора на углу, да светлый квадрат от окна лежал на поляне. Санитар, тот высокий, из зэков, со шприцом уже бежал из санчасти. И делал укол. И снова в санчасть. Время позднее — нет никого из врачей, кроме зэка медбрата. И еще укол. И еще. И ухо к груди — пульса все нет. Толпа все плотнее.

— Да отойдите же, наконец! Разойдитесь! — закричал надрывно Гаврилов. Впервые видел он близко так смерть.

И бросился к телу — санитару сменил. И руки, холодные уже, за кисти схватил. Стал поднимать их и опускать: к голове и на грудь, к голове и на грудь, к голове, на грудь.

Санитар же над сердцем массаж: толчок, толчок, еще толчок.

И время, казалось, остановилось совсем.

И только руки: к голове, на грудь, к голове, на грудь.

И над сердцем: толчок, толчок, еще толчок.

Дыхания нет. И пульса нет. Застыли все над поляной, над телом Михайло.

Ясно вдруг стало, что помочь уже нечем ему.

И последний хрип — и слюна уже ртом.

Гаврилов в отчаянии: «Ну дыши же! Ды-ши-же!!»

Но жизни не было — была смерть.

И подняли на руки. Понесли в санчасть. В кабинете врача на диван положили — здесь, в маленькой зоне, не было морга. Зажгли свечу. В изголовье поставили на подоконнике.

И сменяя друг друга, стояли всю ночь около тела, накрытого простыней — прощались с Михайло. Было ему чуть больше шестидесяти.

О нем ходили по зонам легенды. За ум и непреклонную волю уважали Михайло Сороку безмерно. Сильный

был человек. И на этой поляне, на которой в погожий день он обычно читал, и нашла его смерть. В это жаркое знойное лето 1971 года.

Может, жил бы еще, — думал Гаврилов, — да засуетились все, растерялись. Может, его и трогать-то совсем было нельзя, а тут затискали тело, не зная. И врача не случилось — в это время и нет никого.

Так ходил он по зоне вокруг санчасти, себя ругая и других — не смогли уберечь. Все не мог успокоиться он от этой вот смерти у него на руках.

Утром гроб сколотили. И на крыше крест. Когда вывозили его, в зоне жилой и в зоне рабочей, и на высоком крыльце — с непокрытыми головами стояли все ээки.

И отрядный стоял, фуражку скинув. Это Гаврилов особо заметил — и за это многое простил тому лейтенанту.

И такой вот бывает Божественный Суд.

25

ДЕЛО № 354. ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ

1970. 27 февраля — 6 марта.

Председательствующий — полковник юстиции Санжаревский Н.Ф., народные заседатели — капитан 2-го ранга Зимин В.А., лейтенант Жолудев Э.В., с участием государственного обвинителя заместителя военного прокурора ДКБФ полковника юстиции Зайцева П.В., а также врача-психиатра Брегман Г.И.

Заявление Гаврилова:

...Я даю отвод адвокату на том основании, что, не считая инкриминируемые мне документы, книгу «Слово и дело» и «Открытое письмо», антисоветскими, нахожусь в диаметрально противоположной позиции с адвокатом по основному вопросу следствия и трибунала. Не принимая моей точки зрения, он не сможет эффективно осуществить и мою защиту. Также я считаю нецелесообразным, а точнее, незаконным участие в суде эксперта-психиатра, поскольку как я, так и обвиняемый Косырев, присутствующий на суде, признаны двумя судебно-психиатрическими экспертизами, амбулаторной и стационарной, вменяемыми. И нет необходимости в дополнительном психическом изучении подсудимых. Кроме того, присутствие психиатра

вольно или невольно, но оказывает дестабилизирующее воздействие на обвиняемых, а значит — и на собственную их защиту. Я прошу предоставить мне бумагу и карандаш для осуществления квалифицированной самозащиты.

Гаврилову были предоставлены бумага и карандаш.

Его адвокату дано разрешение покинуть зал суда.

Отвод психиатра оставлен председательствующим без удовлетворения...

Показания Косырева:

...Конечно, у меня были мысли, что мы занимаемся чем-то нехорошим. Меня стала тяготить связь с Гавриловым. После отпуска я встречался с ним редко.

...Гаврилова интересовали вопросы печатного дела, так как он с женой в части, где мы служили, выпускал настенный журнал «Эврика». Жена Гаврилова была техническим редактором этого журнала.

...О создании общей кассы разговора у меня с Сергеем не было. Понятие общей кассы ввел в дело следователь.

...Я понял так, что у Гаврилова есть знакомые, которые ведут борьбу с недостатками нашего общества, но они разрознены и им надо соединиться в союз.

...На следствии я окончательно убедился, что документы Гаврилова и наша деятельность имеют антисоветскую направленность.

...Я понял так, что Гаврилов хочет установить связь с радиостанцией «Свобода», зная людей, которые с ней связаны. Но сам он об этом не говорил. Это было просто мое мнение.

...Я считаю, что свобода слова, печати и собраний у нас есть. И у нас нет необходимости, чтобы было несколько партий в стране, и нет причин для классовой борьбы.

Показания Катаева:

... В КГБ мне сказали, чтобы я написал Гаврилову соответствующее письмо.

...Одно письмо он присылал мне, отпечатанное на пишущей машинке. И я с присланными материалами отдал его в КГБ. Примерно через два месяца, в ответ на мое письмо, я получил от Гаврилова письмо, из которого понял, что он считает меня своим единомышленником. Я передал и это письмо со своим заявлением в КГБ.

Другие свидетели:

...Мне не известно, чья точка зрения проводилась в том документе, но ввод войск в Чехословакию в нем описывался как агрессия.

...Я понял, что характер «Открытого письма» антисоветский. Антисоветским является неправильное толкование Гавриловым ввода войск в Чехословакию. Марксизм-ленинизм говорит об интернациональном долге, о том что мы должны помогать социалистическим странам. А тут оспаривается этот факт и говорится, что политика нашей партии неправильна.

...Я помню, что между нами был разговор об академике Сахарове, а что конкретно, я не запомнил.

...Косырев рассказывал мне о своем друге, говорил, что они с ним единомышленники по взглядам, что они собирали какие-то материалы и печатали их.

...Следователь направлял меня, когда я давала показания на предварительном следствии.

...Оглашенные показания были даны мною по навешиванию вопросам следователя.

...В матрасе было обнаружено 103 листа рукописи. Между чехлом и матрасом Гаврилова обнаружены его записки жене. В пиджаке находились какие-то бумаги.

...103 листа рукописи изъяты из матраса эстонца, сокамерника Гаврилова. На стандартных листах бумаги было обращение к товарищам. Уточняю, что записка на имя жены была найдена между доской настила и поперечной перекладиной кровати. А между чехлом и матрасом была записка, сделанная карандашом, за подписью Вадим Гелин. Называлась «Организационные задачи Союза сторонников свободы».

...Я сказал Парамонову, что с первой частью «Письма» я не согласен. Взятничество у нас в Баку действительно имеет место, а как с ним бороться, сказать затрудняюсь, так как мы, бакинцы, мало разбираемся в политике и экономике. У нас есть люди, которые работают, и есть люди, которые «делают деньги».

...В «Открытом письме» говорилось, что при культе Сталина было уничтожено много коммунистов.

...По учреждению эти бумаги не гуляли.

...Он просил меня сжечь портфель, чтобы не было никаких улик. У Гаврилова было мало друзей, он трудно схо-

дился с людьми. Но ко мне он питал благосклонность. Мы учились с ним в одном училище и поэтому он доверился мне, оставив портфель.

...Панического в просьбе Гаврилова ничего не было. Просто он заметил, что, вероятно, за ним слежка и необходимо убрать из дома все лишнее.

...Я считаю, что командованием части не все было сделано, чтобы убедить Гаврилова в неправильности его действий.

...Я не знала, что дело так повернется. Может быть, я и недооценивала того, чем занимался муж.

Я тоже хотела научиться печатать и поэтому, обсудив этот вопрос, мы и купили машинку, так как по моей специальности технического редактора или линотиписта устроиться на работу в маленьком закрытом городе невозможно.

Муж же собирался печатать на машинке свои исследования и выполнять другую работу.

Показания Гаврилова:

...На предварительном следствии я подтверждал показания Парамонова и Косырева, чтобы не усугубить их вину. Я также не вступал в споры со следователем по мелочам, которые, однако, для его версии имели большое значение.

Но совершенно неважно, сколько было распространено экземпляров книги и письма, кто читал их, а кто только ознакомился бегло.

Важно определить: действительно ли эти документы антисоветские или они не преследуют все же цели подрыва и ослабления Советской власти, а напротив, направлены на развитие и укрепление этой именно власти.

Никого совершенно не занимает этот вопрос.

Те же свидетели, которые и говорят об антисоветской направленности этих документов, на самом деле их либо не нашли времени прочесть, либо прочли, но сквозь дрему, сквозь свою бытовую лень и безразличие к тому, что происходит в их собственном государстве.

В основном же такая оценка дана свидетелями под влиянием следствия и, теперь вот, суда — страх движет нашими мнениями, а не убеждения и принципиальное отношение к тем или иным вопросам нашего существования.

Председательствующий:

— Подсудимый Гаврилов, говорите по существу дела, а не занимайтесь пропагандой своих взглядов и убеждений. Никому это не интересно здесь...

Гаврилов:

...Документы, которые я писал, не подрывают и не ослабляют Советскую власть. Я не использовал в них никаких клеветнических измышлений, а исходил только из фактов.

...Я подписался псевдонимом «Геннадий Алексеев», естественно, в целях самосохранения, так как понимал, что правящая партия не допускала и не допустит и малейшего инакомыслия по отношению к ней и ко всему, что с ее деятельностью в стране связано.

Если уж Чехословакию поставили на колени, целое государство, то что говорить о человеке, решившемся высказать открыто свое мнение.

...Я считаю что в самом руководстве КПСС, а также среди многих руководителей на всех ступенях власти процветают демагогия, властолюбие, переходящее в неограниченное самоуправство, а отсюда — и всеобщая диктатура в стране, диктат центра и центриков на всех уровнях, низкопоклонство и коррупция. Поэтому я и употреблял в тексте такие слова, как «партийная диктатура» и «правлящая олигархия».

...Если бы не было насилия над инакомыслящими, у нас была бы борьба идей, укрепляющая советский строй, а не разлагающая его. Именно насилие и произвол власти отрицательно воздействуют на советское общество.

...Я согласен с прокурором, что, излагая программу ближайших целей, в «Открытом письме» ставится вопрос о предоставлении гражданам СССР свободы слова, печати, собраний и т. д., но на деле, а не на словах, в декларациях только.

...В разделе «Кто виноват?» я действительно писал, что все чаще наблюдается нарушение законов и конституции сотрудниками КГБ, министерства внутренних дел, прокуратуры, судов. Это очевидно. За примерами ходить не надо, один из них перед вами.

...Мне известно, разумеется, что в Верховном Совете имеется Комиссия законодательных предположений. Я также знаю, что законотворческая инициатива может ис-

ходить от различных организаций и частных лиц. И конечно же, со своим «Письмом» я не обратился в эти административные органы.

Гражданин прокурор заведомо шутит.

Не будем смешить людей. Я обратился бы в эти органы непременно, если бы дело касалось реорганизации союза самодельных кружевниц, а не аппарата управления Советского Союза. Это все равно, что собственноручно отправить документ в Комитет госбезопасности.

Если мне не изменяет память, то на всенародное обсуждение в печати выносился только новый проект устава колхоза...

Прокурор:

— После ленинских слов: «Мы не можем стоять за то, чтобы социализм вводить — это было бы величайшей нелепостью», — далее ваш комментарий: «И на эту нелепость Ленин пошел»?

Гаврилов:

— Это мой комментарий. Россия не была готова к такого рода насильственной трансформации своих общественных структур. Базис насильственно изменили, а надстройка самодержавия осталась.

И либеральный Николай II трансформировался в жестокого императора Сталина.

Вообще, я выражаю протест в отношении прокурора, не имеющего законного права использовать в качестве обвинения конспекты, сделанные в камере тюрьмы, нигде не распространяемые и никого не агитирующие.

Председательствующий: Протест отклоняется.

Прокурор:

— После ленинских слов, записанных на листе 16 из числа стандартных, о том, что народ в России ни за что не допустит монархии, вы написали: «А народ допустил, правда, под дулом пистолета».

Гаврилов:

— Эти слова принадлежат мне.

Наш бумажный социализм на самом деле, по сути своей, является неограниченной монархией, аналогичной рабовладельческому строю. Практика сталинизма яркое тому подтверждение.

Естественно, я не имел здесь ввиду конституционную монархию Норвегии, Дании или Швеции.

Прокурор:

— На листе 36 из числа тех же стандартных вы приводите слова Ленина: «Советы не выдуманы какой-то партией», — далее идет ваше добавление в скобках: «без партии во главе» и слова «борьба партий внутри Советов»?

Гаврилов:

— Борьба партий внутри Советов — это первоначальная идея Ленина, до взятия им власти в стране. Именно этот лозунг был движущей силой большевиков в их дореволюционной пропаганде.

Но после Октября демократические начинания большевиков были забыты.

Тирания вышла на все планы их «мессианской» деятельности. Однопартийная система правления и завела нашу страну в горький тупик.

В Советах должна быть борьба партий. Иного пути нет.

Прокурор:

— На листе 44, стандартном, после слов Ленина: «В этом государстве полиции и чиновников нет, нет и постоянной армии, которая отделилась бы от народа и обучалась стрелять в народ», — ваши слова: «Все будет, дайте срок».

Гаврилов:

— Не будем здесь глубоко вдаваться в историю Советского Союза.

Я имел ввиду ближайший пример: ввод советских войск в Чехословакию.

Армия необходима для защиты границ от внешней агрессии, но не для подавления неугодных, с нашей точки зрения, преобразований в дружественном государстве...

Деятельность Гаврилова, — заключил прокурор свое длительное выступление, — это не заблуждение и ошибки от незнания, а глубоко осознанная деятельность, проистекающая из твердо установившихся враждебных нашему строю взглядов и убеждений.

Поведение Гаврилова на суде не свидетельствует о каком-либо раскаянии и осознании им своей вины. Это указывает на повышенную общественную опасность Гаврилова, как личности.

26

Да, а таким вот бывает суд человеческий, — пролистал Гаврилов в памяти свой трибунал, когда выносили из малой зоны Мордовии тело Михайло Сороки.

Простил Геннадий Владимирович отрядному лейтенанту многое, пока стоял тот, фуражку сняв, при выносе тела. Может быть, время придет и снимут так вот фуражки бывшие полковники и майоры, прокуроры и следователи, в осознании совершенного ими. Неужели не дрогнет сердце раскаянием, неужели не уколёт мысль немым укором — что мы творили? Или же так и будут они на дачах своих, лысые и холёные, в умилении вспоминать свое холопство, ради которого гнули в бараний рог все, что позволялось согнуть?

Время покажет, и время наступит, — думал Гаврилов, — когда таким, как Михайло, должное воздадут потомки их, книги напишут, поставят памятники. Не безымянные, как солдату тому, а в именах и фамилиях. Верил Геннадий Владимирович, на то надеялся — на справедливый и здравый смысл малых и сирых, которые, в конце-то концов, делают жизнь, а значит — историю. Иначе — не хватило бы сил у него и воли сквозь все это пролезть, сквозь все это прodrаться умом и сердцем.

И разошлись потихоньку по своим баракам. Гаврилов к себе, на койку — пролистать бумаги свои, открытки, письма. Надо все же Юре закончить послание.

Вот, говорил председательствующий тогда еще — на суде, телеграмма, мол, пришла на запрос их, что работает Галя, а устроили-то на пока, на время суда, — размышлял Гаврилов.

И взял ее письмо, начал читать:

«...Деньги я послать не могу. Ты, конечно, надеялся, что я спрошу у мамы, но хватит с нее того, что она нам помогает. Мне же негде взять эти 150 рублей, тем более что ни приемник, ни магнитофон, ничего нам не вернули».

Это жена Гаврилова писала в Калининград еще, через месяц после того, как закончился трибунал. Конечно, Гаврилов тогда еще не работал — денег выслать не мог.

«...Любаша большая баловница, — читал дальше Гаврилов, — везде лазает, кричит, бьет посуду, таскает сахарный песок горстями, не успеваю собирать, лазает по столам и по окнам.

Вот пока я пишу, она уже сорвалась с окна, но удачно, встала на ноги, похныкала для приличия и опять полезла.

Поздравляю с праздником и днем рождения».

С праздником — это 1 мая. А день рождения — тогда Гаврилову исполнилось 31.

В этот день его уголовное дело отправили на кассационное рассмотрение в Военную коллегия Верховного Суда СССР. Раз дело пошло — вновь дадут адвоката. Денег и не могла найти Галя для московских спецов. Гаврилов же думал, что они, спецы эти, и здесь бесполезны. Но все же пару строк отписал выделенному адвокату из их Московской коллегии. Ни хрена не сделал этот адвокат, ничего не узнал, — подытожил Гаврилов. Да и что мог узнать он, пятое колесо в колеснице, давящей и сметающей на пути все, что под нее попадало.

И продолжил Гаврилов, лежа на койке, читать письмо от жены, которое успело еще добраться в калининградские веси:

«...Недавно я послала заявление, чтобы разрешили свидание, но приехать не могу. Буквально на следующий день я узнала, что мне придется уволиться»

Вот тебе и фасад парадный, — вновь надсадился Гаврилов над письмом. — Официально все устроят, а затем тихо-мирно все поломают.

«...Гена, если будем живы, что бы ни случилось, ты найдешь нас по калининскому адресу. Будет возможность — напиши».

Что бы ни случилось, — повторил Гаврилов. — Насколько же надо стиснуть зубы, чтобы не зарычать позвериному от восхищения нашим самым гуманным и самым справедливым обществом в мире.

«...Из Горького я писем не получала, — писала Галя в следующем письме, — а две последние писульки с отрывными талончиками дошли. Талончики я, конечно, оторву, но дальше мусорного ведра они не пойдут».

Эх, Галя, Галя, — вздохнул Гаврилов, — это уж так просто было понять. Юра дал адреса московских друзей, но при двух письмах в месяц много ли напишешь. Вот и придумали они в одном письме писать их несколько. Получатель же пересылал дополнения по известным ему заранее адресам. Но, молодо-зелено, да горячо. Потом-то поняла она, что друзья эти реальная помощь и есть, а не

бумажная «власть советов рабочих и крестьянских депутатов». Руки только поднимать эта фиктивная власть. Посадить — Ура! Расстрелять — два раза Ура! Ура!

А как Наташа Кравченко из Москвы выручала потом и ее, и Гаврилова. И Лариса Богораз, Арина Гинзбург. Много их было — незримых помощников, и скромных совсем, и посолиднее немного.

«...На алименты я все-таки подала, — писала жена. — Хоть это и противно, и унижительно, и отцом тебя я не считаю. Если и будет у нее отец, то только тот, кто станет растить и воспитывать. Но, к сожалению, пренебрегать сейчас и этим грошовым подаянием я не могу».

Понимал Гаврилов, конечно, что тяжело ей там и зло. Но что мог он сделать отсюда, из зоны. Зарплата оказалась совсем грошой. Раб — он раб и есть: за жратву лишь работать. Все остальное в большую сумму государства идет. Бездонная эта сума, безразмерная. В ней все, как в прорву летит, — подхватить не успеешь.

А в связи с алиментами все повестки в суд присылали. Что же они там не могли понять никак, что никто его из тюрьмы на суд непустит. На похороны родных не уедешь, если что, а тут алименты. Да плевать хотели они на эти нюансы.

«...Гена, мы бы хотели все-таки знать, — это уже в ее октябрьском письме, — почему нам не вернули машинку, и где мне взять решение суда. Может, ты напишешь, если помнишь подробно, какие там будут еще ограничения».

Конечно же машинку конфисковали, деньги, на которые надеялась жена, пошли на судебные издержки. Здесь же растворился приемник и магнитофон. Никаких ограничений на семью суд не наложил, и тем не менее — со всем сложности и трудности.

Объяснял он ей все это в письмах коротких и длинных. Но что-то плохо жена понимала его в ситуации безденежья и безработицы.

Вообще, это странно между мужчиной и женщиной — всегда между ними разночтения в понимании происходящего: в оценках ситуации, в поступках, даже в любви. Все между ними полярно, все труднопроходимо. Вот и мучаются они друг с другом от века. Дала Ева яблоко ему, а он, дурень, — сразу в рот. Время же было оглядеться сперва в раю, понять что к чему, потом уж и есть. И везде так

мужчины — торопятся. Глядь, а она беременна уже. С чего бы это. А хомут на шее надет уже. Но это не Гаврилов думает так, а негодник автор.

Гаврилов взялся все же дописать открытку Юре.

Но только вывел первую строчку:

«Дорогой Друг! Поздравляю Тебя с рождением, с Рождеством Твоим...» — *опять задумался, отложив карандаш.*

Эта рассеянность в нем была необычна, не присуща ему, всегда собранному и четкому в совершении дел.

Смерть Михайло сильно задела его, по сердцу ударила и по нервам. Вот и письма начал смотреть, будто и сам собрался проститься с жизнью. А теперь вот Гаврилов стал вспоминать новогоднюю ночь в этой маленькой зоне.

Не в пример тюремной прошла она — не в кальсонах с мошонкой наружу.

Юра только из больницы вернулся, отказавшись от операции, — в который уж раз. Приступы все чаще валили его, лечение — помогало все меньше.

С Гавриловым в марте были в больнице. В апреле-мае с ним же в санчасти, когда у Гаврилова случился инфаркт. Да я бы двадцать раз под нож залез, — думал Гаврилов, — чем так-то терпеть, как Юра терпит.

И опять он вернулся в мыслях своих к Новому году.

Ко дню тому было оставлено у них самое вкусное из посылок, самое тайное. В ларьке закуплено самое лучшее, что можно купить. Где-то свечи достали. Николай, не иначе, — решил Гаврилов, теряясь в догадках, — кому удастся еще такое добыть.

Накануне, после работы, колдовали они у печи. Делали торт из печений и пряников, добавляя орехи. Бутерброды крутили с яйцом и килькой. Открывали консервы. Тонко-тонко резали копченую колбасу. Доставали икру, которая и на воле-то Гаврилову редко обламывалась, а тут такое. Но раз в году — ухитрялись они, чтоб это было. Ломали шоколад. И бутылъ, заготовленную еще месяц назад, извлекли из каптерки. Запрятана была она там в надежном углу. Сделав все эти неотложные сейчас дела, легли в постели они после отбоя.

Когда же утихомирились все, когда обходы прошли и зона уснула, когда стрелкам часов еще минут 10 нужно было ползти к своему апогею, тогда и встали зэки с постелей. Кто же заснул из своих — того разбудили.

Тихо, на цыпочках, в комнате собрались, что была между спальными секциями барака. Здесь стояли уже два стола впритык и скамейки. Быстро, без суеты, на стол накрыли. Расселись чинно. Притихли. Гаврилов и Юра рядом, напротив Владлен. Николай Викторович — тамадой. И гитарист среди них — в этот раз без гитары. И другая жимолость арестантская разместилась вокруг стола. Конечно, Саша Чеховской, и Витольд Абанькин, и Райво Лапп были здесь. Олега Сенина разбудили — любил подремавать. Леонид Бородин удостоил присутствием. Взяли их всех за разное, а здесь устроились заодно. Гаврилов, известно, за письмо сидит, тоже — хренов писатель. Галансков — за журнал. Иванов Николай с Бородиным — за союз христианский. Тот — за поджоги, этот — за взрыв, другой — за побег, кто-то за игры в незабвенного Фюрера.

Свечи зажгли. И нависла тайна над ними ночная, тайна Нового года. Каждый в сердце почуял грань между прошлым и будущим. У каждого сжалась внутри своя судьбина до осознания почти физического. Не о них ли апостол Павел: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать».

Но, очнувшись от грез, наполнили кружки.

Потом в тишине, тревожной и сонной, в полуголос они говорили тост:

...Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни вековые как слезы первые любви. Выпьем, друзья, за свободу народа русского.

...Этот тост я поднимаю за Россию воскресшую, за Россию белокаменную.

...Эти поднятые к небу бокалы осушим за вольную волю, за российский простор.

И пили все самодельную бражку за Россию свою, за русский народ.

Но не только они вот так собрались в эту темную ночь.

В другом бараке, в такой же комнате, сошлись украинцы: Михайло Горинь и Пидгородецкий Василь, Михайло Осадчий и Иван Кандыба, Горбаль Николай и Калинец Игорь.

Прибалты задумались в углу своем вместе с Гуннаром Астра. Образовали кружок и евреи.

Весь Союз уместился в маленькой зоне. Притиснули, сжали их всех сюда как шагреновую кожу.

Во всех углах ада земного в этот час тишина нарушалась и горели сердца.

Когда же особая торжественность вдруг нависла над комнатой русских, когда сквозь огонь свечей и махорки дым готовы были радости следы и печаль тоски брызнуть из глаз, дверь к ним открылась и вошел Шимон, молодой еврей, в шапочке, покрывающей голову. И начал речь. Говорил хорошо, но застыли все в напряжении, глядя на вошедшего как на чудо, неожиданное здесь в этот час при свечах, при их настроении, бесконечно далеко от дипломатий и ночных визитов.

Закончив торжественно, он тоже застыл. Не шевельнулся никто в ответ, только свечи кивали огнем недоуменно и примиряюще. Наконец, кто-то выдавил тихо слова благодарности и взаимного поздравления.

Но смялось все, хотя и ушел Шимон, видно поняв, что внедрился не вовремя. Он как лучше хотел, а вышло — как и не ждали.

В жизни часто ведь так — яичко дорого в пасху. А пасха прошла — и не нужны никому крутые яйца. И хотя пытались они наладить погасшее, но, посидев полчаса, разошлись по постелям. И только Гаврилов с Юрой болтали свое: о друзьях и знакомых, о семьях своих, неудачно тяжелых.

— Вот с Гавриловой у меня осложнилось сейчас, — закурил и Геннадий. — Такая тень на плетень в ее письмах. Думает, курорт у меня в тюрьме, у нее же страдания. Ты написал бы ей пару строк — меня она не воспринимает теперь серьезно. Так — злосчастный пень на дороге.

— Ладно, чиркну, — набивал свою трубку и очками блестел Тимофеевич.

— Я с Владленом уже говорил — он тоже напишет. Сложно все это. С бабами сложно, — и налил Геннадий себе немного браги на сахаре, что давали на диету Юре.

И Юра налил. Выпил, утер усы, погладил сверху вниз люциферову бороду, затянулся из трубки.

И снова о том, о сем потек разговор между ними, читал Гаврилов Юре письма свои, показывал фотки.

— Я ведь фотографией увлекался. В училище так особенно. Не улыбайся — неплохо же сделано, — показывал он курсантаские пейзажи и портреты. — На выстав-

как премии получал, подарки, в школе фото-кружок вел. Давай еще выпьем?

— Да нету уже, — и слил остатки Юра в кружку свою, — давай на двоих.

И выпили по два глотка, словно чай, закусив руками.

— А вот сеструха моя, — Гаврилов Юре. — Непохожа совсем. Я на мать, вероятно, а она — на отца. Хотя, кто сейчас разберет.

— Опер бы разобрался, — пошутил Юра.

— Сестра пишет из Ленинграда, — продолжал Геннадий Владимирович, — будто я, это слухи такие, взорвать хотел учебный центр, на котором работал — там готовили мы офицеров-подводников. И якобы пуд взрывчатки в моей квартире нашли. Но самое-то смешное, Юра, перед самым арестом моим там в столовой, в павильоне таком небольшой у входа в центр, офицеры питались, так вот, — засмеялся Гаврилов, — в столовой этой взорвался котел. Видимо кто-то кран перекрыл по ошибке. Стены снесло, столы алюминиевые разбросало, кое-кого покалечило из хозобслуги. А к этому еще в Ленинград доползло, что я чуть ли ни резидент иностранной разведки, — и снова засмеялся горько и грустно.

Дверь распахнулась настежь — и два надзирателя засверкали погонями от света свечей.

— Так, понятно, опять Галансков и Гаврилов. Запиши, Василий, — обратился высокий к тому, что пониже.

— Да брось ты, начальник, — Юра к нему, — садись потолкуем.

— Потолкуем, в шизо. Давай по постелям.

И вышли оба, дверь открытой оставив.

— Какой невежливый, — усмехнулся Юра. — Ладно, Гаврилов, пошли почивать.

Да, разные бывают на свете судьбы, особенно в тюрьмах да лагерях. Взять хотя Шимона.

За листки какие-то посадили: свободы хотел, демократии — вынь да положи. Положить посчитали рано пока, посадить посадили.

А в зоне понял Шимон — занимался не тем, к чему сердце бежало. Может, без тюрьмы окаянной, так и не нашел бы Шимон, чего искала душа, к чему приложиться смог бы с полной отдачей. А сейчас, вот, рад был, что здесь он, среди своих по духу и плоти. Рад, что, наконец,

обрел он то, что стало так нужно, о чем раньше и мыслить не мог. Не лозунги демократов занимали теперь Шимона, ерунда все это, а религия народа — к древней Иудее стремление. И шапочка, и молитвы, и выходная суббота, не идет на работу он в этот день, — за все боролся теперь он здесь уже, в мордовском лагере. Посадят в карцер за отказ от работы — он там молитвы поет в окно с решеткой. Ларька лишают, свидания, шапочку эту отнимут не раз, Шимон снова сошьет, — ничто не сбивало теперь с пути, так нежданно начатого, так своевременно обретенного. И он уже грезил себя достойным строителем новой жизни в легендарной стране своих легендарных предков.

И таких превращений в зоне было не мало.

Вот хотя бы Гаврилов. В комнате этой, где только сейчас еще сидели они, Геннадий и Юра, в обычные дни — вечерами играют здесь зэки в карты и режутся в домино, матерятся площадно и безмерно курят, и гасят об пол от махры окурки.

Но вот — время к отбою. Уходят они. И Гаврилов — за швабру, за тазик с водой. И форточку настезь. И двери. Все помоем, проветрит все. И где-то час занимается йогой — если один ты сидишь, ну и сиди. Охрана не тронет.

«Йогнутый, что ли?» — говорили зэки сначала. Но он все свое. Летом — на улице, у самой запретки, колючая проволока в шаг от него, а уж по осени — Гаврилов сюда, в эту вот комнату, пропахшую матом и табаком.

А в позу сядет: сидит и сидит — хоть бы жопой крутнул, не шелохнется. Как статуя без ..я, — шутили сперва. К ноябрю — смех прекратился. Всегда ведь понятно: гороховый шут, или это серьезно. А когда серьезно — какой же смех: одно удивление.

Потом — с уважением к нему или с вопросом, или просто — присесть на кровать и душу излить.

И вот кто он теперь: демократ или индус доморощенный? Их книжки читает, во все концы пишет, чтоб учебник ему достали по хинди или санскриту.

Действительно, кто он теперь? А вещь-то простая.

Шире жизнь и мудрее наших маленьких схем, пусть они даже и в Кремле на столе.

Идет человек по жизни своей, по своей тропе, по дороге. Какая уж выйдет дорога эта, в какой ляжет узор — лишь Богу известно. Лишь на смертном одре и решится

все — туда ли зашел, куда надо было, куда толкало само Провидение, или прошатался по обочине ты, по кустам и оврагам, вместо главной дороги.

Наконец-то написал Гаврилов открытку Юре и на книжку придумал хороший текст.

А еще через день, в июнь 19-го, все собрались, как и в Новый год. Скромнее, конечно, не с таким уж шиком да вывертом, но Юра есть Юра, и для Полковника бутылку злосчастную припасли. Булки нажарили на растительном масле. Сделали торт. И подарки вручили. Пожали руку. Сказали слова. Открыли бутылку. И горланили песню: Собирайтесь-ка гости мои на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву... И без меры курили.

Потом заварили черный, как деготь, чай. И Юра, обняв за плечи Гаврилова, дымил в него трубкой и внушал упорно:

— На какие бы вершины, Гена, не поднимались люди, все равно, рано или поздно, они возвращались обратно в человеческий балаган. И в пестрой суеде его искали истину и счастье, — он вытащил кисет с табаком. — На-ка, вот, сверни себе. Кури, полковник приказывает. Как сидишь! — засмеялся криво. — Ищут истину и счастье, так же, как золото ищут в грязи. Иные чудачки, это уж про тебя, извини, — и он обнял Гаврилова, — чтобы придать своему существованию блеск особенности и исключительности, старались пить и есть из золотой и серебряной посуды, а кончали? — и затянулся долго и смачно, — кончали тем, что с радостью распивали со сторожем, где-нибудь в сарае, бутылку водки. Ты понял? Вод-ки-и! — он оттолкнул Гаврилова от себя и отхлебнул из кружки, затем снова притянул его к себе. — И закусывали зеленой луковицей. Вон, видишь, лежит. Ешь, скромная твоя душа. Коля достал. Полковник разрешает. Все это балаган, — усмехнулся он криво и так горько, что Гаврилову стало больно за него, — и балаган неизбежен в костюмах ли средневековья или в мини юбках цивилизации. Он неизбежен, как неизбежны сортиры. И сколько бы это не возмущало наш ум, Гаврилов, и наши чувства — жопы зашить мы не можем. Ниток не хватит, понял, — иступленно, со злостью вытолкнул он из себя это последнее слово. — В истории культуры, вообще, и литературы, в частности, об этом много раз гово-

рилось. Внемли, йог ты мой прекрасный, лист ты мой опавший.

— Юра, пойдем, уснешь, — попытался было поднять его Гаврилов. — Завтра опять не встанешь.

— Что ты меня укладываешь? — оперся он подбородком своим и бородой на пальцы рук. — Споем, давай. — И затынул: А дальняя дорога дана тебе судьбой. Как матушкины слезы всегда она с тобой...

— И все же, Гаврилов, — поднял он трубку к небу, — пыльные Икары летят к Солнцу на крыльях из воска, — встал, опираясь на ладони рук, и пошел летящей походкой, отрывающей его от земли, за своей содой.

Потом тошнило его. И валялся он на кровати осунувшийся всем телом, прижимая ноги к животу и кусая до крови губы. Еле управились с ним. Всю ночь Коля около него был, успокаивая и глядя грустными глазами на него, изможденного. Как мог Николай Викторович следил за Юрой, чем мог помогал ему. Но следить за ним и помогать ему было трудно. Он настойчиво и иступленно гнал и гнал свою болезнь все дальше и дальше вглубь, к последней черте, где-то внутри себя осознавая неизбежность и неотвратимость этой неподвластной ему гонки.

Это все было там, в мордовской малой.

А здесь, в зоне пошире и подальше в Сибирь, поправлялся Иван, терпел перебои сердца Гаврилов и все сокрушался о посылке своей несчастный Верующий, хотя и вернулась ему назад половина.

Но только разрешилось в зоне с посылкой, только вроде успокоилось все после серии жалоб, еще новость облетела зону и многих крылом задела, особенно больно шлепнув Гаврилова.

Якир, с которого все и пошло, «Воззвание» которого так круто развернуло всю его жизнь, заговорил. Сообщали газеты Петре Якире, о деле, из-за которого возили Гаврилова в Москву — в застенки Лефортово.

Так и было оно. В начале апреля прошлого года — вдруг Гаврилова на этап. Еще из малой мордовской зоны. Думал он, что в больницу везут. А там — офицер при полном параде, и с ним адъютант. И тщательный обыск от волос до ногтей на пальца ног. Краюху хлеба и селедку в руки. И лязг железной решетки под ключом конвоира —

дальний этап. Вечером поздно и город Москва, а в ней и — новая камера, знакомая незнакомка.

Сосед по камере оригинал оказался. Мелкий мошенник, почти бродяга — то паломником шел по местам, где живет человек самый высокий, то ехал и ждал, у дверей караулил, когда она выйдет, а он и увидит, самую маленькую в Союзе женщину. И что только не топтали его ноги, чего только не видели его глаза, с кем он только не жил, чего он только не воровал — Комбинатор великий. Но и воровал-то он не как все шестерки и шурики, а с настроением, с интересом, так что люди, особенно женщины, сами все и давали ему, и не только себя. Теперь же, ограниченный камерой, он пылкую душу свою всю без остатка вложил в английский словарь. День за днем, неотступно, с утра и до вечера, исключая лишь время сна и еды, время прогулок и время допросов, штудировал Комбинатор толстый словарь и так, и сяк, поперек и вдоль, назад от начала и вперед от конца, запросто делая перевод с листа как туда, так и обратно, рассыпая пословицы и поговорки по-английски словно бисер заморский по палубе корабля. И все за полгода, пока тянется следствие. Талант, непреходящая ценность для государства. Зато и держали его заперти, вроде бы в сейфе. Он и Гаврилова чуть не зашиб только за то, что он, засранец, в узел завязываясь, молчал с Комбинатором о секретах йоги.

Вообще-то, в тюрьмах этих и лагерях каждый что-нибудь учит, если есть у него задумка все же выйти на волю — время при деле экспрессом летит, а не как товарняк.

Гинзбург, к примеру, легенда глаголет, — освоил японский. Буковский, с Иваном Ефимычем мотаясь по кругу, так вещал по-английски, что Гилелю Бутману до него, как до Израиля было. Гаврилов по-хинди еле-еле кумекал. Но время бежало.

Были и историки тут — как Владлен, и похлеще — как Гуннар Астра. Механики были. Один армянин динамику свастики хотел ухватить. Свастика-то — символ древнейший, почти лемурийский. Жаль, что Гитлер ее в крови извозил, да дерьмом идей своих испоганил.

И поэты водились: тот же Юра и Сенин Олег, Николай Горбаль и Калинец Игорь И лингвисты отменные, вроде Светличного — составлял он русско-украинский толковый словарь.

Археолог водился. Искал и доказывал он по науке, что мощной была культура людей еще до Потопа. Допотопные люди мудрые были — утверждал Археолог. И техника была не ниже нынешней. Но непонятно пока — отчего же погибла эта культура. Из картин прошлого лишь остались подрамники, да и те истлели до пепла почти. И здесь узнаешь? По костям разве можно сказать что-то серьезное о чувствах и разуме ушедшего гения?

Конечно, что выше культура тогда была, Гаврилов с ним спорил, но не до драки.

И еще был Пророк. Он сон наблюдал про такой катаклизм — про гибель цивилизаций. И вообще, он говорит, Земля часто меняет наклон к горизонту. Чем больше дерьма на земле, тем больше наклон. И континенты уходят под воду от глупых дел человеков. И вулканы от них, и сотрясения планеты. И это в красках все у него — будто в огне. Нравились Гаврилову и деловые украинцы. Не болтались зазря, время попусту не теряли.

Часто размышляя об этом кипении эковской жизни, стал замечать Гаврилов: как это так — вот и с Колей-Философом потолковать есть о чем, да с тем же Верующим о религии поскрещивать шпаги, с Археологом не прочь перемолвиться словом, с тем про восток, с этим про запад. А со своими-то, демократами, вот те на, и поговорить вроде не о чем стало.

И думал об этом не раз и не два Гаврилов, а все чаще и чаще. И искал ответ: отчего же так?

И правда, не говорил с демократами он ни разу вот так вот — от сердца к сердцу. Разве что с Юрой трепались.

И Коля-Философ, как-то заметил, а он-то сидел давно и многое знал: «Ах уж мне эти марксисты, смешно мне на них». Но и сам-то Гаврилов тоже, выходит, порхатый марксист. Или уж слово само «демократ» все проблемы снимало?

Но разве не как демократ ты выпендривался на процессе? — убеждал он себя. Разве не как демократ защищался и речи толкал, и последнее слово?

Что же случилось?

А пока ничего, — внутренний голос, — просто растешь, из пеленок лезешь. Может еще и на ноги встанешь. Живи и думай, думай и живи — время дано тебе для размышлений.

27

ДЕЛО № 354. ТРИБУНАЛ

1970. 7 марта. Последнее слово:

...Всю свою сознательную жизнь, изучая технические и гуманитарные науки, философию марксизма, литературу классиков революционной мысли и практики, интересуясь вопросами развития общества, государства и права, вопросами управления российского государства, читая о тюрьмах и лагерях, о насилии всякого рода со стороны властимущих, о тяжелой борьбе русского народа за землю и волю — изучая все это, мог ли я встать на путь регресса, мог ли я предпринять действия, противоречащие вековым устремлениям русского народа к свободе, мог ли я обречь себя на пассивность по отношению к насилию в любых его проявлениях?

Мог ли я на этом основании остаться равнодушным к фактам, говорящим о возможности повторения ошибок прошлого в нашей стране, к волне вновь нарастающий судебных процессов против инакомыслящих?

Нет — не мог.

Согласно теории я полагал, что вопросы, дискуссии, принципиальная критика ведут к истине. Но в моей практике это привело к исключению из партии, увольнению с работы, привело в трудовой лагерь.

В то же время мы читали у классиков марксизма-ленинизма: «Всякий большевик, всякий революционер, всякий уважающий себя партиец поймет, что он может подняться и выиграть в глазах партии, если он признает открыто и честно ясные и неоспоримые факты». Это у Сталина. И у него же, правда в ранних, дооктябрьских, сочинениях говорилось: «Вы свободные граждане, вы имеете право протестовать, и вы должны воспользоваться этим своим правом». И у Ленина в «Письмах о тактике»: «Советы заведомо есть прямая и непосредственная организация большинства народа, работа, сведенная за влияние внутри таких Советов, не может, прямо-таки не может сбиться в болото бланкизма».

Я не могу признать себя виновным в инкриминируемом мне преступлении, поскольку никогда не стоял и не

стою за какой бы то ни было подрыв или ослабление власти Советов.

Я думаю сейчас: неужели Петр Григоренко, Владимир Делоне, Владимир Буковский, Илья Габай, Юрий Галансков, Павел Литвинов и другие неизвестные широкой общественности люди шли на скамью подсудимых ради клеветы, шли в лагерь ради подрыва Советской власти?

Неужели в наше время забыта истина о том, что, как говорил Арагон: «Никогда еще преследования не могли вынудить людей отказаться от своих убеждений».

Возможно, я в чем-то ошибаюсь, но я искренне хочу понять свою ошибку и прикладываю к этому все силы. Но я не хочу просто отбросить, как ненужную вещь, сформировавшиеся в течение всей моей жизни убеждения и опыт перед лицом житейских невзгод.

Укажите мне ясно и четко мою ошибку. Разбейте силою своего разума мои доводы и неправильные, с вашей точки зрения, взгляды. Это будет в тысячу раз действеннее любых тюрем и лагерей, которые, кроме ожесточения от явной несправедливости, не приносят человеку и обществу ничего положительного.

Не в тюрьмах суть идеологической борьбы.

В настоящем уголовном деле допущена юридическая ошибка: осуждены люди, невиновные в предъявленном им обвинении.

Именно осуждение невиновных представляет самую страшную опасность для общества с точки зрения личной безопасности его членов, для государства — в глазах международного мнения, для правительства, поощряющего подобные процессы, для правящей партии, полагающей, что критика и стремление отдельных членов общества к решению спорных вопросов, стремление к свободе мысли и творчества тождественны антисоветской агитации и пропаганде.

Насилие подобного рода — первый и основной признак бессилия осуществляющих такое насилие, признак разложения теории, это насилие поощряющей.

Так говорит опыт истории.

Николай Чернышевский, будучи в сибирской ссылке, писал: «Люди научаются, когда идет у них обмен мнений. Это неизбежно. Это неперменное качество, ежедневный и вечный результат разговоров и рассказов отдыха. Везде и

всегда было так. И везде, и всегда так будет, пока будут существовать люди. Это закон человеческой природы».

Добрый и наивный Николай Гаврилович, тюрьма и ссылка не миновали бы его и сегодня с той лишь разницей, что вместо громких титулов «революционер-демократ, ученый и писатель», он числился бы в элементарных «антисоветчиках».

Самое справедливое решение настоящего дела было бы признание органами правосудия ошибочности и несостоятельности принятого ими решения.

Как подсудимый, я уже достаточно наказан за действия, причина которых заложена не только в моей личности, но и в обществе, где я жил и работал.

Прошу вас прекратить настоящее уголовное дело, ввиду отсутствия состава преступления, и освободить невиновного от содержания в заключении.

Именем Союза Советских Социалистических Республик 7 марта 1970 года. гор. Калининград.

Военный трибунал дважды Краснознаменного Балтийского флота... в составе...

Руководствуясь...

ПРИГОВОРИЛ:

Гаврилова Геннадия Владимировича признать виновным... Еще же признать виновным... По совокупности... окончательное наказание ему... определить 6 (шесть) лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима, без ссылки...

Дополнительно: Гаврилов Г.В. лишен воинского звания (разжалован в матросы) и наград.

28

ЛИСТЫ ДНЕВНИКА. 1970

7 марта. В 21 час 30 мин. зачитали приговор.

Поместили в другую камеру под номером 150, тройник. Опять одного. На одну кровать можно голову положить, на другую руки и ноги, а на третью — тело само. Одно слово: гостиница из трех люкс.

9 марта. Обыск. Изъяли все записи. Трудно, наверное, стало с туалетной бумагой у них, так у ээков берут. Какая стадия нищеты в этом случае?

10 марта. Вручили приговор. О гении, о мозгокруты, на двух листах вся жизнь моя.

11 марта. Обыск. Вернули записи: жестковатой для их задниц оказалась бумага. Изнежились за зэками-то. На селе лошадей не хватает, а тут такие буйволы застаиваются.

12 марта. Душеспасительная беседа с начальником тюрьмы и с опером. Проследили за мной — и в общественном туалете, куда нас водят по тяжелым делам, нашли за сливным бачком мои бумажки-промокашки для передачи на волю.

— Да мы вас сгноим здесь, — кипятился опер.

— Разумеется, дай вам волю, так вы не только сгноите, но и пулю в лоб для верности всадите.

Перевели в темную и чем-то вонючую камеру под номером 2. Вот это и есть соцреализм, а писатели наши спорят там, перья ломают: где соц, где секс, где кап с конца. Сюда бы их — глаза-то раскрылись бы.

16 марта. Подал кассационную жалобу.

31 марта. Прокурор требует пересмотра дела Косырева — ужесточения наказания. Его приговорили к двум годам строгого режима без ссылки и без лишения воинского звания. С нашими прокурорами Советская власть была, есть и будет монолитно сплоченной и нерушимой колыбелью республик свободных. До чего дожила Ты, Великая Русь?

2 апреля. Отослал письмо адвокату в Московскую коллегия адвокатов. Да разве будут они там «антисоветчину» поддерживать? Театр один, комедия и драма. И между ними переходов нет.

14 апреля. Обыск — изъяли записи. Видимо, в прошлый раз не дочитали чего-то. Теперь же от дел государственных нашлась минута-другая. Здесь читают, за тюрьмами — пишут, за границей — печатают. Такова история российского диссидентства.

16 апреля. 31 год.

Мой дядя самых честных правил, — что я могу еще сказать. Вот он в тюрьму меня направил, а мне-то на нее — на-срать.

И действительно: уголовное дело направили в Военную коллегия Верховного Суда СССР.

22 апреля. Вернули записи. Да, при такой профилактике я рискую к концу срока остаться ни с чем.

И задумка моя может прахом пропасть.

Как бы мне устоять, как бы мне не упасть.

23 апреля. Боже мой! Кого я вижу? Здравствуйте, незабвенный вы наш Михаил Николаевич. Все еще при погонах? Да ладно, ладно, я постою-с-с. При вас-то, позвольте-с-с. Как можно сидеть-с-с.

Все не успокоится Бодунов, все бодается. Копают в Палдиски, выискивая крамолу. Не сломал бы рыло. Вопросы о сослуживцах. Всех задел, с кем я хоть как-то общался. Но с чем он вызвал меня, с тем я его и отправил обратно. До свидания, хороший вы мой и любимый всей тюрьмой следователь — следуй отсель.

28 апреля. Перевели в камеру под номером 72. По-моему, я уже был здесь. Или в соседней?

Мелькают, как в калейдоскопе, глазки, кормушки и парашки. И силишься в беззвучной злобе понять, где наши и не наши.

29 апреля. Сообщили, что кассационная жалоба будет рассмотрена Военной коллегией Верховного Суда 14 мая. Надежд, конечно, не питаю. Но все ж волнуется душа. Как ты, стана моя родная, необъяснима и смешна.

1 мая. Отказались дать чернила и ручку для переписки на чисто дополнения к кассационной жалобе. Думают, видимо, что лозунги буду писать на стенах камеры или объявлю чего-нибудь в письменном виде.

А разве можно тревожить начальство по праздникам? Беречь надо начальство и холить. Без него что мы? Место пустое. Без него и в тюрьму-то посадить будет некому.

Эстонец, сокамерник по Таллинну, рассказывал, что был там у них в зоне один чудак: на лбу выколол не член, как обычно бывает, а слова «Вся власть Советам». Понял потом, что это антисоветчиной пахнет, прикинулся дурачком, ведь при дурачках только и может быть такая власть, как у нас, и закрывал потом лоб свой чалмой из вафельного полотенца. Вафля, она, вообще, бытовикам ближе, чем махровое что-либо или ректальное.

5 мая. Письмо от жены.

Чем хороши письма здесь и чего на воле не знают их получатели, так это то, что письма можно спокойно, медленно, с расстановкой прочитать, внимательно разглядеть его со всех сторон: и конверт с адресом, и марку, и само письмо. Можно, также не торопясь, рассмотреть каждую букву из написанных слов, каждую ее завитушку и просто погладить листок, приложить ко лбу — вдруг там еще чего не прочитано между строк, к которым прикасались ее руки, ее чувства, ее мысли.

Рядом можно положить его, на подушку, чтобы думать о нем час или два. Потом можно под подушку его убрать, чтобы утром снова прочесть. Чтение письма в тюрьме все равно, что чайная церемония в Китае. Наука и таинство.

21 мая. Уведомили, что рассмотрение дела в Военной коллегии отложено. Новая дата будет объявлена отдельно. Ждешь, как расстрела: знаешь, что расстреляют, но не знаешь когда. Такое висячее положение в пространстве. Как падают — раскрылся, а земля далеко внизу застыла. Знаешь, что падаешь, а смотришь вниз — нет. Лишь потом — земля на тебя несется стремительно. Срок утверждают — и стремительно в зону. Выделен адвокат Живейнов из Московской коллегии. Посмотрим, как живо он будет отстаивать мои интересы.

14 июня — 24 июня. 10 дней первого для меня карцера. Попросил взвесить порцию каши. Здесь меньше нормы, — говорю, — проверьте.

Дежурный офицер, как Конек-Горбунок из-под земли. И ну насканивать, ну лягать. Ты у меня влезешь в карцер и не вылезешь. Знает сказку-то.

— Провокация, — кричит, — умысел.

— Да, помилуйте, господин-барин, — объясняю спокойно, — меньше овса-то, чем обычно давали.

— Грубить, офицеру!

Вылез из карцера не такой, как Иван-дурачок из уха, а как Геннадий-придурок. И то, правда: и толк-то есть, да не втолкан весь. Но тут втолкают.

18 июня. Военная коллегия Верховного Суда мою жалобу отклонила. И адвокат из московских не помог.

2 июля. Письмо от сестры Вали: «...Привет из Ленинграда. ...Теперь о нас. Папа болел. Лежал около двух месяцев, только сегодня пошел на работу. Мама тоже порошки да пилюли пьет. Сдают наши старички. ...Деньги вышлем переводом».

6 июля. Вручили определение Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР. Председательствующий майор юстиции Козлов (Ха-ха! — ну вот: полный комплект фамилий, участвующих в моем деле). Теперь и в дорогу. Дороги этой дальней на нас с тобою хватит.

17 июля. Вильнюс. Камера бытовиков.

Варят чифирь — греют кружку с чаем вафельным полотенцем, свернутым в жгут. Полотенце горит как свеча. Потом пьют по глотку. Один, молодой, но здоровый — рукой за

сердце. Полпачки чая на алюминиевую кружку — гадюк травить. А они ничего.

Потом сидел с ними в один круг и занимал их байками из политической жизни страны и зарубежья. Рты не раскрывали от удивления, но внимательно слушали. Жили мирно.

23 июля. Псков. Камера бытовиков.

— А воровал я просто, — делился секретами мастерства один из них. — Люди до удивления беспечны. Эта беспечность — мой хлеб, моя деньга. Выбираю прилично одетую даму или мужика. Фланирую за ним, между делом, небрежно. Они домой — и я следом. Вошли или вошла в хату. Минут через десять и я в дверь тихонько рукой. Очень часто дверь не закрыта. В прихожей, естественно, никого. Но все на вешалках беру сколько можно на руку взять. Базар потом — и деньги в кармане.

— А как сел? — спросил другой.

— Да только шубу в прихожей взял, вышел уже. Но хозяйка что-то в этой шубе забыла. В прихожую рхнула. Мужики за мной. Через два квартала я и шубу бросил. Но поймали. Но это х...я. Деньжата имеются. А срок не дурак — быстро кончается. У нас не так как у вас, политических.

2 августа. Горький.

В прогулочном дворике с ребенком женицина. По верхнему уровню стены настил. На нем надзирательница, чинно вышагивая, видит, что делается в нескольких двориках.

— Ах, какой мальчик, такой хорошенький, — умиляется она, и руки к груди.

Насколько же очерствели мы, огрубели, привыкли, к чему привыкать и нельзя, если не замечаем уже того, что ребенок-то этот, грудняшка, наверно, в тюрьме, за забором, под дулами пистолетов. А мать, за стеной ее голос, — безмятежность сама, воркует с малышкой, будто и нет вокруг нее этой проволоки колючей.

13 августа. Потьма. Отсюда — в поселок Явас и на хутор Озерный. По гигантским цупальцам советского спрута, по артериям ГУЛАГА добрался я, наконец, до заветного места, до заповедника.

19 августа. Поселок Озерный.

Малая зона 17-го лагеря.

Ехал из Яваса в пустом воронке. И Алик Гинзбург в железном стакане. Его через суд — во Владимирскую тюрьму.

На высоком крыльце меня встречали местные эзки.

В малой зоне: Николай Иванов, Юрий Галансков, Леонид Бородин, Владлен Павленко.

На этапе от Калининграда до Потьмы прочитано пять томов «Сочинений» Чернышевского, его роман «Пролог» и «Письма», книга Г.Марковича «Студент Добролюбов» и «Избранные сочинения» Добролюбова, первый том «Сочинений» Маркса и Энгельса. Сделаны конспекты. Продолжена разработка «Теории логических рядов».

1971. Март. 3-й лагпункт, больница. Привезли на обследование. Был здесь и Юрий Галансков. Познакомил меня с интересными эзками из политических: художником, который работал здесь санитаром в морге, вскрывал трупы; кинокритиком и странным философом в чалме, не раджа ли? Через десять дней вернули в зону — недостаточность митрального клапана, экстрасистолия.

10 апреля. Годовщина письма от жены, полученного в Калининграде после суда: «...Мне было стыдно за твое поведение на суде». Ситуация стрессовая — весь измотан следствием и судом, а тут это письмо — и нервы по сердцу. Теперь — по больницам.

16 апреля. 32 года. Друзья поздравили. Подарили открытки с посвящениями. Тимофеевич — толстенную тетрадь в красной обложке.

19 апреля. Инфаркт миокарда — финал слишком длительного нервного напряжения. Лежу в местной санчасти малой зоны. И Юра со мной — у него снова приступ. Провалился месяц.

19—21 мая. С условием выписки из санчасти допустили на личное свидание с Галей. Первое, не считая пятиминутного на суде, за два года разлуки. Приходил санитар, мерил давление.

16 июня. 21 час 45 мин. На своей любимой поляне, в двадцати метрах от автоматчика и колючей проволоки, умер Михайло Сорока, живая легенда ГУЛАГА. Всю ночь у гроба свечи и эзковский караул.

19 июня. День рождения Юры Галанскова. Подарил ему книгу о живописце Анри Матиссе.

9 июля. Алексей Косырев вышел на волю. Найдет ли он в Большой Зоне свой новый путь в Светлое завтра.

23 октября. Алексей пишет из Белой Калитвы:

«...Хочется верить, что, несмотря на тяжесть твоего положения, ты не поддашься, возможно, естественным в таких условиях, конфронтующим чувствам, а сохранишь хоть

немного здоровья, ясный ум и свежесть сердца. Жизнь ведь продолжается. И после окончания твоей изоляции ты встанешь перед проблемой интегрироваться в иную систему, найти сферу применения своему уму и сердцу. Поверь, эта задача уже не из легких сама по себе и тем более непроста, если руководствоваться матрицей «да-нет». К тому же жить нам не мафусаилов век, годы бегут не угонишься... Сейчас непосредственно занят наладкой электронного микроскопа. Штука тонкая и довольно капризная, но я доволен этой изнуряющей ум и тело работой хотя бы уже потому, что другого средства успешно противостоять периодическим наплывам тоски и отчаяния я просто для себя не нахожу».

1972. 5 января. Осужден Владимир Буковский. Находится во Владимирской тюрьме.

28 февраля. Письмо от Косырева:

«...Противу прежнего живу вдвое хуже: грустно, бездомно как-то и отчаянно тоскливо. Заботы и напасти, те, которые о куске хлеба насущного, омрачают душу. Но, слава Богу, все же не подчиняют себе. Две привязанности, ранее заявившие о себе исподволь, — природа и чтение книг — сегодня поддерживают тот глобальный интерес к жизни, лишение которого — была бы смерть... Литература? Это — самая моя большая боль и самая большая радость. Ветер вечности все унесет в небытие, но настоящая литература, это всегда частица нас самих, частица нашего поколения. И люди иных времен по ней будут судить о нас, о нашем времени».

Март. Сон: город, люди, Галя с Любашей идут по улице. Иду и я, но далеко от них. Постепенно расстояние между нами увеличивается и увеличивается. Люди и люди, но жены и дочери уже нет среди идущих.

Уже третий сон на эту тему — рядом, но врозь. Сорвется свидание?

3 апреля. Москва. Лефортово. Привезли по делу Петра Якира.

29

В Лефортово раза два вызывали Гаврилова к следователю — все о Якире: знакомы ли? Встречались?, а как же «Письмо» в его квартире, вот Парамонов... Даже знатный начальник спускался сюда, в кабинет, где сидел Гаврилов в углу за маленьким столиком, взглянуть на чудо

гороховое. А что глядеть на зэка в робе, да лысого? Эка какая невидаль.

— Надо бы встать, Геннадий Владимирович, — укорили его.

— Начальник для вас, я здесь чужой. И пиджак без погон — где же мне разобраться?

И быстро поняв, что толку не будет от этого пришельца ниоткуда, вернули Гаврилова в зону ближайшим этапом.

Этапов этих повидал он не мало — помотался по тюрьмам, пока ехал до лагеря. И сразу решил еще в первом столыпине — надо меньше есть проклятой селедки.

Придумать же надо — в дорогу соль! Воздержись от селедки — меньше хочется пить. Воздержись от излишества хлеба — легче желудку. И в туалет не надо ломиться.

А если не так: начальник, пить! А начальник, как чайник, не ведет и рылом.

Или: начальник, на парашу давай! Жопу порвать мне с тобою, что ли? А тот: будет время — пойдете. Какое время, мать твою так...

Гаврилов молчит и спокойно едет: разобрался он быстро что здесь к чему. Умереть не умрешь без хлеба с селедкой, но много легче до места доедешь. День да ночь — это не время.

И все же, когда выводят из камер по нужде в туалет, в один, паровозный, когда идешь вдоль вагона, вдоль этих купе с решетками во всю высоту, то не только услышишь здесь голоса зэков блатных — не блатные молчат, но и лица увидишь, и увидишь глаза.

Смотришь на них, мужиков и баб, замедляя как можно шаг, а позади конвоир и тебя он толкает — проходи, проходи, — а они на тебя в растопырье глаз. И постигаешь в момент, что каждый взгляд здесь не просто взгляд, а целая жизнь, потаенная, страшная, в комок закрученная. И зришь среди лиц то ягненка, то волка, лису или зайца.

— Смотрите, вешалки, какой хорошенький.

— Дала бы ему по писуарчику постучать?

— Ха-ха-ха, иди родимый, — и титькой к нему.

— Ты, халява засраная, что пасть разинула, — навстречу ей хрипловатый мужской из-за стенки соседней.

Все игра и мат, и театр теней. А за ними видишь, как натянуто все, как задергано до предела. И такая тоска в сердцах и на лицах.

И пока он ехал этапом, и в зоне затем, особенно сейчас вот, когда все прояснилось, не только то возмущало Гаврилова, что растаял Якир — это он еще мог понять и простить. Но конференцию, о которой газеты кричали на всех углах, он простить Якиру не мог. Не потому не мог, что сказал там Якир что-то такое из ряда вон. Не мог Гаврилов в голову взять, как же он, Петр Якир, сын командарма, расстрелянного Сталиным, мог спокойно смотреть с экрана, будто с гуся вода, на тех, кто за ним-то пошел: на кирзу, за забор, за колючую проволоку. Не один лишь Гаврилов на скамье оказался. Далеко не один.

И вспомнился Гаврилову недавний сон, за три дня до того, как появились в зоне газеты про Якира и Красина. Долго он размышлял над ним, оказалось — так просто.

Там он шел по дороге. И люди шли — спешили куда-то. И он спешил вместе со всеми. Вдруг — позвали его. И отстал он от тех, с которыми шел. На зов повернул — по дворам, закоулкам, трущобам каким-то. И вышел внезапно к незнакомому парню. Те, с кем он раньше-то шел, мимо идут.

— Пойдем, — кричат и руками машут ему, — пойдем, пойдем!

А он стоит. Когда же решился и шагнул вперед, глядь — рюкзак за спиной, непосильно тяжелый. С ним и пошел — да разве догонишь: еле брел по песку. И все думал: что там, в рюкзаке? Сбросил его — посмотреть, а рюкзак-то пустой.

Парень во сне Якиром и был, кому же еще? За чьим «Воззванием» и Гаврилов вослед? Пустой рюкзак — его дело и есть, которое он по песку тащил все эти годы.

И метался Гаврилов в мыслях своих отдельно от всех на своей дороге — от барачков до склада, где ходят так мало местные зэки.

А Юрка больной? Все брал на себя, как наивный мальчишка. Семь лет накрутили. А Гинзбургу пять.

— Это как же так, Юра? — удивлялся Гаврилов в малой зоне еще.

— Да так уж случилось, — улыбнулся ему и окутался дымом.

— Еще-то у тебя кто в подельниках был?

— Лашкова была. Верочкой звали. Хорошая девочка, работяга-трудяга.

— А что у нее?

— Что у нее, — затынулся он дымом. — Почти ничего. Машинисткой у нас. Через год отпустили. Из зала суда.

А сам-то ты, сам, — ел Гаврилов себя. — Ты-то чем лучше? Если б не ты — не был бы в лагере Алексей. Если б не ты — гулял бы на воле сейчас Парамонов, не лежал бы в больнице среди дураков. И полыхнуло в лицо ему стыдом и позором от мыслей таких. А жена? А Любаша — она-то за что родилась виноватой? А мать? А отец? Ты все ускорил.

И вспомнил он то письмо от жены, к нему безжалостное и злое:

«...Я не знаю, что хорошего ты сделал людям.

А знаю, что Салюковых ты загубил только из-за своей трусости. Сашка с большим трудом устроился в Таллинн, ездить ему очень тяжело. Воспаление легких превратилось в хроническое, кашляет с кровью. Ну, чем я могу помочь? Отдала все книги твои, нужные ему для новой работы (он тогда еще заходил к нам раза два, теперь уже большие года не заходит). Отдавала зимнее пальто и шапку; пальто поносил и опять отдал.

А как тебя благодарить за Парамонова? У меня не хватает сил написать письмо его матери, и его вещи до сих пор находятся у меня. У нас недавно с сарая сорвали замок и сперли чемоданы. Некоторые Генкины вещи находились в сарае.

Гена, что ты хочешь объяснить своей скрытностью и сдержанностью. Вообще-то, называй как хочешь, но когда ты приходил в час ночи, жена в слезах, ребенок орет — тебя же ничего не трогало. Будто мы созданы были для тебя, бесплатное приложение; ты же — сам для себя, делал то, что тебе хочется. За три года (вместе мы с тобой прожили, оказывается, ровно три года) я нажилась досыта, будто десять лет прошло.

Да и все твои поступки говорят о том, будто ты систематически вытрапывал из меня мое прежнее отношение к тебе. А впрочем, может и бессознательно, как ты это объясняешь «обыденность, мелкие заботы притупляют чувство».

Даже последние дни, когда ты знал уже, что тебя арестуют, ты не отрывал зад от стула, был занят только собой и все должно было вертеться для тебя.

Если бы ты видел, как вел себя Генка Парамонов в последние дни. Его ожидало то же самое, но он, казалось, совершенно не думал о себе, старался нам помочь и облегчить хоть что-нибудь, как только мог. Горько и обидно за тебя. Я знаю, что ты не привык умолять и стоять на коленях, ты даже не привык извиняться, когда виновен, вернее, сознаваться хотя бы себе; разведешь трепалошку, что и сам убедишь себя в своей правоте. Ты и сейчас не изменился, рассматриваешь нас только по отношению к себе: будем мы с тобой — тебе хорошо, нет — плохо. Ну, что ж, ясно; но я все-таки подумаю, как лучше нам.

Ты просил ответить на просьбы, касающиеся дела. Какие могут быть дела? Не только книги, я бы газеты тебе не дала, чтобы ты ее исчирикал. Ты ведь по-прежнему продолжаешь рисовать на книгах и журналах, хотя знаешь, что я очень болезненно воспринимаю такое варварское отношение. Да и подчёркиваешь-то ты все одни и те же фразы, которые отвечают твоим мыслям, и ничего другое видеть не хочешь. Как белка в колесе, бежишь — и все на одном месте.

Ты можешь предпринимать все, что угодно, если тебе мало шести лет тюрьмы, писать хоть за прокурора, но зачем же нас-то втягивать. Ты, наверное, думал, что мы будем очень рады, если нас будут таскать по прокурорам. Спасибо большое, но с нас довольно.

Ты сделал неправильный вывод из того, что я раньше писала. В том, что мы не могли нормально жить, устроиться на работу, в садик, виноват не адмирал, не политотдел, не те начальники, которые не принимали нас (некоторые просто боялись).

Я обвиняю и проклинаю по сто раз в день только тебя. Это ты оставил нас без средств существования, без работы, без денег, в этом городе, где устроиться нормально невозможно и выбраться тоже. На какие шиши, скажи пожалуйста, я смогу переехать, может, ты мне денег вышлешь? Никто не должен беспокоиться о твоей семье, кроме тебя самого. А ты пишешь «виноват не я, а нечто иное...». Иного я не вижу, и ты тоже, иначе обязательно нагородил бы, да сказать нечего.

И не распинайся по этому поводу, все равно не получится... Галя».

А ведь все начиналось у них не так совсем. Это письмо он получил еще в малой зоне Мордовии, в конце декабря, через четыре месяца после приезда в зону. Прочитал, конечно, Юре — секретов не было у них друг от друга.

Теперь же вспомнил он другое ее письмо, одно из первых, тогда еще, в конце 65-го, когда он, молодой лейтенант, только с училища, при погонах и кортике и все впереди, когда Галя еще в невестах ходила.

Это письмо Юре он не мог показать — оно дома лежало, в его архивах. Галя писала ему тогда:

«...Не могу с тобою здороваться и прощаться на страницах письма. Это было бы неправдой, потому что я каждый день, каждую минуту разговариваю с тобой. Дух твой не покидает меня ни днем, ни ночью. Я старалась не выражать свои чувства, так как думала, что тебе легче будет переносить разлуку, а получилось наоборот — это навело тебя на страшные сомнения. Неужели ты думал, что мне было очень легко уезжать от тебя и что мне действительно безразлично, напишешь ты или нет. Мне дорого каждое слово, написанное твоей рукой, на конверте, в письме или на каком-то извещении.

...Я думала, что мы действительно понимаем друг друга, оказывается, это не совсем так. Я слышу, когда ты говоришь мне «люблю», слышу, когда ты шепчешь про себя, боясь слишком часто повторять это слово, а ты не слышишь, когда я кричу тебе о любви, но не могу произнести вслух.

Если для тебя связь с внешним миром — это я, для меня — ты. Только с тобой мне было легко и хорошо.

Не хотелось портить встречу разговорами о различных неприятностях, от которых не знаешь куда деться ни на работе, ни дома. Все везде до того противно. Сначала казалось, что я долго не выдержу, но время идет, и человек сам не знает, что он может пережить и вынести...

Вообще, чтобы описать тебе мое состояние, нужно многие твои фразы брать в кавычки и отсылать тебе обратно.

...Я всегда думала, что ты меня отлично понимаешь, и знаешь, кто является для меня самым родным и самым дорогим мне человеком.

Ты ошарашил меня своими вопросами, я ждала чего угодно, только не сомнений в моих чувствах. Теперь я даже не знаю, как ты расцениваешь мои поступки и, вообще, кем же я являюсь в твоих глазах.

Знай, что я, вероятно, больше никогда не напишу и тем более не скажу тебе об этом, но ты должен знать, кем ты являешься для меня, и не смей ни на минуту сомневаться в этом.

Пишу я тебе редко лишь потому, что не могу объясняться в любви в каждом письме, а все остальное мне кажется второстепенным, не стоящим внимания.

Я же рада получать от тебя каждый день хоть маленькие открыточки, лишь бы они были подписаны твоей рукой.

Я уже давно считаю дни до Нового года, и попробуй только не приехать. Купи себе теплые ботинки высокие. У нас очень холодно и снегу по колено.

Через пять лет из зоны он писал ей длиннющие письма по 20 и 30 страниц. Но ей не нужны уже были они:

«...Неужели ты думаешь, что хочется отвечать на твои письма, — писала она, — наверняка переписываешь их в общую тетрадь под названием «Дневник и письма». Это же не для меня написано. Это не слова, а словеса, не фразы, а выверты, и все «Человек», да «Я» и все с большой буквы».

А он-то писал ей письмо дней по 10 и больше, чтобы быть будто бы с ней, когда так тяжело и на воле, и в зоне.

И пусть все наладится, предположим, у них. Но все совершенное останется с ними, никуда не уйдет, никуда не исчезнет. Навсегда это будет и при нем, и при ней.

Все мысли твои, все чувства — всегда при тебе. И хорошие дела, и плохие. Они — это ты.

И он бегал за дальним бараком, пальцы сжав в кулаки.

А причем тут Якир? — споткнулся он вдруг о пришедшую мысль, и заметил, что стоит у забора в том конце зоны, где бродил он тогда, ожидая Володю. — Я же лучше хотел. Но вышло-то хуже. Не всегда получается так, как ты задумал. Стоп. Если так рассуждать, то зачем революции, войны зачем? Там-то горя побольше, и крови.

И писал он жене:

«...Погода у нас по-прежнему переменная: то дождь, то солнце, хмуро и сыро. Одно слово — сентябрь. Хмуро и неуютно и я себя чувствую. Как-то все кувыркком: ни желаний, ни стремлений, ни мыслей — чернота, беспросвет. Пора в монастырь: от людей, от всей суеты, от себя самого. Как видишь, писать начал коротко — без философий. До и пустое все это — слова. Жизнь — она шире слов, глубже философий. Таинственнее, что ли?»

Вечером сидели они у Володи. Владлен был и Гера. Вся честная компания.

Получил Буковский письмо — и рассказывал новости.

Мила прислала Володе листочек стихов. Но сестра, как он говорит, разве будет на «вы» да еще с большой буквы. Вон у Гаврилова сестра: и в хвост его и в гриву тыркает — никакого уважения, понимаешь. На то и сестра, или жена — близкие, в общем.

Так испокон веку никогда и не было уважения ни к кому в своем-то доме. А если даже и было, то все одно — поначалу заграница прославит, потом уж — у нас. Все могикане российские оттуда шли к себе, из-за бугра: Солженицын, Даниэль, Синявский, Буковский, Юра, конечно, и, естественно, Гинзбург. Если же там о тебе молчат, то здесь и подавно. Где так широка Русь, а вот тут отчего-то — уж очень заужена. Странно — почему так?

Из стихов Рильке, что прислала Мила Володе, Гаврилову особо понравилось четверостишие:

День, который словно в пропасть канет,
В нас восстанет вновь из забытья.
Нас любое время заарканит, —
Ибо жаждем бытия.

Странна эта жажда людская. Грязь здесь и вонь, а мы все жаждем. Да моя бы воля, — рассупонился в мечтах своих Гаврилов, — я руками и ногами оттолкнулся бы от земли куда угодно, разве что — не к черту на куличики.

Это потому, что не мог он понять, что это за «куличики». Поэтому и не хотел туда. Вот если б на кулички — можно б подумать. Но кулички — это где пасха. А черт от пасхи бежит, как от ладана.

И Володе писали в письме о Якире. Расчесал его Буковский словно русалку, а Гаврилов как бы точку поставил:

— Многим нагадил, а, смотри, испугом отделался.

— Отделали, наверное, под кружева, — ввинтился и Гера в их беседу.

— Я не думаю так. Видно сам дошел. Дозрел. Домоговал, когда к стенке пришили, — начал Павленков. — Нет, ты смотри, какой хороший, как говорит: «Я несу моральную ответственность за судьбу тех товарищей, которых своими действиями и своим примером вовлек в деятельность, враждебную государству». Моральную ответственность и кобыла понесет — шею не ломит.

— Дурной пример заразителен, — дополнил Буковский. — Как и родная партия: расстреливают, общество растлевают, разрушают все вокруг себя — и никакой ответственности, кроме моральной. Что здесь: моральные преступники или преступная мораль?

— А как все просто, — вступил и Гаврилов, — раскаялся, расплакался в жилетку — и все тебя любят, по головке гладят, белые одежды несут да стол накрывают. Вот это мне больше всего нравится. Делал-делал, ворочал-ворочал, люди и за него, за идеалы, по тюрьмам и лагерям, а он умилился, прослезился и — гуляй в чисто поле. Блудный сын какой выискался.

— Не было бы у него такого папани, что на всю Россию гремел, вряд ли гулял бы. Не успел бы и точку поставить в своем «Воззвании», как загребли бы, — заострил и Гера.

— А может быть, он на самом деле раскаялся? — продолжил свою мысль Гаврилов. — Тогда, действительно, нужно было принести лучшую одежду и одеть его, и дать перстень на руку и на ноги обувь «ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

— Лучше б деньгами, — опять Гера. — И потом, каяться так под следствием, а не после, когда срок намотают, — и схватил у Володи из письма фотографию, — дай посмотреть!

А Владлен дальше цитировал из газеты: «Мы поддерживали связь с созданными в ряде стран «комитетами», которые в контакте с пресловутой «НТС» ведут подрывную работу против нашей страны».

— Ну, бляха-муха, слова-то все кагебистские, — не сдержался Гера.

— Ты больше читай — тебе напишут, — оборвал и Буковский. — Самая лживая пресса — это советская пресса. Уж я-то могу сравнить.

— Но все же это пресс-конференция, а не в бане за веником, — заступился Гаврилов за советскую прессу.

— Информация может интерпретироваться — не узнаешь где быть, где небыль. Не будь наивным, — отрезал Володя. — Тебе ли не знать.

— А что это у тебя на фотке, — Гера к Володе, — лошадь что ли?

— Сам ты лошадь, это конь. Давай сюда.

- Так здесь не видно — ногой загорожено.
- Его мне англичанка подарила, — пояснил Володя.
- Куда подарила? В Москве в ванной он у тебя или в карцере здесь?
- В Лондоне. Призы на скачках берет.
- И кому же призы? — недотепой спрашивал Гера, с уважением глядя на лошадь.
- Мне, конечно. Ты как с луны свалился.
- А чего это она решила тебе лошадь-то подарить?
- Англичане, они же с юмором. Ты что не знал? — отшутился Володя.
- Фаворит, значит? — опять Гера к нему.
- Фаворит. Давай фотографию.
- И грива черная. Глазищи громадные. Хороша коняга, — взял Гаврилов фото у Геры. — И как назвали?
- На обороте читай: Владимир Буковский.
- Серьезно?
- Ну и наивный ты, Гаврилов.
- Но это же здорово, Володя. Ты здесь сидишь себе, а лошадка там, тезка твоя, тити-мити тебе, — и он потер выразительно палец о палец.
- Конечно, а ты думал.
- И Владлен взял фотографию и тоже посмотрел «Володю Буковского».
- Володя, если шутки в сторону, — продолжил Гаврилов, — Якир массу материалов за границу отправил. Правда, ему и это простили. Мне всегда интересно было — через кого все же все это делается?
- Журналисты на то есть. Самое это простое и ходовое. Помню, как ловили меня по Москве с таким журналистом. Гера, заварил бы чай.
- Дослушаю — заварю.
- Еле оторвались на его машине. Село на хвост КГБ, ну никак. До чего все же не приспособлены иностранцы к нашим условиям — поразительно. Словно малые дети. У них же этого безумия нет, как у нас. Какие проблемы там с информацией? Никаких. У них поэтому и психика совершенно не так устроена для этих дел. Раз пришлось за него по телетайпу передавать. Из его квартиры. Сам он нажрался, сволочь. Я говорю: передавай, пьянь заморская. А он лыка не вяжет. Пришлось самому. Замудохался я с ним за ночь.

— Но Якир не имел телетайпа.

— Он фамилию имел. Где мне было надо — я сам шел. А к нему приходили.

— Ты же тоже имел фамилию, Володя.

— Имел, да ждать было некогда, когда ко мне они заявятся. Но были и у меня иногда. Не без этого.

Гера исчез уже заваривать чай.

А Гаврилов задумался, пока Владлен и Володя о чем-то гуторили. Деловой все же Володя, не как он, Гаврилов, кисейная барышня. Посылки наладил другим получать, у кого — ни родных и ни близких. Писал в Москву адреса — на них посылки и присылали. Отсюда в зоне и табак, и чай, сгущенка, какао и разная всячина.

И Владлен помогал таким же образом.

Но Гаврилову некому было посылки слать — он и был пролетарий: ничего не имел, ничего не просил. Поэтому и не уживался он в кибуцах с зажиточным людом. Разве что с Философом чувствовал себя спокойно за чаем. Так у того и была лишь положенная пятирублевка, что отводит начальство на ларек советскому эзку. Но много ли купишь на пять рублей в месяц? У Гаврилова и этих пяти иногда не бывало.

Видно святым хотел стать в поселке Всесвятском.

И пока он задумался так — налили уж чай.

— А что, мужики, — обратился он к окружению, как к присяжным суда. — Сон разгадаете?

— Вали в штаны, — оживился Гера, — слушаем вас-с.

— Женщина в белом халате слушает сердце. Говорит: у вас порок. Я, конечно, взволнован. А она успокаивает, голову гладит мне и шепчет, что излечит от болезни. И тайно дает инструкцию как и что. Кроме того, дала черные ягоды, из которых надо заварить густой напиток. Обещала давать мне его пить по небольшой стопочке в день.

— Сразу вопрос, — поднял Гера руку, как первоклашка. Гладила что: голову или головку?

— Вот шут гороховый, я серьезно тебе.

— Ну, тады, — ткнул он себя пальцем в лоб, — бутылка откуда-то свалится. Выпьем по стопочке.

— Чудак ты, я упражнение-то запомнил. Буду делать, может быть вылечусь.

— А ягоды?

— Вот с ягодами и вопрос.

— Где-то по соннику я читал, — вставил Владлен, — ягоды это к слезам. Тем более черные — что-то плохое.

— Это и странно. О лечении речь, и тут же плохое. Хотя бывает, конечно, что идет во сне сразу несколько планов будущего. В причудливых сочетаниях они могут пересекаться. Сон был 6 декабря в 72-м. Потом нас в пермскую тюрьму — помнишь, Гера? Под новый год вас увезли, а я остался болеть — грипп подхватил. Наверное, к этому гриппу тогда и были эти черные ягоды. Но, дело-то в том, что ровно через месяц, 6-го января уже этого года — умер отец.

— Извини, я не знал, — посерьезнел Гера.

— Но со смертью отца я другой сон связал — четырьмя днями раньше. Вообще, если какой-то знак идет — он повторяется несколько раз. Могут быть вариации. Три сна, помню, были, еще в малой, в декабре 71-го, потом в феврале и в марте 72-го: никак не мог во сне с женою встретиться. Когда же, 18 мая, она приехала — карантин объявили. Ну кто мог подумать? С таким трудом добраться до этих захолустных мест, где днем-то страшно, бывшие бытовики кругом, а она рано утром приехала, почти что ночью. В доме свидания сидит — начальство ждет. Потом у них — униженно просит. А они — карантин. До чего не человечески везде у нас. Раз в год личное свидание — и от ворот поворот. Затем, по осени, переезд сюда. Зимой — Пермский централ. Собиралась ехать — а там карантин. И еще свидание сорвалось. Через два года лишь состоялось свидание — в мае. В июне уж ты приехал, Володя.

Потихоньку тянули чай, не спеша, с расстановкой.

— Ну и что же сон про отца? — напомнил Владлен. И ему интересной стала эта сонная жизнь зэка Гаврилова.

— Там симптомы плохие. В книжном магазине книгу читаю «Душа человека». Дальше: продавщица черное платье распускает и нитки сматывает в клубок. Здесь ясно все. А о смерти матери сестра сообщила, когда уж пять месяцев почти прошло. Отец не велел. Сообщила сестра, когда сам отец оказался в больнице. Так вот, после смерти матери, умерла она в июле 22-го, в августе 9-го, вижу сон. Пришел в родительский дом незнакомый человек, чужой совсем. Одноглазый. И с твердыми костлявыми руками. Он потом у меня очень ярко и долго так и стоял перед глазами. И всякие мысли бродили: что-то плохо там, дома.

Сердце, так вообще, моталось туда и сюда. Домой пишу письма, а там — молчание.

И они замолчали, думая о свалившемся на него несчастье: одно за другим.

— А о свидании с Галей, — начал Гаврилов, чтобы немного смягчить настроение всех, — по сну я запомнил, в чем она одета была. В этих трех снах были на ней кофточка розовая и синие брюки. И тяжелая сумка. Так и случилось. Увидел я потом, когда мы встретились. Расскажу я вам, ребята, про еще такой вот сон. Рота идет. И я в строю. Затем выхожу из строя и иду один. Кого-то ищу. Оказалось — уборную. Забегаю в подворотню и вываливаю дерьмо на ходу. Двое мальчиков укоряют меня. Оправдываюсь, как могу. Поднимаюсь по лестнице. Звоню. Спрашиваю: где здесь уборная? Женщина показывает в какой-то проем. Иду туда. Вдруг выбегает маленькая девочка и пристает с вопросами. Шлепаю ее, чтоб не мешала. Она плачет. А я уже смахиваю дерьмо с задницы. Проснулся в поту. Слетел с койки и быстрее в наш сруб на шесть персон. Вот и такие бывают вещи сны.

— Ты даешь, — повеселел Гера. — Врешь, конечно.

— Почему — врешь. Сущая правда. Сон и число записаны. Прошлый год, 72-й, 17 ноября, пятница, 3 часа 30 минут ночи. Конечно, я бы не стал так подробно записывать этот дерьмовый сон, но до чего же природа человеческая широка, когда я снова заснул, видел Михайло Сороку. Помнишь, Владлен, в малой зоне какой караул был у его тела, с вечера до утра?

— Это не забыть.

— Иду я с ним по улице — это во сне. Он свеж, бодр и хорошо выглядит. Оживленно беседуем о новостях. Потом вижу красочный, величественный собор древнеримской архитектуры. Много людей на улице и в соборе. Вроде митинга что-то. Чувствую, что все это связано с Михайло. Это я запомнил. Так хочется, чтобы у него все хорошо устроилось там.

— Дерьмо, навоз — это все к прибыли, к богатству, — заметил вдруг Владлен. — Миллионером будешь с такими снами.

Все засмеялись.

— Если и стану, то на том свете, наверно, — мрачно отшутился Гаврилов. — Коля! Иди к нам, глотнем немного,

— пригласил он проходящего мимо Философа, спальная плацкарта которого по времени отстояла дальше от двери, чем койка Володи.

Как в анекдоте. Заходят двое осужденных в камеру. Одному дали 10 лет, другому — 15. Кто куда ляжет? — спросил первый. Ложись к дверям ближе — ты раньше выходишь, — ответил второй.

Но прежде чем подойти к излишне разболтавшейся честной компании, Коля-Философ прошел сначала к себе, достал съестное из тумбочки, потом уж вернулся.

Заварили по новой. Новый чай — другие и песни.

— Бесконечность непостижима, — рассудил Коля-Философ после завершения кружки, — с этим ты не можешь не согласиться.

— Почему не могу? Могу.

— Что можешь, согласиться или не согласиться?

— С бесконечностью согласиться или с тобой?

— С бесконечностью, — осклабился Коля.

— Откровенно говоря, — увлекался Геннадий, — я не знаю, что такое бесконечность. Не тараканы ли мы вообще внутри громадного полого шара? Бегаем с умной рожей, рассуждаем о внутренностях этой полости, а потом, умирая, раз — и через дырочку в шара вылезаем наружу. И Боже, — восклицаем, — красота-то какая! Новая, оказывается, бесконечность там. Мы и не знали. Атом — думали неделим. Разбили — почти вселенная внутри него оказалась. Да и на самом деле, Философ, неужели кухня наша и есть тот предел, к которому стремится материя?

— Материя стремится к концу, — заметил Гера.

— К какому концу? — не врубился Гаврилов.

— К мужскому. Читал, небось в Библии: плодитесь-размножайтесь. Вы, логики и философы, дураки все. Мудрежка у вас одна. А жизнь вся вокруг члена вертится. Логическая цепочка, если языком Гаврилова говорить, такая: чтобы он стоял и оплодотворял, его надо кормить. И еще нужен объект возбуждения — баба. Все женщины этим и заняты — возбудить мужика. Мужiku же, естественно, для удовлетворения женских потребностей, надо себя как следует накормить. Значит — деньги-денежки нужны. Вот вам и наука — экономика. А бабья наука в этом плане — эстетика. Вместе у них, обнявшихся, этика секса получается: музыка, живопись, литература, архитектура, стишки

под смешки. Сам же акт требует обстановки. Отсюда — развитие роскоши, помпезности и прочего. А Маркс — теория классовой борьбы. Дурак этот Маркс. Теория борьбы, но борьбы сексуальной. Отбросьте ваши словеса и трезво посмотрите вокруг. Что делает природа? Совокупляется — и ничего больше. Да и Бог-то расшифровывается: баба около гениталий, около члена, значит.

— Ну, Гера, это, не знаю даже как и сказать, фрейдизм, наверно, — удивился Гаврилов такой неожиданно смелой теории кривляки и похабника Геры. — Ты где начитался-то? У Фрейда что ли? Это он все сны своих пациентов только с точки зрения секса рассматривал. Увидит женщина во сне какой-то длинный предмет. Он ей объясняет — это вам к совокуплению, гражданочка. Ждите.

— С бытовиками годик побыл, — разъяснил свою позицию Гера. — Они же первозданны в своих ощущениях. Сама природа инстинкта через них прет. Все наружу. Наблюдай — делай выводы.

— Так это животные и есть, — вставил Павленков. — Что смотреть-то на них. По одному коню нельзя же судить о всем табуне. Разные все.

— В чем-то разные, а где-то одинаковое, — не согласился Гаврилов. — Потребности секса, здесь Гера прав, у всех одинаковы. Даже камень ищет свою камениху. В химии возьми — теория сродства есть. У людей — теория родства.

— Пойдем-ка, Воля, лучше пульку распишем, — Буковский к Владлену.

И пошли они по коридору, в угол — к окну, прихватив сигареты. А Гаврилов к себе, на первый этаж. Какая пулька, — подумал он, — когда скоро отбой. Но полчаса у него еще оставалось. И в каптерку зашел — просмотреть решил письма.

30

ИЗ ПИСЕМ

1971. 3 января. Малая зона.

Юрий Галансков Галине Гавриловой:

«...9 октября у Любаши был День Рождения, и в честь ее сделана эта березка (на открытку наклеена березка из березо-

вой коры, — прим. авт.). Только вот солнышко не получилось. Карандашей у нас здесь нет. И нет желтого стержня в шариковой авторучке. Поэтому солнце красное. Ну, ничего, зато мы старались.

...Сегодня воскресенье. Генка сидит в библиотеке и просматривает журналы «Наука и жизнь». Ему нужны какие-то материалы для своей логики. Книги ему нужны по математике. Для этой же цели. Я написал домой, чтобы приехали и привезли.

...На работе, прохаживаясь по коридору, мы разговариваем иногда следующим образом: знаешь, Юра, вот и в музыке то-то и то-то, поэтому и здесь можно... На следующий день опять: если в отношении цвета можно будет установить такие закономерности, то тогда можно и в химии. Я все это, шутя, назвал «Глобальная логизация». А теперь, опять же шутя, говорю, что слово «глобальная» слишком узко, чувствуется известная недостаточность, и, очевидно, придется заменить его «космологической». Стало быть будет «Космологическая логизация» вместо глобальной.

...Основное наше занятие здесь — шить рукавицы. Мы их и шьем. У нас здесь есть кот Васька. Он вместе с нами ходит на работу. Несколько дней тому назад я хотел научить шить рукавицы Ваську. Посадил его за пазуху, так что голова и передние лапы у него были свободны. Но он почему-то этим делом заниматься не захотел. И мы пошли с ним читать журнальную статью о Гегеле. Я прекрасно помню, что у Гофмана кот Мур отлично читал, сам забирался в библиотеку. Короче говоря, был весьма образованным котом. Но Васька и читать не хочет, хотя он вполне приличный кот, и мы все его любим. А еще из-за Васьки я сшил несколько дырявых рукавиц.

...Уважаемая Галина Васильевна! Вы сердитесь на Геннадия за случившееся с ним. Но правы ли Вы в своем ожесточении? А если бы случилась война? Ведь не стали бы Вы упрекать его за то, что он ушел защищать очаги и алтари отечества.

Но что значит война? Это только одна из многих форм защиты очагов и алтарей. И можно ли сердиться на нас за случившееся с нами? Подумайте.

С уважением. Юрий Галансков.

С новым годом Вас, и Любашу».

Январь. «Гена, здравствуй! Давно собиралась тебе написать, но никак не могу собраться с мыслями, а написать все-таки нужно.

Во-первых, поблагодари Юру Галанскова за его теплые человеческие слова, мы с Любашей были очень тронуты. Любашеньке больше всего понравились открытки, на которых ветка с яблоками и три негретенка, правда, она почему-то решила, что они зубки чешут.

Юра просил новогодние открытки, были только такие, передай ему, пожалуйста. Ему наверняка нравится твоя работоспособность. Ты скажи, что этого недостаточно, и что твоя логика так же не будет закончена, как и все, начатое тобой.

Я не буду пытаться описать наше положение и мое состояние, это трудно, скажу только, что не одна женщина уже плакала, глядя на нас. Торжествующих, конечно, больше, чем сочувствующих.

Ты радуешься, что я устроилась на работу, можешь, конечно, радоваться, но от этой работы меня рвет. Любашенька, действительно, пока ходит в садик, но там она на птичьих правах, и если бы ты знал, как ее устраивали, ты бы подождал радоваться.

Если когда-нибудь будет возможность переехать в другой город, я ею воспользуюсь, может, там не будет каждая сволочь измываться. Для этого, конечно, нужен развод, иначе и на новом месте получится то же самое.

Какие ограничения для меня, я это и без тебя слишком хорошо чувствую. Я спрашивала выписку из судебного приговора. Мне кажется, ты бы и сам мог догадаться написать, не дожидаясь, когда я тебя попрошу несколько раз.

Ты не пойми только, будто я жалуюсь, по крайней мере, тебе я жаловаться не хочу. Если ты и поймешь, то не так, не сердцем, а разумом, эгоизма в тебе больше нормы и письма твои черствые, я бы не смогла на них ответить, если бы не Юра Галансков. Я пишу больше по его просьбе, чем по твоей.

Фотографий, конечно, не жди. Ты мог видеть нас каждый день, а выбрал другое, это было в твоей власти. Я тебе отдавала все, хотела и от тебя того же, а не можешь — вообще ничего не нужно, ни половинок, ни четвертинок, ни фотографий на «вечную память».

Любашку тебе может быть пришло, все-таки твой ребенок. Хоть у тебя и слабо развито отцовское чувство, я даже просила бы тебя позаботиться о ней, когда выйдешь. Я чувствую себя сейчас не очень хорошо, и вообще мало ли что может случиться».

Начало февраля. «...Во-первых, о Юре. Он снова в больнице, но все твои благодарности к нему я передам непременно, вместе с открытками. Два человека (он и ты) составляют сейчас все мое состояние.

...Я полагаю, что сейчас именно разум необходим нам, чтобы понять друг друга. С другой стороны, все, что с тобой происходит, важно не только для меня. Люди, которые пишут тебе, искренне желают помочь. Прошу тебя отвечать им.

...Я отнюдь не радуюсь, что ты работаешь уборщицей. Хорошо, что ты работаешь. Но я знаю, насколько нравственно тяжела для тебя эта работа.

...Тебе необходимо уехать из Палдиски. Будем искать пути к этому.

...Нам будет легче, если мы будем вместе хотя бы душой. Твои упреки и оскорбления я отвожу. Полагаю, что их просто не было.

...Все мои бумаги, относящиеся к делу, были отобраны властями Калининградской тюрьмы перед этапом в Мордовию. Кроме того, выписывать из приговора, собственно, нечего и не к чему. Что «установил» трибунал, в приговоре не написано, три точки только после этого слова. А дальше, шесть лет строгого режима. Лишили звания и наград. Что конкретно тебя интересует? Когда вернут приговор, я отвечу на твои вопросы. В какой город тебе запретили въезд?

Ограничения относительно меня следующие:

- одно личное свидание в год сроком до трех суток;
- два общих свидания (в присутствии надзирателя) по четыре часа два раза в год. Первое, через полгода — второе;
- одна посылка в год весом до пяти килограмм и две бандероли (одна, через полгода — вторая) весом до одного килограмма каждая;
- письма получать без ограничений, но отсылать лишь два письма в месяц. Перед праздниками разрешают дополнительно отправить поздравительную открытку.

...Вышли мне «Логику» Гегеля и «Теория матриц» Гантмахера. Эти книги мне крайне необходимы.

...В альбоме фотографий есть снимок набережной Стамбула с куполами мечетей. Вышли ее. Здесь есть у нас мусульманин из Турции. Хочу ему подарить»

Конец февраля. «...Весь день чувствовал себя скверно: угнетало тоскливое чувство одиночества и опустошенности. Снуют люди, что-то делают, говорят о чем-то и — пустота.

А сегодня твое письмо. Состояние безразличия и апатии позволило мне воспринять его спокойно.

...Неужели время и расстояние делают свое дело: разъединяют, превращают доброе в злое, человека, некогда близкого, — в ненавистного.

... Ты получила письмо от Арины (жена А.Гинзбурга — прим. авт.), получила письмо от Светы (жена В.Павленкова — прим. авт.). Почему не хочешь ответить им?»

25 апреля. *«...Ты сообщаешь, что приедешь летом или осенью. Хотелось бы точно знать время твоего приезда. Чем оно обусловлено? Книгу Гегеля получил. Занятия по логике идут успешно, хотя и так не быстро. Возникли математические трудности при решении логических уравнения. Поэтому мне и нужен Гантмахер. Работе мешает болезнь.*

...В больнице лечил аритмию. Через неделю после приезда попал в стационар здесь. Валяюсь уже третью неделю. И Юра со мной. Однако ты не волнуйся».

30 мая. *«...После твоего отъезда, в понедельник, попросил выписать меня из стационара. В среду пошел на работу. По утрам обливаюсь холодной водой, делаю зарядку».*

10 июня. *«...Сегодня распечатал третий год моего эскрта. Собрались, отметили — пили чай с подушечками. ...Чувствую себя великолепно, если не считать некоторых мелочей.*

... У нас жара. Градусов 30 в тени. И засилие комаров. Проходу не дают. Распаренные бродим от забора к забору, как лунатики. Да, сегодня передали по радио (местному) об освобождении Синявского по ходатайству администрации. Ему оставалось год и три месяца.

...Около часа гулял и говорил тебе всякие глупости. Перед сном немного почитал томик Гегеля «Работы разных лет».

16 июня. *«...Как ты находишь эти строки?*

*Люди приходят и уходят.
Приходят в этот мир, объятый горем,
безумием и — поиском,
объятый верою и борьбой,
чтобы сделать этот мир лучше,
сделать его прекраснее и чище.
Мы склоняем головы перед погибшими.
Мы склоняем головы перед мужественными.
Мы учимся у них идти вперед.
Рождение и смерть.
Радость и страдание.*

Человек проходит эти полярности.
Человек становится человеком.
Провожая в последний путь
Своих учителей,
Своих соратников,
Своих друзей,
Мы смотрим в будущее без страха и отчаяния,
Мы смотрим в будущее с надеждой и верой
В справедливость и целесообразность жизни.

Это по поводу смерти в лагере Михайло Сороки».

22 июня. «...Сегодня наш день. В этот день, 5 лет назад, мы стали женою и мужем.

Был солнечный день, как сегодня.

Была ты, моя радость, мое счастье, моя любовь.

Весь мир, окружающий меня, соединялся в тебе.

Была только ты, все остальное меркло, словно мираж. Была твоя рука в моей руке. И тепло твоей руки было теплом всего мира.

Были твой прекрасный профиль и улыбка, которую описать невозможно. Был заливающий тебя солнечный свет, и вся ты светила светом.

Я испытывал такое счастье, которого никогда не знал прежде. Я чувствовал, что люблю, и сознавал это чувство. Я не верил в реальность происходящего в этот день, я боялся проснуться.

Все это я пережил, когда мы пересекали сквер между серым зданием ЗАГСа и театром.

Но уже в этот наш первый день нечто странное вставало между нами и нашим будущим.

В ЗАГСе был черный костюм регистратора, черное стекло перед нами, наши черные отражения в нем, монотонная «молитва». И ты в черном.

В историческом плане это был черный день войны.

Когда мы вышли из черной комнаты, в которой одели друг другу золотые кольца, предчувствие сдавило мне душу, я горько усмехнулся, подумав, что нас ожидает нелегкий путь.

Случай в гостинице (квартир в Палдиски не предоставляли одиноким офицерам — прим. авт.) подтвердил мое предчувствие. Нас встретили грубо и оскорбительно, зорко наблюдающие за нравственностью своих постояльцев. До сих пор мне отвратительна эта женщина, черной тенью вступившая на

порог нашей новой жизни. Потребовали паспорт пришедшей со мной женщины, затем и документ о регистрации брака.

И скомкалось все. Ушла вся радость. И хотя извинилась она, уходя, черный осадок на сердце лег словно камень.

Теперь вот и само Государство ударило так, что до сих пор не подняться.

Нас накрыла с головой жесткая и соленая волна испытаний. Будем надеяться, что мы сумеем преодолеть ее и выплыть на сушу. Перед лицом жизни, трудной и сложной, не опустим руки.

Мы много читали о любви, героической и сильной, прекрасной и несчастной.

Но жизнь — это не совсем книга, вернее, книга совершенно иного рода. Именно эта книга, книга жизни, показала мне, что такое любовь, как она хрупка, порою призрачна и как она зависит от желудка, уюта и множества других житейских мелочей».

3 августа. «...Целую неделю откладываю письмо, но про себя так и не могу написать. Хороших слов у меня к тебе нет, а писать ругательное письмо не хочется.

...С 8 утра и до конца рабочего дня я проклинаю тебя на чем свет стоит, вот уж в это время я написала бы тебе очень выразительно, а в 4 часа прихожу с работы и думаю, может еще немного потерпеть».

22 августа. «...Относительно проклятий хочу серьезно тебя предупредить. Чужие мысли могут сильно влиять на людей, и действительно влияют на них даже тогда, когда такое специальное намерение или направление посланной мысли отсутствует. Здесь действует все та же причинно-следственная цепь — закон этической причинности. Именно эта цепь, проходящая через все воплощения человека, определяет низкое или высокое нравственное состояние его в данной жизни на земле. В частности, враждебные мысли, исходящие от человека, могут вернуться к своему источнику, причиняя внутренние страдания или внешние несчастья именно ему. «Что посеешь, то и пожнешь», — не напрасно ведь сказано.

Ты жалуешься на трудности жизни. Полноте, так ли уж в действительности трудна она у тебя?

Полистаем страницы истории и сравним твою жизнь с жизнью людей тебе известных, которые представляются нам сегодня счастливыми. Цитирую, не выдумывая:

«...Кто этот музыкант, играющий на пражских улицах и благодарно принимающий у прохожих медяки на обед? Это национальная гордость чехов — Дворжак.

...А этот человек в пальто и перчатках, склонившийся над нотами в холодной, нетопленной комнате? Это Моцарт. Он был так беден, что не смог купить себе даже дров.

...Вот уже две недели я питаюсь хлебом и водой, — писал Сен-Симон, — работаю без огня. Я все продаю, вплоть до одежды, чтобы оплатить издержки на переписку моих трудов.

...Мария Склодовская-Кюри, с чьим именем связано начало атомной эры, падала в голодные обмороки.

...Эдгар По, голодавший всю жизнь, весной, когда расцветали одуванчики, собирал их. С женой они варили их и ели.

Так ли живешь ты, как эти люди? Нет, не так.

А сколько шума и грохота вокруг твоих мнимых несчастий. У тебя здоровое, плотное тело, сильные руки и ясная мысль. Ты нормально питаешься и спишь в мягкой постели. У тебя четыре комнаты на двоих, пусть даже и мизерных и вместе с кухней, тем не менее, есть ванна, стиральная и швейная машины, холодильник и газ. И ты считаешь себя несчастной?

Единственное, что можно принять во внимание — это временная жизнь без мужчины. Я нахожусь в таком же положении, однако, понимая, что это временно, принимаю как должное и, возможно, полезное.

Муж в тюрьме. Действительно, неприятно.

Но и это обычное дело. Вот примеры.

Был предан проклятию Спиноза, сослан Полибий — величайший историк древности.

Пушкин, Лермонтов, Чернышевский — познали опалу и ссылку. Навсегда покинули Россию Герцен, Англию — Байрон, Германию — Эйништейн и Фейхтвангер. Колумб вернулся в Севилью в оковах. Кортес, завоевавший Мексику, подвергся опале, Пизарро — умерщвлен, а Нуньес де Бальбоа, открывший Тихий океан, — обезглавлен.

Сократ, так много сделавший для благоденствия своих сограждан, ими же был приговорен к смерти.

Три с половиной века люди смеются и плачут, перечитывая «Дон-Кихота». Тот же, кто доставлял им эту радость, был гоним при жизни и не раз тяжелые ворота тюрьмы захлопывались у него за спиной.

Тюремный хлеб был знаком и Даниелю Дефо. Он, автор «Робинзона Крузо», был дважды приговорен к заключению. Это над ним, выставленным у позорного столба, глумилась толпа. Это его собирались подвергнуть публичной и постыдной казни — обрезанию ушей.

Бомарше, автор «Севильского цирюльника» и «Свадьбы Фигаро», также много лет провел в тюрьме.

А участь Радищева и Достоевского?

Это судьбы великих. Трагедии же людей незначительных с точки зрения истории, таких как мы, например, еще более многочисленны. А сталинские времена? Не единицы, а миллионы сломанных судеб, и не на войне, это особый счет, а вне ее.

У каждого своя судьба и свой путь жизни. И здесь нечему и некому завидовать, не о чем сожалеть. Нужно достойно пройти свой путь, независимо от оставляемого на нем следа, пройти путь в согласии со своим внутренним качеством — душой. Но для этого необходимо всю свою жизнь стремиться познать эту душу.

...Что нового у Леши Косырева? Он просил у меня книгу Сенанкура «Оберман». Передай ему. У меня на нашей полке его книга «Россия под властью царей». Он оставляет эту книгу мне, но ты верни и ее».

29 августа. «...Две недели до отпуска. Дождусь я его или нет. Так устала. Руки болят. Перед отпуском много работы.

...Погода плохая и мы с Любашей немного простудились, но твои рецепты нам не подходят. Ты, конечно, можешь сморкаться хоть через рот, хоть через задницу, методы йогов тебе всегда хорошо удавались, но это не для нас. ...Как-то мы смотрели фотографии. Когда Любашка увидела твое фото, сразу решила, что это папа. Я очень удивилась, так как разговора на эту тему не было. Теперь Любашка села писать тебе письмо. Первая строчка, по-моему, отлично, только она ее писала справа налево, вообще она немного левша».

5 сентября. «...Нас выселяют в Таллинн, в добровольно-принудительном порядке. Обещали решить этот вопрос в течение сентября».

1 октября. «...Геночка, переехали! Все свалено в кучу, еле нашла бумагу написать тебе. Квартиру у меня приняли без ремонта, но все-таки подписали дрожащими руками, раз уж начальство распорядилось. Матросов дали, машину дали. Денег все равно ушло почему-то много, все по мелочам. Документы

снесла на прописку. Ой, я ж тебе не написала какая у нас квартира...».

8 ноября. «...Мне пришли алименты 3 рубля 60 копеек!!! Такого еще не было. Ты отпускные что ли получил?

...Мы, наверное, должны быть тебе благодарны за твое руководство из подземелья. Благодаря твоим стараниям меня в прокуратуре встречают как старую знакомую, и уж вы-то с прокурором, наверное, друзья.

...Ты, по-моему, в министерство забыл написать. Давай их, тормози, пусть они все заботятся о твоей семье, ты что ли обязан. Пенсию какую-нибудь выхлопochи, или билеты бесплатные в кино, или там еще что-нибудь.

...Когда я еще была в Палдиски, на мой адрес пришел перевод на 10 рублей из Львова (Деньги послал освободившийся из заключения Михайло Горинь — прим. авт.).

...Из Ростова пришел перевод в Калинин на мамино имя, тоже, кажется, десятка, от Абанькина Андрея Сергеевича (видимо, от отца заключенного Витольда Абанькина, находящегося в Малой зоне вместе с Гавриловым — прим. авт.). Они понятия не имеют кто это. Видишь, сколько денег мне приходят, а получить не могу, то фамилия не та, то адрес не тот. Займись-ка расследованием».

12 декабря. «...Мы проболели всю неделю, поэтому писать сейчас не буду, сил надо набраться. Хочу только спросить, что значит «у меня все более-менее благополучно»? Расшифруй немедленно, чего ты там еще заработал?

...Деньги мама получила все и нам прислала. Спасибо. Но больше так не делай.

...Папочка, поздравляю с Новым 1972 годом! Веди себя хорошо. Любашенька».

31

Закончив просматривать письма, Гаврилов вновь уложил их, аккуратно стопочкой, в чемодан и пошел на первый этаж в свой барак на второй ярус.

Верующий лежал уже, ожидая, когда выключат свет, чтобы можно было, на колени встав, начать молиться.

Гаврилов разделся и тоже лег, но спать не хотел.

Странное ощущение вызывают воспоминания, письма, — думал он. — Все прошло давно, а читаешь — снова реальность. И переживаешь опять, страдаешь, но, иногда, и радуешься.

Новогодней радости, однако, Гаврилов не понимал.

Чему радоваться, — размышлял он, подложив руки под голову, — что на целый год стала ближе смерть?

А мы живем так, будто неизбежный переход Туда нас и не касается вовсе. Но касается же, и коснется каждого непременно. Почему же тогда радостно так: с новым годом, товарищи! Поцелуй, смех, когда в пору бы плакать.

Год ушел, 365 дней канули в вечность, а что мы?

В 365 раз стали умнее, добрее, хотя бы терпимее друг к другу? Ничуть. Такие же балбесы. Все та же безответственность, какая была и год, и два, и десять лет назад.

Тело стареет, уже зубов половины нет и согнулась спина, и вырос живот, голова облысела, а внутри — та же грязь, те же пороки. Еще и хуже.

Какая-то здесь загадка природы, какая-то тайна, что живет человек, как бредет — в полусне, в полуяви.

Ту же Гаврилову взять, письма ее.

Что ни скажет — все истина, от которой тошнит.

Жалобы мои надоели. Переехала бы она в Таллинн, если бы не жалобы эти вплоть до Генерального прокурора. Но это вряд ли бы что изменило. Когда же пошла информация за рубеж, когда оттуда уж просочилось на российские веши, что семья политзэка Гаврилова без средств, без надежды на нормальную жизнь — тогда лишь сработало. Тогда лишь вызвали и сказали: бумагу пиши.

Сюда же, ко мне в преисподнюю, такой красивый ответ: «На Ваше заявление сообщаем, что Ваша жена — Гаврилова Г.В. 4 сентября 1971 года написала заявление на имя депутата Верховного Совета ЭССР тов. Севастьянова Д.Т. с просьбой обменять занимаемую ею площадь в гор Палдиски на равноценную в гор. Таллинне. Ее просьба была удовлетворена... Вопросы о предоставлении работы по специальности и устройства ребенка в детский сад не решались. Председатель Палдиского горисполкома П.Лапшов». Лапшу на уши и навешали Гавриловой.

Гаврилов лег на живот, увлекся этой операцией переезда. Свет выключили, и Верующий молился уже, то поднимая задницу к потолку, то опуская ее долу.

Знает она депутатов каких, смешно сказать, — продолжил размышления свои Гаврилов. — Вот простота. Дали бы ей квартиру такую, да в Таллинне — в столице Эстонии, если бы Запад не ударил в звоночек. И матросов

тебе, и машину, и без ремонта иди, радость наша. И вне-сли почти на руках ее в хоромы: и две комнаты приличных тебе, и лоджия, и просторная кухня, и большой коридор со встроенными шкафами — живи и радуйся, радуйся и живи. Вонючую дыру ей бы нашли, и не в Таллинне, а в такой норе, что ей и не снилась. И тащила бы туда на себе свои пожитки. Сама же пишет «добровольно-принудительно» — и не может понять. И на работу затем устроиться никто не мешал — техническим редактором в «Советской Эстонии». И Люба в садике оказалась.

И вообще, эти бабы — глупость одна. Бандероли — до сих пор темный лес для нее.

А тогда — адреса потерять, и молчать об этом. Я, как дурак, — возмущался Гаврилов на втором этаже своей плацкарты, — письма пишу с добавлениями для матери в Ленинград, для Марии и для Наташи в Москву, думаю, что она отрывает что нужно там и шлет адресатам, и удивляюсь потом, что два и три месяца ответов нет от Наташи и Маши, а мать мне: почему не пишешь, сынок, может, случилось чего? Письма же у нее, мертвым грузом застряли — адреса потеряла. Так сообщи — повторю адреса.

Да что с женщины взять. Дальше беременного пуза своего разве видит что женщина? Потом — дальше ребенка. Потом — дальше морщин на лице.

Все, что угодно, сделает женщина, только не то, что нужно, не то, что просят. Адрес Леши, видите ли, не нужен ей: «Он, слава Богу, не заезжал, — пишет, делится сокровенным, — и я не собираюсь к нему». А что у нас переписка с ним — ей наплевать. Так и прервалась переписка с Лешей.

Бритву прошу электрическую, лезвия теперь не položены здесь. Нет — бритва дорогая, пришлю тебе лезвия и, вообще, «китайскую бородку сбрил ты непонятно для кого». Или в другом откровении: «Почти три года ходил с бородой и еще походишь».

Бабы, как дети, только и понимают, когда их глядят или когда их бьют.

И ощутил Гаврилов сквозь закрытые веки, почувствовал все лицом своим, что света прибавилось. Открыв глаза, заметил, как необычно двигались по потолку пятна света. Проектор включили, — подумал он, — а что еще? Машины за зоной?

Еще час бродил бы Гаврилов по лабиринтам воспоминаний, если бы вдруг не заревела сирена. Как кипятком, ошпарила она спящих эзков. И по коридорам уже сапоги. И по лестницам сапоги, подкованные сапоги охраны. По всем комнатам крик — хлыстом по нервам: «Вставать! На проверку... Становись... Живее... Живее... Подъем!»

Офицеры, надзиратели — все на ногах.

Боевая тревога — слетел Гаврилов со второго яруса вниз. Эки с матом, со сном — одевались, вываливали в коридор, строились поотрядно.

А в стены уже, как пули, вгрызались фамилии:

...Хальдманн... Кандыба... Калинец... Осадчий... Бутман... Кнох... Мешенер... Гаврилов... Буковский... Чекалин... Богданов... Светличный... Антонюк... Павленков... Глузман... Пидгородецкий... Ковалев... Мелех...

И дальше... И дальше... Эки шумят, зло матерятся: «Душу мать — не дадут поспать».

— Прекратить разговоры!

И снова: фамилии, фамилии, фамилии...

Наконец — тишина. Подводят итог. Не сошлось что-то у них — и все сначала: фамилии, фамилии...

Видно где-то побег, — решил Гаврилов, — иначе с чего бы такая прыть, арифметика на сходимость.

Если побег — по всем зонам тревога: вдруг еще не хватает где? И мотаться им, сапогам, по холмам целую ночь. Да попробуй найди — тайга кругом. Полетят, конечно, погоны — за побег по головке не гладят.

Но и для тех, кто в бегах, тайга не чай с сухарем, а достойный противник. Неопытный путник застрянет там, как топор в бревне — скоро не выскочишь. Бытовик же в бегах — хуже волка матерого с подбитым глазом. Коса на камень нашла сейчас в этой тайге: кто кого — вопрос жизни и смерти.

Однако, бывало и так, знатоки говорили, что покрутятся так беглецы неделю в тайге, ну от силы — две, если же лето — то несколько больше, и снова сами тянутся в зону. С добавленным сроком дальше сидят, уже притихнув.

До большой земли добираются мало, лишь самые-самые, кому все одно — и так, и так расклад один: матушка смерть. Выбирают свободу: а вдруг удача.

Сейчас же какой случай пришел? — никто не укажет.

Да это и не трогало здешних эзков. «Завязывай, давай, — неслось повсюду, — двух ног подсчитать не могут, математики хреновы». «Только у баб в промежности им палки считать, а не эзков». Разойдется так местный фольклор — не скоро затихнет.

У Гаврилова же свой интерес: наблюдал он сейчас эти сонные лица, будто вырванные из другого мира, из жизни другой.

Юку Хальдманн — молодой эстонец, он же — местный йог, учитель Гаврилова. Мог на сутки и двое в самадху уйти. И сейчас он стоял, в этом строю, ногами здесь, а сознание его — далеко бродило от здешних мест: может быть в Индии, а может — в Европе. Закрыв глаза, он был отрешен и лицом, и телом от этих стен, от гула и ропота, от охраны и эзков.

Сколько бесед было между ним и Гавриловым об этой йоге. И какие книги Юку раскрыл перед ним: Мокшадхарма — Основы Освобождения, Бхагавадгита — Песнь Бхагавата. Подарил с посвящениями: Дхваньялоку — Свет Дхвани, о семантической структуре поэтической речи, и, что особенно было важно Гаврилову, как символисту, подарил Юку и второй том Абурейхана Бируни, книгу, «содержащую разьяснения принадлежащих индийцам учений. И подписал:

«И горы, как люди, чем выше, тем круче и резче судьба, тем большей опасностью дышит идущая вверх тропа»

Да, — подумал тогда Гаврилов, — я не решился бы оторвать от себя драгоценность такую, а Хальдманн отдал, и даже мускул не дрогнул у него на лице, как вот сейчас, в строю, — спокойно и с улыбкой доверил Гаврилову самое дорогое. На то и йог — вперед продвинутый человек, задвинутый, правда, властями в медвежий угол. Эстония и Сибирь — каково расстояние?

Пидгородецкий Василь стоял спокойно, весомо, не мельтешил, подобно Гере, у которого в заднице будто торчало что. Еще в малой познакомился Гаврилов с украинцем Василием.

Пидгородецкий был горбуном и, как все люди такого склада, с мощной грудью и силой в руках. Гаврилов поначалу-то с болью смотрел на него, а потом, познакомившись, и горб-то этот перестал замечать.

По тюрьмам и лагерям Пидгородецкий Василь и Михайло Сорока в одной упряжке почти и шли — оба волевые, оба сильные духом. Но гноят у нас и сильных людей, как в поле картофель. Василя и взяли-то не как всех, а особо, изоштрившись особой хитростью. Неуловим был Василь, но вот в город из леса вернулся по каким-то делам и его проследили. Шел он по улице. И народ рядом шел. Две девки-малярши с ведрами да кистями обогнали его. Да что-то упало у них. Он поднимать — глядь, а наручники уже на руках. Кагебистками были «малярши».

Здесь и мужики навалились. Одним-то им — не взять бы Василя.

Бутман Гиля и Мешенер стояли рядышком, как два грибка, дремали, зевали, особенно — Гиля. Но и Иосиф носом клевал. Напахавшись в кочегарке, проснешься не вдруг, а тут — среди ночи. Дружили они, Иосиф и Гиля, хотя и шли по разным делам.

Вот, что плохо у Гаврилова было, а у Буковского хорошо, это то, что не вникал Геннадий в суть этих дел.

За что вот сидел Иосиф, или Сашка Чекалин, или Гера-смутьян, да те же украинцы: Иван Кандыба, Игорь Калинец, Михайло Осадчий? Не знал Гаврилов. Знал только, что Ваня — юрист, а Игорь — поэт, что Сашка — глухня, двадцать раз повторил, пока разберет. Глузман Семен — психиатр, отказавшийся тогда пахать запретку. Его дело известно — решил восстать против карательной психиатрии. Теперь восстает вот, как птица Феникс, каждое утро и каждый вечер на этих проверках. А сегодня и ночью пришлось восстать врачу Семену. А Иван Ковалев, любитель таблеток, ну — учитель он, а сидит-то за что? Или Мелех-Философ, приятель Гаврилова, — что у него? Отчего, почему это так у Геннадия? Буковский ведь все знал и про всех, а Гаврилов вот — нет.

Безразличие что ли к чужой судьбине?

Объяснялось же просто: стеснялся Гаврилов в другую душу залезть, не умел выпрашивать и выпытывать. Относился ровно ко всем, с уважением — за что бы ни сел рядом живущий. Все они, да и я сам, — думал Гаврилов, — всего лишь жертвы, приравненные к планке одной, к одному ординару. И смысл всех их разных дел — совершенно один. Как Катька Маслова, не виноваты были они в том, что содеяли. Виноваты — никогда невинные вла-

сти, создавшие жизнь по лжи, отобравшие у людей надежду, согнув их в дугу. Но дуга, естественно, распрямиться стремится. За это стремление и сидят они здесь.

Зачем разбирать детали, на которые он и в своем-то деле наплевал почти, — считал Гаврилов, — если ясен принцип, если видно и так — каков человек, каков характер. Судили за то всех их здесь, что головы подняли и с колен поднялись.

Наконец, закончив проверку, распустили их вновь по своим постелям — разошлись по гнездам своим надзиратели и охрана.

Но эски, взбаламученные суетой и этой проверкой, толкались еще в коридоре, матерились, курили, сидели на короточках по углам, гадая, где побег мог случиться.

Гаврилов же сразу в постель и мгновенно заснул, лишь подушки коснувшись.

И вновь снилось ему громадное здание с длинными и кручеными переходами, галереями и балконами, книжными полками и стендами, с множеством кабинетов и комнат. Он бежал по лестницам и проходам — кого-то искал и не мог найти. А повсюду люди — что за балаган непонятный и странный? И кого он ищет здесь растерянно и упорно? Но вот окликнули его с балкона. Оглянулся Гаврилов — стоит человек у самых перил. Но кто это, кто? — не мог разобрать. Так и ушел он в глубокий сон с неразгаданной тайной.

Таким же неясным был поначалу еще один сон, давно, в малой зоне еще, в конце августа прошлого лета, того 72 года, когда в апреле возили его в Москву по делу Якира, когда в мае жена была рядом и не дали свидания, когда в июле умерла его мать, а узнал он об этом лишь в ноябре, когда он гадал: приедет ли снова жена или в этом году, таком неудачном, и просвета не будет.

И вдруг такой сон.

Шел он по рыночной площади вместе с Галей. Взявшись за руки, бродили они вдоль прилавков, выбирая продукты: фрукты, овощи, какие-то сладости. За ними в очереди милые девушки, знакомые Гали. Гаврилов видел впервые их. Они же улыбались ему, пожимали руки, советовали и то купить, и вот это. Затем он с Галей дальше пошел. Направились к дому. Вошли, но странно: она — с

одного крыльца, он — с другого. И когда он вошел — она уже в комнатах.

Ну, Галя — понятно, — думал он утром, — свидания жду — и в голову лезет всякая всячина. А девицы причем? Кто такие, откуда? Как и с этим мужчиной, что стоял у перил, не мог он решить вопроса с девицами.

А дня через три телеграмма ему: «выежаю из таллинна 22 ответь телеграммой галя.

И было свидание у него тогда с любимой женой.

С отцом и матерью — у Тимофеевича. Так уж совпало.

Вместе и жили они три дня в доме свиданий, но в комнатах разных. Третья была на замке. В ней тогда и шмонали Гаврилова, когда прибыл он в зону, когда как хотели крутили его егеря и сзади, и спереди.

— Ты в прошлый раз в этом и приезжала? — спрашивал он, не веря, что вот она рядом, жена, знакомая незнакомка.

— В этом, в этом.

— Во сне я и видел тогда эту кофточку, синие брюки и тяжелую сумку.

— Действительно, все твои сны сбылись. Вообще, весь тот приезд был неудачен. В апреле получила от администрации уведомление, что ты переведен в учреждение ЖХ-385/17 на станции Потьма, а недели через две — твой денежный перевод с почтового отделения Явас. Кто морочил мне голову: ты или администрация?

— Никто не морочил. Взяли на этап в Москву по делу Якира. Потьма — перевалочный пункт. Лагерное начальство туда и направило. А дальше дело не ее, а конвоя. Перевод же, как обычно, в конце месяца — из Яваса. Там управление — оттуда и перевод. Письма же уходят из поселка Озерный. Проверит местный опер или кум, если нет ничего такого, хряп печать — и адресату.

— А две телеграммы мои в прошлый раз получил?

— Куда ехать и где находишься?

— Да.

— Получил.

— Расстроился, наверно, что не встретились?

— Галь, ну ты что? Конечно, расстроился.

— Я, кстати, в прошлый раз с заместителем начальни-ка говорила.

— С кумом, наверно. Любят они подставлять вас для бесед с нами.

— Не знаю — кум или брат, но поняла, что ты не очень-то хочешь к семье вернуться. Ты ешь, ешь.

— Да о чем ты, ерунда какая-то, — чуть не подавился Гаврилов куском вареного мяса. — Ты только слушай этих начальников. Нагородят тебе целый короб и тележку в придачу.

— Да нет, не наговорят. Голодовка была в прошлый год, как я уехала. Без тебя не обошлось. Не хотела говорить об этом, но раз уж зашло.

— Успокойся ты. Не суди о том, чего не знаешь. Гнильем стали кормить, что, прикажешь, тщательно пережевывать и глотать, — и отложил это мясо, лимонадом запил.

Чувствовал он, начиналось не то свидание, как в прошлый год — без лишних вопросов и в тихой радости. Тогда и спросила только: «Что санитар-то пришел? Что ему нужно? Болен ты что ли?» — к нему испуганно. А он ей в шутку: «Да так, ерунда». Не мог же сказать он ей про инфаркт и что он из санчасти, и что врач была против ее свидания. «Тренируется санитар давление мерить да клизмы ставить, — пояснил Гаврилов тогда, — случайно забрел, чтоб пути ему не было».

И не было искры той в этот раз, которая проскочила между ними тогда еще, на суде, когда он за барьером и она в трех шагах — и двое солдат по бокам между ними.

Только и смогли на суде взглядом обняться, только и смогли угадать, как измучались оба разлукой. И пять минут, что отвел прокурор им на свидание, словно пять секунд — сном пронесли да ветром от окна до дверей.

И если в прошлый год Гаврилов воспринял ее внешне здоровой и бодрой внутри, то сейчас этой бодрости ей уже не хватало ни в словах ее, ни в объятиях.

Сорвалась та пружина, что держала ее все эти года. И звенела сейчас, дрожала — и раздражалась в вопросах ее и в ее ответах.

— Ты же знаешь, Гена, что шесть лет для меня слишком уж много. Стоит ли нам еще мучиться, я просто не знаю.

— Успокойся, Галочка, возьми себя в руки. Полсрока все же прошло. Пройдет и остаток.

— Вот не писал ты долго. В чем дело? В карцере что ли сидел?

— В каком карцере? — удивился Гаврилов. — С чего ты взяла?

— Ну не работал ведь. Тогда, значит, болел?

— Откуда у тебя информация-то такая?

— Алименты я получила за апрель 1 рубль 39 копеек. А раза два мне присылали по 8 рублей. Не работаешь. Не пишешь.

— Я же говорил тебе — возили в Москву. Не работал значит. И какая переписка с этапов.

Но она вроде и не услышала ответов его. Была уверена, что гоношится все еще муженек, политик нашелся, что в каждой бочке затычка — и на семью ему наплевать. И на этот раз надо выяснить все, во всем разобраться. Не для него — для себя. Все же Слава ждал от нее ответ. Все же надеялся. А здесь надежды как свечи гаснут одна за другой.

— Мне бы хотелось, — она продолжила тяжелый для них разговор, — чтобы тебя перевели в другой лагерь. Самому тебе трудно остановиться.

— Ты попроси замначальника по режиму, пусть переведут меня в тюрьму хоть какую и, обязательно, в одиночку. Тогда я уж точно остановлюсь, — попробовал было отшутиться он, повернув разговор в другое русло.

Но она настойчиво свое продолжила:

— Хоть и началась вторая половина срока, но уж очень оказывается она большая. Правда, когда ты написал, что во всем этом есть часть и твоей вины, мне как-то стало полегче. Я ведь думала, что во всем я виновата: и в судьбе Парамонова, и в испорченной жизни Салюкова. До сих пор у них не наладилось ничего. А матери нашей за что все это? Про себя я молчу, знаешь, что бросил с грудным ребенком, без работы, без денег. И за эти три года, которые я прокопалась в говне, покорно тебя благодарна.

Все, что привезла она, так и лежало теперь на столе, почти нетронутое и не попробованное им.

— Ладно, Галя, если уж все так серьезно, на грани все, я обдумаю наше положение и твою позицию. Любаша-то, наверное, до сих пор так и не знает ничего о своем отце — добавил он удрученно.

— Про Любашку я тебе говорила уже, стоит ли повторять? Зачем заранее травмировать ребенка, пока есть возможность оставить ее в неизвестности. Придет время — все встанет на свое место.

— А как у тебя со Славой? — все не решался спросить он и, наконец, спросил.

— Никак. Я писала, что командование части запретило ему ездить ко мне.

— Ну, разве это серьезно? Как можно запретить взрослому человеку посещать одинокую женщину?

— Так, — сказала она, давая понять, что разговор на эту тему исчерпан.

И когда вошли они в ночь, когда она была рядом с ним, такая теплая и желанная, когда он обнял ее легонько и забыто поцеловал в мочку уха, в щеку и в губы...

Когда уснула она, и он снова остался в ночи один — разное навалилось на его сознание, но, в основном, тягостное и тяжелое.

Конечно, — размышлял Гаврилов, — не влезь я в эту чехословацкую эпопею — служил бы мирно, капитан-лейтенанта получил бы уже — собиралось начальство подавать рапорт на его повышение. А разработанная им система автоматического пропуска личного состава через контрольно-пропускные пункты атомной лодке? Доклад ведь был у него на эту тему и на кафедре вычислительной техники, и перед командованием части. Приглашали перейти ведь ему на эту кафедру. И все сломалось. Права жена — сам виноват. Миллионам людей плевать же было на все эти чехословацкие и около-чехословацкие проблемы — на то Правительство есть, на то Партия, наш рулевой. Он же сунулся — нате вам. Самый умный нашелся. Да, от мудрости до идиотства лишь шаг шагнуть. Он и шагнул. Но на всякий горшок найдется крышка. Нашли и ему. Так что и моя вина во всем этом деле имеется. И Слава — лишь результат тобою сделанного.

Всегда вот так Гаврилов обращался к себе в третьем лице, как третейский суд, когда осматривал свои дела, свои поступки.

Конечно, бабе без мужика, — терзал он дальше себя, — нелегко весьма — и прожить, и природное справить. Оно ведь требует своего — тело-то. Есть примеры, что жены и ждут. Но это больше литературные слюни. Жизнь

сложнее и проще. В жизни не думаю я, чтобы были Джульетты. Самец всегда ищет самку, самка всегда стремится отдаться самцу. Конечно, Галя не поддается минутной слабости или прихоти, но случайность коварна. Шаг за шагом, незаметно совсем, смотришь — уже в постели.

Жил вон на Зыхе, — вспомнил Гаврилов, — в городке под Баку, где стояло училище, молодой самец из гражданских. За добрым пивом, а на Зыхе как раз пивной завод и был, рассказывал он молодым курсантам, что трескал он словно орехи офицерских жен. С удовольствием, говорит, отдавались, без смущения и робости. А чего, — пояснял, охмелев, — обуты, одеты, рожей наеты, мужик на море, она в запое, чем заняться — поковыряться, ковырялки-профессионалки.

Выходит, Славу он сам и подставил, — заключил Гаврилов, — затянулся поход в океане жизни. А может и не было ничего особенного у них — кто ее знает...

После ночи все же потеплело меж ними — и темы сменились. Гаврилов наваливался на еду — на яйца и сыр, чего в зоне и не бывает почти.

— Ты где набрала-то такие продукты? — удивлялся он. — Где деньги взяла?

— Где набрала? — растворяла она в кипятке куриный бульон. — В Москве, конечно. Будто не знаешь. Да, привет тебе от Наташи Кравченко и Арины Гинзбург.

— Они нагузили? — и стало ясно ему про девочек в том памятном сне.

— Они.

— Наташа-то, кто она, какая? Хорошенькая? — выспрашивал он.

— Полненькая такая. Маленькая. Черненькая. Очень тихая мне показалась, и очень деловая. Меня уже ноги не держат, а она — и туда давай поедem, и здесь посмотрим. Ты ешь давай — зря что ль тащила. Что ты на капусту-то нажимаешь?

— Галя, да лучше капусты ничего придумать нельзя. В ней же все витамины.

Потом он рассказывал ей о жизни своей в малой зоне, о друзьях, познакомил, конечно, и с Юрой и сам познакомился с его родителями — сделали они визит к ним в соседнюю комнату.

Мать привезла Юре с медом алое — да будет ли польза. Сколько лекарств уже выпито им, а лучше не стало. Сейчас же опять, как назло, обострилась язва — и Юра курил, нервничал непрестанно. Больно было смотреть на него. И помочь было нечем. Да и что-то свое не улаживалось меж ними. Юра нервничал там, мать о чем-то просил и требовал что-то. Она плакала, не соглашаясь.

Геннадий-то знал, в чем проблема была. Можно было бы и Гале кое-что поручить, да он не решался. С ее настроением, разве возьмет она тот материал, что был приготовлен для передачи в Москву и дальше — на Запад. Юрина там статья была о России, что-то Владлен подготовил, что-то Гаврилов, материалы для «Хроники» были о их эзковской жизни, разное всякое — все мелко написанное на папиросной бумаге. Гаврилов и писал печатными буквами, и свернутое все в аккуратную ампулку из целлофана, сюда, на свидание, и пронес Юра в заднице.

Гаврилов не вмешивался в тяжкий спор у соседей. Он и мать понимал, как и Галю. Для жены муж дороже политики, для матери — сын дороже всего.

Ради жены он и мясо здесь ел — раз привезла. Да и потом, жена — это воля почти, и зарок на мясо пока отменить было можно — на личном свидании.

— Меня все же, — говорила она, — беспокоят твои занятия йогой. В одном фильме о йогох была фраза такая: «Начинать без опытного руководителя нельзя». А ты действуешь совершенно самостоятельно. Ты бы пыл немножко умерил.

— Почему же без руководителя. Здесь прекрасные книги. Там гимнастика йогов дана с точки зрения нейровегетологии, даны иллюстрации асан с подробным их описанием и с методикой их выполнения. Конечно, я уделяю время хатха-йоге и пранаяме, но главное для меня, все же Раджа-йога — созерцание и сосредоточение. Результатом этого — мои пророческие сны, интересные выводы в тонком теле. И потом, много времени я уделяю непосредственно философии йоги, системе Санкхья, в которой впервые в истории человечества проявилась сила и свобода человеческого духа.

— Что у тебя за книга-то?

— Седьмой выпуск переводов Бориса Смирнова «Махабхараты». С обложки и не поймешь — книга «О Бхиш-

ме» и «Побоище палицами». А в послесловии, где-то две трети книги, раздел «Санкхья и йога». Да не беспокойся ты. Не враг же я своему здоровью.

— Не враг, но меры не знаешь. Посмотрела я утром, как на башке стоишь — ужасно. А эти твои задержки дыхания на пять минут.

— Не на пять, конечно, на две-три.

— Все равно. Я очень серьезно к этому отношусь, даже с опаской. Но я все-таки надеюсь на тебя, ты же не будешь делать хуже себе, а значит — нам. Просто хотела тебя предостеречь. И если я шучу по этому поводу, то уж без насмешек.

— Видишь ли, Галя, — они сидели рядышком у стола и он обнимал ее, как особую драгоценность, — может быть на воле я брошу йогу. Но здесь она меня держит, дисциплинирует, не позволяет скиснуть, сникнуть. Мне так легче переносить все это. Вот лето еще, хотя и хмуро, но выйдешь утром за час до подъема, полумрак, туман за заборами, холодновато даже. Автоматчик на тебя в упор — метров сто от него до места, где сажусь я в асану. До проволоки колючей метр-полтора. Сосредоточишься, уйдешь в себя — и нет вроде этого кошмара рядом, будто свобода. Да и одно то, что делаешь нечто свое, автоматчику и проволоке неподвластное, уже радость. Расскажи лучше, как твои дела дома? Как мать, как сестра?

— У Тани ничего пока. Растит Максима. Когда я была у них, в июне, посмотрели с ней сразу два замечательных фильма «Ромео и Джульетта» итальянский и «Гойя» в основном наш. Так что можно теперь полгода не ходить. Любашку водила в цирк. После цирка она все показывала, как тигры рычат. А в цирке переживала, что воздушные гимнасты упадут. Вообще, я тебе скажу, она в породу Гавриловых. Что поделаешь.

— А мать?

— Мать работает. Отец пьет.

— С садиком-то решили вопрос?

— В садике я договорилась, что Любашку оставят на лето, если я уйду и устроюсь на другую работу. Подала заявление на увольнение. Прошло две недели — работу я не нашла. Меня с увольнением остановили и обещали сразу отпустить, как только понадобится, и то заявление останется в силе. Разумеется, на новом месте мне никто

бы не дал отпуск за свой счет, чтобы приехать к тебе. А просто уволиться и уехать, и потом болтаться неизвестно сколько между небом и землей я не могу.

Но любое начало имеет конец. На третий день, когда оставалось им вместе быть часа три, опять напряглось что-то у них, опять расшаталось. Скорбели сердца, что вот снова в зону ему, что снова ей одной в своей новой квартире. Она только что и заканчивала о ней говорить.

— В комнате с лоджией живем мы с Любашкой, в другой — квартиранты, три девочки. Все деньги какие-то, — завершила она квартирный вопрос.

Вот эти три девочки, живущие с ней, и дернули Гаврилова за язык:

— Теперь и в гости-то к тебе неудобно прийти — посторонние люди. — Сидел ведь Слава у него в мозгу все это время. И целую жену — видел Славу. И обнимал ее — вот он здесь, рядом. Она поняла его мысль и взвинтилась:

— Давай не будем опять выяснять. То, что я хотела услышать от тебя, я услышала. То, что я хотела сказать тебе, я сказала. Ты опять за свое. Но давай вспомним твое, если уж завел ты опять эту тему.

— Да, ладно, Галь, прости, проехали уже.

— Нет, не ладно. В короткий срок нашей совместной жизни разве были мы вместе? Ты вспомни то время, когда ты в Палдиски был молодым офицером. И когда я уехала в Калинин всего на два месяца — и приехала с Любой. Там многое что изменилось. Настолько многое, что можно было забирать ее и ехать обратно.

— Ну что ты, Галя. Не передергивай. Ты же знаешь, чем я занимался. Был же ввод войск. Готовилась книга. Писалось письмо. О чем ты говоришь?

— Ладно, я не хочу сейчас об этом, ты сам вынуждаешь. Это сейчас ты пишешь и говоришь, что я нужна тебе. Но если бы это всегда было так, ты не сделал бы свою жену одинокой в 28 лет, а ребенка сиротой. Еще на прошлом свидании я не могла услышать слов, которые появились у тебя только сейчас. Еще в прошлый раз я могла уехать, сказав слова Лушки из «Поднятой целины»: «Ну и живи со своей разлюбленной мировой революцией». А я все ждала, когда же тебе будет нужна семья, а не «мировая революция». Вот дождалась. И этого мне вполне достаточно, чтобы ждать тебя.

— Ну прости, Галочка. Я не прав, — и он обнимал ее и целовал в губы.

— Давай прекратим выяснять отношения. Нам сейчас нужно только терпение. Хоть ты и пишешь в пространных письмах своих о себе только то, каким хотел бы себя видеть, я знаю и то, какой ты есть на самом деле. И это не является помехой в моем отношении к тебе. И, пожалуйста, не жди от меня отчета в каждом шаге, если бы я даже хотела так отчитываться, я бы не смогла — не хватит моих способностей.

— Давай успокоимся, все. Остался нам час.

— Твое отношение ко мне я знаю теперь, и мне этого достаточно — закончила она.

И он стал помогать ей собирать сумку.

— Доешь котлеты-то, не везти же обратно, — она к нему.

— Да ты что — смотреть я не могу уже на это мясо.

— Попроси, может, с собой разрешат.

— Заверни немного, вдруг пропустит начальник. Вот этот кусок давай завернем. Хоть ребят угощу.

Расстались они. И вошел он в зону, в эту проклятую зону, и этот проклятый год, в котором ждало его еще несчастье.

А на следующий день опять он и Юра шили «перчатки» — грубые рабочие рукавицы с парусиновой на резине прокладкой. Игла не шла по резине, нитка рвалась. Но если маслом смазать место прошива, то можно пахать — шить рукавицы.

Кот Васька привычно грелся у Юра за пазухой. За два года почти он так и не освоил шитье рукавиц, как ни старался Галансков научить его этой важной работе. И то резон — без рукавиц и могилу не вырыть и печь не сложить. Хотя — хороший печник лишь голой ладонью кладет кирпичи.

Решив с матерью нужные ему дела, Юра успокоился и язва поутихла у него — поднялось настроение, да и погода была теплая, чуть облачная, правда, несколько душноватая. Но к вечеру духота спадет и станет совсем хорошо, несмотря, что сентябрь уже под носом.

— Все-таки неизвестность такая противная штука, — говорил и шил свое Гаврилов.

— Скажи, Васька, чем же она противная, эта неизвестность? — ткнулся Юра губами в Васькин затылок, и потом уж к Гаврилову:

— Василий говорит, что ему все наперед известно и этой сложной проблемы нет у него. Это людям только не ясно все, да сложно, а у котов все понятно и просто.

— У котов, наверное, так, как и вообще у животных, а у меня химеры, преувеличения, напряжение нервов и прочая ерунда.

— Это со временем пройдет, Гаврилов, — шумел машинкой Юра, — сколько тебе сейчас?

— Тридцать три, мы же ровесники.

— Ну, милый, к сорока годам рассосется все. Бывает, что и пятимесячная беременность рассасывается у баб, а уж химеры-то непременно рассосутся.

— Как это, рассасывается? — удивился Гаврилов.

— Обычно, — наклонился Юра к Гаврилову из-за шума машин. — В Китае или где, может в Японии, не помню сейчас, муж садится на корточки против жены, которая с брюхом перед ним на стуле. И вниз живота будущий отец начинает говорить своему будущему ребенку, что мол так и так, не время тебе, неразумное дитя мое, сейчас рождаться. Политическая обстановка в стране не та: инфляция в экономике, рост преступности. Сам должен понимать — погоди чуток. Так несколько дней кряду рассказывает ребенку что и как в стране. Тот слушает, смекает и — рассасывается. Обратно уходит, как ты — в астрал.

— Ладно врать-то, ты где научился так?

— Вот шью рукавицы и учусь.

Рукавица за рукавицей, минута за минутой, слово за слово — течет беседа. Нос к носу сидя, можно и поплясывать. А потом что-то зашло у них о справедливости.

— Так вот, справедливость, она рано или поздно торжествует всегда, Гаврилов.

— В сказках, Юра, в сказках. Сказки же любишь, должен знать. Или в поэмах. Не мне тебе говорить.

— Раз в поэмах, значит и в жизни. Это запомни. Вот в этом логика всемирной истории и есть.

— Ладно, допустим. Но поздняя справедливость кому нужна?

— Детям нашим и нужна.

И оба уткнулись в свои машинки, пару за парой бросаю под ноги сделанное ими.

Не так ли и жизнь свою мы бросаем под ноги и топчем, топчем ее остервенело и зло.

Умудрил бы Господь, да премудрость Его не подходит нам. Высоко слишком и — далеко. На земле же иной расклад, иные проблемы. Разгрести бы их, потом уж и к Господу.

А 13 сентября, в день рождения Гали и в именины Гаврилова, «пьянствовали» они. Сливки сгущенные пили с шоколадом и ели молоко с жареным хлебом. Потом уж и чай. Затем гуляли от забора к забору, на полянке сидели, читали стихи:

Пушай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты.

Прочел он Юре и письмо от Наташи:

«...Галя мне понравилась уже в письмах, а при встрече особенно. Она и собой хороша, и мила, и очень деловой и организованный человек.

...Есть в ней еще одно замечательное качество — терпимость, и это, я думаю, главное для того, чтобы между вами восстановилось полное взаимопонимание, надо только подождать. Я убеждена, что в письмах и при свиданиях выяснение отношений невозможно, да и время ли сейчас для этого».

Не обошлось, конечно, и без логики. Юра был для Гаврилова тем хорош, что умел внимательно слушать — курил свою трубку и не мешал собеседнику, если это не касалось, конечно, принятых им для себя принципов.

А логика эта, с которой приставал к нему Гаврилов, таких принципов его не затрагивала.

Галансков считал себя пацифистом. И с этой позиции своей смотрел на мир и оценивал его. Кот Васька был дороже и понятнее Юре, чем гавриловские логизации.

— Когда ты закончишь свою логику, — шутил Юра, поглаживая рукой Ваську, свернувшегося доверчиво у его ног, — я приеду к тебе на грузовике. Мы твою логику погрузим, привезем ко мне домой, и я остаток дней своих буду ее читать. И, видимо, умру не добравшись до середины.

— Я, Юра, составлю для тебя краткий курс, ну, например, в сто томов.

— Это еще ничего — можно будет ходить по комнате.

Мало-помалу наступала осень — ветер менялся на северный, небо заволакивалось тучами, моросил временами дождь, листья быстро желтели и падали на влажную землю. И тепло все заметнее покидало эти края.

Все мрачнее становился Юра.

Хандра и утомленность наваливались и на Гаврилова. Борясь с ней, он писал жене длинные письма. Во и сейчас пересказывал кратко «Ветку сакуры», большую статью Овчинникова. Она тем привлекала Гаврилова, что там приводился обширный материал из работ других путешественников и лиц, посетивших Японию. Борис Пильняк писал, например: «Я знаю: то, что создается веками, не может исчезнуть в десятилетия». Это он писал о Японии, но Гаврилов-то думал, читая это, о родной России.

Пятьдесят лет уже коммунисты заботятся прежде всего о своих личных интересах и привилегиях, отодвигая все другое на задний план, на потом, или просто уничтожая, что мешает достижению этой цели. Партийный деспотизм, в насмешку именуемый диктатурой пролетариата, уже принес России неисчислимые бедствия. Вековое стремление россиян к равенству и братству, используемое большевиками для захвата власти в России, во что превратилось оно, во что его превратили — в лозунг, в бу-мажку, в трепотню. Циркуляры, указы, запрещения заменили свободу и братство.

Восстанет ли Россия из пепла? Сохранит ли веками накопленное в вакханалии безумия и произвола? Ведь и зерно татарского ига веками засеивалось. До сих пор собираем плоды.

Да, — думал Гаврилов, — без политической свободы не выйти России из тупика. Чем это прокляты мы, что японцы могут устроить жизнь красиво, разумно и справедливо, а мы, россияне, нет. Гниль в нас какая-то что ли заложена изначально или порок какой? Будто Дьявол оседлал Конька-Горбунка и гонит, гонит его безудержно к пропасти вместе с Иванушкой-Дурачком.

И Георгий Победоносец не охранил.

И Архистратиг Божий Михаил до сих пор в ножнах держит свой огненный меч.

«Моральные устои, — пишет Овчинников, — пусть даже лежащие где-то глубоко от поверхности, — это алгебра человеческих взаимоотношений».

Моральными устоями и жила Россия. Церковь-то, прежде всего, — школа нравственности для народа, а потом уж — иконы да поклоны, как основание для поклонения — для уважения: родителей, братьев и сестер, взрослых и престарелых.

Отсюда уважительно и к природе — к деревьям, растениям, животным. И дальше уже естественное преклонение перед Природой и премудростью Творца.

Японская мораль постоянно требует от человека огромного самопожертвования ради выполнения долга признательности и долга чести.

Когда-то и на Руси признательность и честь ценились высоко. А что сегодня? Страшно подумать, не то что сказать. И что мы все к Европе, да к Европе, как банный лист к жопе, когда такая глубина духовности и мудрости, когда такое стремление к совершенству в Японии, да и в Индии.

Отчего это мы на западные железки насмотреться не можем? В железные цепи и заковали Россию. Замки кругом повешали и ключи утеряли.

Не получилось у нас ни моста между Востоком и Западом, ни крыльев Птицы, раскинутых между ними.

Прав Юра, конечно, одухотворяя природу, наделяя ее святостью и красотой. Да поэт без этого и не поэт вовсе, а так — стихоплет.

А в Юре самом-то святости сколько. Язва мотает, а он не озлобился, готов последнее другому отдать, помочь чем может. Отчего хороших людей судьба всегда бьет, и бьет беспощадно, чтоб с ног свалить.

Как христиане говорят: если тяготы жизни, значит Христос не забыл человека того. Может, не забыл и Россию?

А у буддистов: благополучное воплощение считается бесполезным, если человек не сумел достойно распорядиться данным ему с пользой для дела.

Но ведь и государства воплощаясь живут.

России, к примеру, от рождения сколько дано от востока до запада, а где результат? Может от этой нерадивости все горести наша, несчастья все.

Как у Матфея в Евангелии, получивший от господина один талант, закопал его в землю, чтоб сохранить и отдать, когда вернется хозяин.

Пришел хозяин, а раб ему: нате вам, сохранил, не потратил.

Лукавый ты раб и ленивый, — ответил хозяин, — вместо того, чтобы в дело пустить и мне прибыль дать, ты в безделии прохлаждался. Люди, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, который из пяти наработал пять, «ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов».

Не про нашу ли Россию сие предсказание?

Не идем ли мы спешным шагом, зарыв в землю таланты России ко всеобщему плачу и зубовному скрежету?

В эту осеннюю хмурь все ходил Гаврилов с такими мыслями о России, и часто с Юрой на эти темы вели беседы. И Владлен подливал масла в огонь со своей демократией. Во многом сходились они, но во многом и разъезжались по разным станциям.

— Будет свобода, парламент, примат конституции над самоуправством — все и поправится, — уверял Владлен.

— Если, конечно, поймет человек свое единство с природой, — дополнял его Юра.

— Пока махровый эгоизм в людях сидит — не выйти нам к свету, — подытоживал Гена.

Но как-то в раннее утро, когда над соснами белым саваном навис туман, и они, словно призраки, стояли в задумчивости, стали вдруг малую зону снимать с обжитого, привычного места. Стало начальство списки читать кто едет с кем, формируя на дальний этап партии эзков.

Суматоха в зоне, суета. Кругом мешки, чемоданы, коробки. Эзки компаниями то там, то здесь — прощальные сходы за кружкой чая. Отвальную отмечают почти со слезами. Тюрьма тюрьмой, а сжились промеж собой люди.

И будто у каждого отрывали что, если одного туда, а друга — куда-то.

Одна машина ушла. И еще одна. Кто остался — в напруге, в лихорадке какой-то ввиду перемен. Все шныряют быстрее обычного: что спрятано у кого — надо достать, да

вновь упрятать, чтоб с собой увезти; что на шмоне возьмут, то сжечь, порвать, выбросить в туалет, но врагу не отдать, — все одно пропадет; что не сказано — надо сказать, утрясти, прояснить.

И когда одна из машин загрузилась уже и ей отъезжать, вдруг сектант Хромой выскочил на двор из барака, быстро и ловко, не смотри что больной. Его и зэки уже кричали, и начальство звало — пора было ехать, а он все бараке. Теперь же с палкой в руках и мешком за спиной, не к машине пошел, а метался по зоне, кричал, как мог, этим людям, заблудшим и падшим:

— Опомнитесь, антихристы! Бросьте суету свою пагубную. Без искания Господа не пройдете в Царствие Небесное. Время грозное наступило! — и он хватал всех за руки, останавливая, — Армагеддон поглотит вас. Как солома вспыхнете! Как солома!

Но «антихристы» не видели времени грозного — все грозное для них миновало уже. Все были заняты своими узлами — и не было дела им ни до Господа, ни до Армагеддона его.

Супермен, сидя на ступеньках крыльца барака, по струнам неистово бил и зычно пел. Ему подхватывали, кто был еще здесь: Я много лет пиджак ношу давно потертый и не новый...

Не знал из них каждый кого куда, но слухи ходили, что вроде на север, а может — в Сибирь, возможно — в пермские закоулки.

И Гаврилов чемодан проворачивал, книги укладывал и тетради, белье ворошил. Для него основная идея была — сохранить свои записи, проскочить с ними дальше, через этот этап, через зону ту, пока еще новую, и дальше — на волю. Однако и сидела в сознании мысль, что пока не возьмут, оставят еще его здесь, в этой вот зоне. Когда же собрался совсем, когда все уложил и упрятал подальше, что нужно упрятать, вдруг сказали ему: остаешься пока. Чемоданы под койку — и вновь он бродил между бараками от забора к забору.

Оставили и Владлена. И Юру оставили. Николай Иванов к этому времени уже был на другой эзковской зоне.

Остались почти пустые бараки. Второй ярус кроватей оголился почти. И койки снимали, чтоб свободнее было дышать в бараке.

Владлен и Гаврилов устроились рядом — койки впри-
тык и вблизи окна. И Юра с ними, через проход — от Гав-
рилова справа. Общая тумбочка теперь у него и у Юры.

Стало вольготнее на эковском пяточке, вернее — на
гривеннике, огороженном колючей проволокой и дощатым
двойным забором. Но не надолго.

Нахлынули люди из соседней зоны, откуда вышел на
волю Косырев — и шумно опять. Год и три месяца с того
дня прошло, как гуляет Алеша на воле-вольной и счастье
жует, загребая радости Большой уже зоны. Полнится сча-
стьем, наверное, сердце его, — думал Гаврилов.

Сам же Гаврилов, в малой зоне и в тюрьмах, пробыл
уже тысяча двести семнадцать дней. И не видно на гори-
зонте, когда и он сможет нырнуть в Большую зону, под за-
боту и опеку родимой власти.

«Эх, мать-перемать, разве даст она пропасть» — по-
вторял афоризм этот часто Гаврилов, когда было плохо
ему — не столько сердцем сколько душою.

И сейчас эти новые сложности, переезд неожиданный,
его будоражили, волновали его.

Примерялся Гаврилов — почему их оставили, почему
не везут?

Ну, Юру понятно — по болезни могли не взять, не дое-
хать он может до далекой Сибири.

Владлена оставили, чтоб в пути не мешал: случись на
этапе чего — протестов и жалоб в мешках не упрешь,
лучше оставить.

Но Гаврилов-то что? Тихонький вроде — и его задро-
били. И уже октябрь — а они еще здесь.

В этот настрой, напряженный и тяжкий, когда Гаври-
лов, чтоб уйти от него, с особым усердием занимался йо-
гой — случались у него на границе сна видения всякие как
реальность почти. Одни уходили, не оставив следа в его
памяти утром, другие — застревали надолго, заставляя
обдумывать их, разгадывать смысл.

А этот сон и совсем был чудной. Видел он город. И
большие дома удивительной формы. Река и набережная.
Мост через реку. Он быстро всходит на мост и взлетает с
него, и парит над рекой, поднимаясь все выше и выше над
городом в небо. И город уже далеко позади. И квадраты
полей. Наконец, и спуск в незнакомое место на маленькой
площади. И много людей разноцветно одетых.

После июля, когда умерла его мать, а он об этом и не знал еще, часто на гребне сна он видел почивших. И женщина все повторяла ему, что пора ей обмыть троих усопших. Что за смерти? — терялся Гаврилов.

Но случилось потом, что трое и вышло.

Все эти переводы и переезды, перемещения из зоны в зону, расставания и новые встречи измотали Юру вконец. И после работы он все дольше лежал, уже не читая, не занимаясь ничем. Как-то под вечер, когда сидели Гена и Юра друг против друга на койках, снял Галансков очки и потер глаза.

— Вот что-то, Гена, мелькает и мелькает перед глазами — огоньки какие-то. А то как будто пламя вспыхивает и внизу, в позвоночнике, здорово отдает. Что это, а? Раньше же не было.

— Трудно, Юра, сказать. В позвоночнике важные центры. При напряжении, особенно нервном, они могут давать такие явления: светлые точки или круги, галлюцинационные образы и вспышки света. Посмотри, как ты сильно измотан. Весь организм сейчас у тебя, как струна натянулся. Вот она и звенит, а зрительно — огоньки и огонь. Не обострение ли болезни, думаю я. Не обижайся, Юра, но посмотри — что ты делаешь сам над собой.

— Ты опять за свое, моралист ты хренов, — перебил его Юра.

— За свое, за свое, — не унимался Гаврилов, так он жалел болящего Юрку. — Жаль тебя не кому в угол поставить. Курить-то нельзя. И чай не в меру.

Слушал Юра, не перебивал. Или понимал, что прав Гаврилов, и не стоит ему отвечать, или лень возражать уже было — сколько они так-то проговорили всего.

— Ты не понимаешь этого что ли? — Гаврилов к нему.

— Эх, Владимирович, — неожиданно по отчеству назвал его Юра, облокотясь на спинку кровати и держась за живот, — жизнь так трудна и сложна, а ты хочешь лишить меня и этих маленьких радостей.

— Да отчего же, Юра, искать упоений в вине, когда оно буквально разлито в жизни.

— Вот ты и слизывай языком свое разлитое, а я как-нибудь уж из бутылочки выпью, — и скривился в улыбку.

А ночью разбудил он Гаврилова, что бывало нечасто, чтобы он беспокоил кого, — изматается весь, но слова не скажет:

— Гена, мне плохо. Врача бы позвал.

Гаврилов не вахту — и в двери ногами:

— Врача давайте, Галанскову плохо, — и матом почти, что открыли не сразу и звонить не бегут:

— Идите, Гаврилов, звонили уже.

— Еще звоните. Что вы, е..... м..., когда нужно что, так вас нет! Упустили Михайло — и Галанскова хотите?

— Идите, вам говорят, на место, — уже зло лейтенант, — карцера захотел?

Оказалось, что к сестре уже дозвонились, и идет она, на подходе уже. Больно долго идет, — все не мог успокоиться Геннадий Владимирович.

А Юра крутился на постели своей. Наконец, в санчасти сестра, и в барак, и к нему. Укол и таблетки. Но боль не проходит. И терпеть уж нельзя — кричит уже Юра:

— Везите в больницу! Вы же видите — плохо мне!...

Но увезли его только под утро.

Утро было ясным и чистым. Небо прозрачным. Господи, — молился Гаврилов, — пусть Ангелы Твои поддержат его, подхватят на свои сильные крылья, не дадут упасть. Сохрани его, Господи, для этой жизни еще. Неужели данные Тобой муки так и не воздадутся Юре радостью бытия, хотя бы малым, но счастьем, хотя бы слабым, но светом.

С горизонта, как белые лебеди, медленно и степенно тянулись хлопья кучевых облаков. К вечеру небесная синь закрылась серым, темным, густым. Затянуло. Ветер и холод.

Несколько дней валялся Гаврилов после работы на своей доске, положенной под матрас, чтобы было пожестче и ровнее спине. Забросил чтение, забросил и йогу. Сердце билось в тяжком предчувствии. Вспомнил он из недавно прочитанного романа Тагора «Дом и мир»:

«В мире животных нет ничего более необычного, чем человек, когда он одинок. Даже тот, чьи близкие и родные все умерли, один за другим, даже тот не один — и за гробом, и отделенные от него завесой смерти, они с ним.

Но тот, чьи близкие, чьи родные живы — и стали далеки и чужды ему, у кого в доме, полном множества людей,

нет ни одного друга — вокруг того такая тьма, что даже звездам жутко смотреть на него».

Наверное так, — думал Гаврилов, закрыв глаза и отдаваясь молитве о Юре.

Два с лишним года были они плечом к плечу, слово к слову, улыбка к улыбке. Два с лишним года поддерживали они один другого насколько могли. И хотя молчаливым Гаврилов был, хотя чувства свои не пер наружу, но в сердце своем он чисто и сильно привязался к Юре.

А теперь вот оно как? — он руки за голову заложил, не открывая глаз, отрешаясь от всего, — сколько пробудет он там, в больнице? Привезут ли сюда, когда отсюда увозят? Да и он — надолго ли здесь?

Через день, когда сумрачно было и серо, тоскливо и одиноко, когда он, пересилив себя, листал «Огонек» и встретил стихи:

О, космос-человек с глазами и душой!
Он любит, он казнит себя, поет и плачет.
Попробуй загляни в него и всем открой
Те тайны, что в себе содержит он и прячет.

Именно на этой последней строчке подошел к нему надзиратель:

— Гаврилов, соберись быстро и с вещами на вахту.

Ну вот и поехали, — подумал Гаврилов.

20 октября Гаврилова уже встретила Потьма.

Какие-то песни в душе отзвучали,
И с чем-то проститься настала пора,
Как будто окончилась в жизни игра,
И слышится шелест вечерней печали.

И погода была печальной — дожди и дожди. Но, говорят, хорошо, если дождь на дорожку.

Какой новый путь начинается Гаврилов?

Нового пока ничего — все тот же извечный путь поиска Истины.

Сквозь века движется человек к заветной цели.
Сквозь материю и время.
Сквозь пространство и душу.
Да будет путь его плодотворен.

А 23 из Москвы он летел уже в Пермь. Сон его сбывся.

24 октября Гаврилов вошел в пермскую зону — в 35-й лагпункт. От Перми в столыпине — до Всесвятской, дальше в воронке — до самой зоны.

Но еще восемь месяцев надо было прожить Гаврилову здесь, прежде чем в зону из владимирской тюрьмы был этапирован Буковский.

Летел Гаврилов сюда с Владленом. В наручниках оба, вокруг охрана. В самолете еще размышляли они, как встретит их зона. Встретила запросто — знакомыми эсками. В сентябре еще, в самый зной, прибыл сюда большой этап из мордовских зон — в том числе и из 17-й малой.

Но столыпинский поезд доехал сюда с одним мертвым эком. Жары не стерпел, когда железо вагона было горячим словно раскаленная печь, когда духота, как парилка в бане. Было плохо ему. На стоянке позвали врача. По инструкции врач положен в этапированном составе.

Купался спокойно доктор в местной реке и был доволен — помешали ему. Поезд с эсками может долго стоять в тупике — загореть бы успел, в воде порезвиться не раз и не два.

Теперь же — одевайся вот из-за этих засранных эков, в жопу им бинт. И вылез нехотя из воды. Тело отер полотенцем махровым. Мундир пригладил. Лениво поднял с травы фуражку. И неохотно пошел к этому поезду, мать его в душу. И пока на насыпь залез, потом — в купе причесался, потом галстук поправил, затем уж к вагону пошел, в котором тот эк. А он уже мертвый. На скорую руку составили акт — и просто списали случайно умершего.

Шумели эки, вагоны качали, но много ли сделаешь в запертой клетке.

Все это здесь уже рассказали им, Гаврилову и Владлену. А в бараке за чаем все свои: Коля Мелех, он же Философ, на радость Гаврилову, Александр Чеховской, Пидгородецкий Василь и еще из украинцев: Михайло Осадчий, Иван Кандыба, Калинец Игорь.

Стали и Гаврилов с Владленом обживать на месте новом.

И хотя пермская зона размером больше была раза в четыре их прежней — мордовской, но по сути своей малой осталась. Малой по тому пятаку, огороженному заборами и колючей проволокой, но великой — по духу, окольцованных в зоне эков, по их характеру, по их воле к сопротивлению и стремлению выжить.

32

ИЗ ПИСЕМ

1972. 27 октября. «...Пермь встретила чистым голубым небом, солнцем и теплом, широтой пространства и спокойствием. Чувствуется настроение Сибири. Устраиваюсь на новом месте».

14 ноября. «...Прежде всего сообщаю, что 22 июля умерла моя мама. О ее смерти сестра известила меня лишь в ноябре — отец не велел, пока сам не оказался в больнице.

Это первая новость, полученная мною на новом месте. И стала ясна причина гнетущего и нервного состояния, в котором я находился все эти месяцы неведения. Обычно я не хранил писем мамы, но последнее письмо ее, написанное за месяц до смерти, как бы предчувствуя эту смерть, я оставил.

Почти в каждом письме молила она о смерти, жалуясь на скверную жизнь и болезни, а здесь вдруг «пока ничего, слава Богу» и лишь тяжело от жаркой погоды. И только одно желание, кроме желания смерти, у нее еще было: «Не дождусь я того времени, когда встретимся».

Теперь вот и отец в больнице, разбитый параличом. Надежды на выздоровление нет.

Этот год действительно слишком тяжел.

...Смерть матери, моя жизнь и твоя судьба, судьба близких мне и знакомых — все это заставило меня на многое взглянуть по-иному. Вероятно, эту перемену ты заметишь и по моим письмам».

15 ноября. «...Гена, ты пишешь нам о Японии и Индии. Ведь это занимает много времени, а как твоя работа по философии? ... Писала ли я тебе, что Любаике прислали зимнее пальто из Москвы ко дню рождения? Наташа покупала и посылала. Помнишь, ты говорил, что мне еще что-то причитается? Это 50 рублей. Я купила себе зимние сапоги.

...Геночка, я не знаю, тебе писали или нет. У Юры была операция. Только ты не очень расстраивайся, в общем, он не выдержал операции.

Это было 8 ноября в Потьме. Мне Наташа вчера звонила, чтобы узнать твой новый адрес.

... Если я тебе первая об этом сообщила, очень тебя прошу, не расстраивайся. Наташа говорит, что это нормальный

исход такой болезни. Я тебе не могла не написать. Любая правда лучше неизвестности».

17 ноября стало известно в пермской зоне о смерти Юры. Все, знавшие его, собрались в рундучной. Устроили сходку. Уточнилось, что умер Юрий Тимофеевич Галансков, политзаключенный Советского Союза, 4 ноября.

Уже после операции, когда казалось, что все позади, когда только нужно было телу набраться сил, чтобы остаться жить, этих сил тогда нигде взять ему было. Болезнь одолела истощенное тело — и он ступил за край земной жизни.

Тело не отдали родителям. Оказалось, что оно секретное, как и все дела на Руси, неправые, темные дела и делишки Правящей Партии.

Приехали в Мордовию друзья и родственники, чтобы проститься с ним и крест поставить, христианский крест, на малом холме его большой и трудной жизни.

33 года было ему, когда он погиб. Воистину, распяла его Партийная власть на Кресте Беззакония.

Было решено на сходе, что день смерти Юры, день 4 ноября, отныне считать Днем Политзэка — днем политических заключенных Советского Союза. И каждый год решено также было отмечать этот день во всех зонах ГУЛАГа.

Потом устроили Тимофеевичу поминки — простым зэковским чаем. И свернули сигарки из обычной махры.

Вечная слава Павшим
в неравной борьбе со спрутом ГУЛАГа.
Вечная память стоящим прямо,
Когда гнули всех, кого можно согнуть.
Дорогой Друг, я знаю —
сильные крылья Небесных Ангелов
подхватили тебя у края могилы.
Не дали упасть.
Не дали разбиться о камень,
жестко вставший на твоём Пути.
Лети, мой Друг, к Звездам.
Я верю, что и оттуда,
из дальних далей Звездного Мира,
Ты будешь помогать нам,
как и здесь помогал,

словом своим и делом,
бескорыстным примером
своей чистой и светлой жизни.
Мир Тебе и Вечная Память.

23 ноября. «...Геночка, вчера получили твое письмо. Слова здесь, конечно, ни к чему, но я очень хотела бы быть сейчас с тобой. Пожалуйста, не чувствуй себя одиноко, ведь у тебя есть Любашика и я. И мы тебя так ждем. Один раз Любашенька выскакивает из ванны и сразу задает мне вопрос: «Мама, где мой папа живет?» — а в глазах такое нетерпение, даже щечки покраснели.

Я сказала, что ты в Перми живешь, и приедешь, когда мы пойдем в школу».

30 ноября. «...После всего случившегося за последние несколько месяцев — смерть матери и друга, болезнь отца — нет желания писать о чем-либо, а тем более — философствовать. Смерть за нас философствует. Недавно мне встретилось одно стихотворение Радиарда Киплинга. Его книга «Маугли» хорошо известна. Так вот — это стихотворение очень поддерживает меня здесь. Особенно эти строки:

Умей заставить сердце, нервы, тело
Служить тебе, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только воля говорит: «Иди!».

...Сейчас мне особенно плохо и тяжело. Замкнулся в себе и все думаю, думаю — о смысле жизни и смерти.

...Смогу ли я продолжить беседы о Индии — сомневаюсь, ввиду того, что многое нужно переосмыслить, вновь просмотреть сделанное и попытаться прозреть свой дальнейший путь».

12 декабря. «...В связи с переменой адреса (временно вывезли Гаврилова, Павленкова, Бутмана и Геру в Пермскую тюрьму подальше от лишних с ними хлопот, — прим. авт.) пошли переводом рублей 10, поскольку у меня абсолютно нет денег на ларек и, из-за болезни желудка, мне совершенно нечего здесь есть кроме, разве, чая и хлеба.

Может быть поставят на диету, но это маловероятно. Поэтому и прошу денег».

18 декабря. «...Мама недавно прислала письмо, пишет, что очень волнуется, что у вас случилось, в чем дело? Я написала, что небольшие изменения и неприятности. Гену переводят из

лагеря в лагерь, по-видимому, ему все не нравится, никак не может остановиться.

...В Калининне сейчас очень плохо с продуктами. Мама говорит, хорошо что не работаю, все в очередях стою. В Таллинне с продуктами хорошо.

...Гена, я посылала телеграмму-запрос о разрешении мне общего (четырёхчасового, — прим. авт.) положенного свидания во Всесвятскую. Мне ответили, что ты переведен.

Сегодня узнала новый адрес и послала запрос в Пермь. Если разрешат свидание, то москвичи обещали помочь с деньгами».

21 декабря. «...Наташа писала мне о возможности свидания. Я очень ей обязан за бескорыстную помощь, которую она оказывает нам.

Пусть хотя бы радость нашей встречи окрасит начало нового года. Но в связи с праздниками свидание разрешено лишь после 10 января».

28 декабря. «...Милый мой! С Новым годом! Здоровья тебе и твердости духа. Твоя Галя».

1973 год.

Восходит Новый Год,
как восходит Отец его — Солнце.
Восходит Новый День,
разрывая черноту уходящей ночи.
С болью вспоминаю этот прожитый год,
но спокойно гляжу в лицо грядущего,
делая следующий шаг в вечно приходящее завтра.
С наступающим Новым годом вас, дорогие мои.

10 января. Телеграмма: «из таллинна выезжаю 12 галя».

11 января. Телеграмма: «карантин выезд отложи геннадий».

31 января. «...Я вновь во Всесвятской (пос. Центральный). У нас настоящая сибирская зима — горы снега, лавины ветра и плотная пелена мороза.

Температура между 30 и 40 градусами обычна, по утрам и под вечер — переваливает за 40.

При безветрии можно терпеть».

7 февраля. Телеграмма начальнику учреждения ВС-389/35: «на мое имя пришла посылка с вещами мужа обеспокоена получением прошу разъяснить почему мне пришли его вещи гаврилова»

10 февраля. «...В связи с переездами (Озерный—Центральный—Пермь—Центральный) произошло недоразумение с моими вещами: три чемодана и две коробки.

Все это медленной скоростью шло из Мордовии в Пермскую зону, поскольку меня и Владлена без вещей переправили в Пермь самолетом.

Вещи пришли в новую зону, а меня именно в это самое время переместили в Пермскую тюрьму. В стране ожидалась амнистия — и нас убрали из зоны, чтобы в случае чего мы не влияли на эзков. Это было мероприятие другого ведомства — ведомства КГБ.

И тогда администрация лагеря, поскольку меня уже не было во Всесвятской, не зная куда меня вывезли, опять же медленной скоростью направила вещи по месту ареста мужа — в Палдиски, а уже оттуда — к тебе в Таллинн. Так что, если дошли до тебя мои вещи, не волнуйся — я жив и здоров.

(Среди этих вещей и находились как раз все бумажки Гаврилова: его тюремные и лагерные дневники, его письма и разного рода конспекты, его научные изыскания, а с ними — и многочисленные размышления о смысле своего земного существования).

Волею Провидения все было устроено наилучшим образом — без проверок и шмонов, без нервов и без потерь все доставлено было по месту жительства. Доставлено для того, чтобы эта книга смогла состояться — прим. автора).

Часть вещей придется тебе отправить обратно. Посылкой или как, это еще предстоит решать с начальством. Дело в том, что в результате этой «военной операции», иначе не назовешь, я остался зимой без одежды и обуви, не считая того, что было надето на мне во время этапа осенью. Но сейчас зима, и притом Сибирь. И здесь сильный мороз.

Жалко и книги — два чемодана. Придется упрашивать, чтобы разрешили вернуть хотя бы некоторые из них. Теперь ведь запрещено получение книг из дома, от родителей и друзей, только — книга-почтой и на свои деньги.

Неудача и со свиданием — карантин. Скорее всего, и не было карантина, да сказали так, чтобы не дать свидания — как проверишь. А вдруг эти эзки отправят что-то на волю в связи с амнистией — обойдутся без родственников. Короче — ждать свидания придется до мая.

19 февраля. «...Вышли посылкой: фуфайку, шапку зимнюю, шарф, рукавицы, рубашку нательную, трусы, носки простые и

носки шерстяные, ботинки яловые, тапочки, носовые платки. Из книг учебник эстонского языка. О получении этих вещей есть договоренность с администрацией. С оставшимися вещами поступи по своему усмотрению.

...Этот год для меня не менее мрачен, чем предыдущий. 6-го января умер отец, не прожив и полгода после смерти мамы. Осталось еще...

...Ты серьезно подумай, стоит ли тебе со мною мучиться. Похоже, что я для тебя тяжкое бремя. Кроме того, после освобождения нам легче не будет».

9 марта. «...Отправила тебе две посылки. Старые ботинки выбросила, положила одни новые. Старую шапку тоже пришлось выбросить, побоялась, что она развалится в дороге. Гена, многие вещи ты не записал, и я послала то, что может тебе пригодиться. ...К 8 марта я получила от тебя письмо, правда, оно оказалось для Наташи.

...Один раз мы с Любашей были в городе, она и спрашивает, глядя на манекены: «Мама, что такие тети прилипные стоят? Прилипли и не идут». Ну что тут ответишь ребенку. Говорю, это манекены, сделаны вроде как скульптуры (про скульптуры я ей раньше объясняла), а вообще, вырастешь, сама поймешь, зачем эти чучела выставлены.

А вот письма писать мы еще не умеем. Вернее, понятие «письмо» еще не ясно. Во посылка — это понятно. Всегда спрашивает: «А что бабушка прислала?»

И никак не поймет, почему присылается иногда один листочек весь в кудряшках и как же я все это там нахожу. И вообще, Гена, я ей стараюсь не напоминать о неизвестно где существующем отце. Она и без нас насочиняет то, что ей проще. То у нее папа на самолете летает, то на корабле и скоро жевачки привезет, это потому что жевачка в магазинах не продается, а приносит ее в садик тот, у кого папа в загранку ходит. Ну, что ты ей скажешь на это? «Нет, твой папочка не на самолете и не на пароходе». А где же тогда? Много ты книг накупал по воспитанию, только ни в одной из них ничего подобного не написано».

25 марта. «...Последние несколько дней, особенно по утрам и особенно сегодня, опять что-то тревожно на душе. Или все не могу опомниться после трех-то смертей. Сбылся мой сон о трех покойниках. Или что происходит у вас. Пишут мне, что ты сникла совсем и чувствуешь себя прескверно.

Галя, друг мой единственный, разве не ты писала, что мы должны выдержать? Как мы все живем, разве это жизнь? Это медленное умирание всего нашего общества. Но в тупиках этого умирания надо все же найти тропу, ведущую к свету Воскресения и Вознесения. Будем же крепко держать друг друга за руки, чтоб не упасть.

Два года осталось, ну — чуть больше двух лет. Но мы же вынесли уже вдвое больше, мы прошли более худшее время. Пройдем и оставшийся нам путь. Поможем друг другу устоять и преодолеть. Надеюсь, что в мае свидание состоится. И эта встреча даст нам сил и надежду на еще один год, и еще.

29 марта. Письмо от Николая Иванова с воли:

«Дорогой Гена! Очень давно я должен был взяться за бумагу и написать тебе, да и не только тебе. И не потому, что лень или что-либо другое. Просто мне оказалось слишком трудно прийти в себя после ноября. Настолько тяжело и настолько все безнадежно в последующем, что ни о чем конкретном писать невозможно. Как-то ничего нет твердого и постоянного. Очень все вокруг зыбко, хотя, многое потеряв, многое и нашел. Об одном только молю Господа, чтобы не отнял у меня то, что дал.

... Не удивляйся, что обращаюсь вдруг на ты. Просто иначе уже не могу, да и не мыслю нас обоих в прежних отношениях, хотя были они и неплохими. Теперь ведь все иначе. Так и думаю, и хочется, чтобы и ты думал так же.

...И вот еще что, давай договоримся заранее — со всеми просьбами ко мне. Очень многого обещать, как ты и сам понимаешь, не могу, но все, что в моих силах и возможностях, всегда исполню.

... Чувствую, что очень одиноко у вас там (я имею в виду тебя, да и твой характер), но не так уж и долго. Трудно сказать, где лучше, как бы это парадоксально не звучало.

... Был у Светланы (жены Павленкова — прим. авт.), да она, наверное, и сама про это писала. Встретили очень трогательно и тепло. Впервые в жизни получил от женщины цветы.

Обнимаю и надеюсь, что все устроится у нас обоих.

Привет Владлену. Твой Николай».

33

Так и жил Гаврилов после октября, после переезда сюда, в пермскую политическую, замкнуто и одиноко, потрясенный и удрученный смертью друга, смертью матери,

смертью отца. Теплилась надежда в нем, что, решившись на операцию, вырезав злополучную язву, воспрянет Юра, вылезет из болезни, оправится окончательно и будет жить еще и жить, и писать стихи, раскаленные, искренние, стихи поэта, глубоко коснувшегося самых потаенных впадин человеческой жизни. Отсюда и творчество его могло бы стать особенно проникновенным и истинным. Без соплей, без сюсюканий — справедливым и праведным.

Но по иному было начертано на Небесах. И с этим начертанием не мог смириться Гаврилов, не мог забыть Тимофеевича, который так был нужен здесь Геннадию, и не только ему.

С таким настроением и встретил он свое 34-летие. Не напомнил о нем никому, не сказал даже Владлену. Заперся у себя в кинобудке (здесь киномехаником он теперь — прим. автора), в которой, в основном, он и находился все свободное от сна время — отделенный от всех, запертый не только дверью, но и душою, и листал бумаги свои, письма, открытки.

Последняя телеграмма от мамы на день рождения в прошлом году, развернул он листочек:

«...желаем отличного здоровья счастья жизни».

Вот оно его счастье — разрушенное и одинокое, раздавленное государственным сапогом, беспощадным и бездушным. И последнее письмо от мамы здесь, за месяц до смерти. Разглядел он его, внимательно всмотрелся в мамин почерк — школьный, начальный. Можно сказать — и не училась она вовсе, не кончала гимназий:

«...Мы очень рады, что ты жив и здоров. Пишу о себе ...Здоровье мое пока ничего, слава Богу. Ну рука, так, по-старому, пальцы не сгибаются. Но все приходится делать самой ...В прошлом году кроме твоего письма, никто не поздравил меня с днем рождения. 25 июня исполнилось 62 года. Старуха стала. Вот и все, сынуленька Гена, нового пока ничего нету ...Погода стоит жаркая. 32 градуса. Тяжело очень. ...Гена, получишь письмо, пиши скорее ответ...».

Не получила больше Анна Васильевна ответа от сына, не дождалась.

А это письмо от сестры, где она пишет о болезни и смерти матери, затем — и о болезни отца. А вскоре, в конце января, пришло письмо и о его кончине. Писала сестра:

«...Извини, что не сообщила сразу. Не до этого было, ведь тебя все равно не отпустили бы ...Выглядел он очень хорошо. У него был такой вид, как будто уснул.

...Вот мы и остались с тобою сиротами. ...У меня после потери папы и мамы какая-то тоска на душе, которая все не проходит. Нет, я не одинока, но временами так тошно — хоть волком вой».

Конечно, его не отпустили на похороны ни к матери, ни к отцу. Наше гуманное правосудие верно считает, что заключенному излишние волнения вредны, даже опасны. Умер кто из родных — похоронят и без него, заключенного. Позаботится Советская власть, все уладит. Прежде всего о человеке забота. Сидишь — и сиди себе тихо. Чем тише, тем лучше. А не хочешь тихо — отправим в штрафной изолятор, или в карцер, или в тюрьму — лучше еще.

Прочитав эти письма, совсем сник Гаврилов, расстроился до слез на глазах — в свой день рождения.

Сегодня он не ждет поздравлений. Как мышь, он залез в нору и тихо сидит. Ничего не надо ему: ни чая, ни слов, ни даже желанных снов не надо, ни открыток. Разве что от Юры взглянуть, что писал Тимофеевич в прошлом году. Последняя о нем память, последние строчки его на открытке. По 33 стукнуло им в 73-м. Тогда писал Юра ему о вершинах: «...но пыльные Икары все же летят к Солнцу на крыльях из воска».

Юра взлетел к своему Солнцу. Начертал на Небе траекторию своего Полета. У меня же, — размышлял Гаврилов, — зигзаги одни, одна неустроенность, замогильность какая-то. И от Владлена тогда была открыточка:

«До возраста Иисуса Христа ты дожил — жми дальше. Но не забудь и воскреснуть».

Если бы это воскресение зависело лишь от желающего воскреснуть. Но тысячи обстоятельств, над которыми мы не властны, прижимают к земле, и редко когда — возносят. Меня прижимают, — подытожил Геннадий. И Райво Лапп о том же писал ему:

«Поздравляю Тебя с Днем Рождения! Девиз «Через тернии к звездам» пусть будет и твоим девизом».

Но год прошел; тернии остались при мне, а звезды — в такой же дали, как были и раньше.

В дверь постучали. Кого-то несет, — подумал Гаврилов, — и чего кому надо — нигде нет покоя.

На пороге Юкку — его учитель йоги, молодой симпатичный эстонец:

— Гена, письмо тебе. На ужин пойдешь?

— Спасибо, Юку. Возьми мою порцию.

И Хальдманн понял. Без лишних слов тихо ушел — будто и не был.

Письмо от Гали. Боже, — посмотрел он на штемпель, — три недели ползло. Но именно сегодня вручили — это добрая весть.

И прочитав письмо ее, всегда ожидаемое, он долго сидел отрешенный, печальный, в забытии, в полудреме.

Потом, взяв чистый белый лист почтовой бумаги с красивым узором по левому краю, начал ответ:

«...Замечательно, что именно сегодня я получил от тебя письмо. Это единственное и самое дорогое для меня поздравление.

...А весна у нас бурная, солнечная, ручьиная. Горы снега потоками слез омыают землю. И прежняя белизна их посередела, набухла, сморщилась. Снег дарит себя земле. Земля же, снимая свои белые покрывала, невинно подставляет свое сонное тело струящимся лучам солнца, ласкающим ее и пробуждающим к жизни.

Воздух напоен голубизной и радостью. Деревья как бы задумались в нерешительности, лениво вбирая в себя тепло и стряхивая с ветвей сонливость.

Разговорились птицы. Вылезли из своих нор мухи и комары. И словно по холмам, медленно порхают в воздухе бабочки.

Тепло. Весенне. Легче дышится телу.

Разум же с новой силой устремляет меня в мир надежд. И кажется, что жизнь снова вливается в душу.

Я же отшельничаю, находя в одиночестве покой и удовлетворение. Все здешнее мне надоело, и сильно тяготит однообразие быта. Среди книг и писем мне легче. Люди же действуют на меня удручающе.

Очень хочу к вам. Кажется, лет 10 жизни бы отдал, чтобы быть вместе, чтобы все, наконец-то, устроилось между нами. Но чудес не бывает на грешной земле. Чудо творится в чистоте и в сиянии света. Вокруг же — мрак и грязь. Не в природе, конечно, — там радость бытия, там обновление мира. Но среди людей — одиночество, тоска, безысходность.

С нетерпением жду свидания. Много с собой не бери, учитывая, что я, все же, как это ни странно тебе, вегетарианец. Пожеланий особых нет — что привезешь, то и ладно.

...Отослал две книги и черновые записи по логике. Намерен и впредь отправлять понемногу, не накапливая здесь ничего лишнего. По новым правилам — нам не позволяют иметь вещей более 50 килограмм.

...На твой вопрос «Как себя чувствуешь?» ответить сложно. И плохо, и хорошо. В основном беспокоит сердце, особенно ночью и утром. То ли погода влияет (весна, бурление природы), то ли еще что — не знаю. Надеюсь, однако, как это и бывает у меня, что организм сам придет в норму с наступлением уравновешенных летних дней.

...На этом закончу сегодня — время отбоя. Но завтра продолжу немного о мелочах».

Завтра, а вернее — все лето и осень, он бродил одиноко по одинокой тропе за бараками, в самом себе находя то ли опору, то ли отчаяние.

Конечно, был здесь Владлен — и часто спорили они о политике, демократии и всяком другом политическом вздоре, поскольку, как начал видеть Гаврилов, жизнь-то идет сама по себе, ходом своим и своим законом. Все человеческое лишь мешает такому движению жизни, которого человек и не знает почти, да и знать не желает — так привлекают его лишь собственные химеры. В науке все же меньше химер, в философии — еще куда ни шло, но в политике — их целые горы, бумажные замки слов, отрешенных от реальной жизни человека и общества.

Был и философ — Никола Мелех. Но там один треп, шутка одна, видимость мысли.

Приятель Юку — природный йог. С ним еще что-то находил Гаврилов — хотя бы мечту, в Беспредельность полет, надежду, пусть малую, на иную жизнь в астральном теле. Но это так далеко, если и истина, а здесь — окружение реальности дня, занудство быта — не клетка, а клеть, летящая вниз, в преисподнюю планеты.

И где оно, Небо? Где Свет Зари, Свет нового Утра?

Тьма окружает нас — и во тьме лишь призраки жизни.

Бутман Гилель — добрый и милый. Но только хинди и соединял их на какое-то время. Внутри же у каждого — свои желания и свои проблемы.

Жена? Да может ли женщина понять мужчину?

Он и она — две плоскости, перпендикулярных друг к другу. И постель — лишь линия пересечения их. Но сферы мыслей и чувств мужчины и женщины — полярно различны, как различны состояния ночи и дня, сил притяжения и сил отторжения.

Конечно, где-то полярности сходятся, — думал Гаврилов, сидя одиноко на ступеньках сарая с эковским бабрахлом, — но схождение это вне пределов земли, вне нашего маленького, прикрученного к быту цепями, человеческого разума.

Йога не нравится ей, — размышлял он в другой уже раз в каморке своей с кинопроектором, — влияет на сердце. Да откуда ей знать, что на сердце влияет? И потом — на что мне здоровье при смятенье души?

В каждом письме как дятел долбит: не закончил ты то, не закончишь и это. Наверное, все же что-то закончил, если дочь родилась. А если серьезно?

Человечество существует миллионы лет, но оно также далеко от своего завершающей цели, как и было в начале.

Завершение — это конец. Завершение жизни — смерть. Во, возможно, смысл бытия — преодоление смерти, что реально лишь при бесконечности жизни. Но это уже вопрос не земной, а вопрос — Надземный. Но сможем ли мы выскочить из своих костей, чтоб увидеть ответ?

Я хватаюсь за многое, кажется ей, — брел он вокруг площадки, руки назад, — ничего не кончаю, бросаю. Поэтому и бросаю, что начинаю видеть никчемность когда-то начатого, его ненужность. Миллионы людей разрываются в деятельность, ничего по сути не делая. Вся кипучесть — лишь пена, мыльный пузырь, пустая иллюзия.

Сколько начертано, доведено до конца научных трудов, толстых и тонких, философских трактатов, религиозных доктрин — и все пустое. Вся наука концентрируется лишь на ложке с похлебкой, вся философия — на желудке, религия вся — на достатке земном. Устремление мысли, сердца полет, экстаз озарения — так же редки, как взрывы сверхновых.

Жизнь — много сложнее, — думал он в другой уже раз и в другой уже день, — она стоит над нашей игрой в науку и ученость, над нашей игрой в религию и политику. Она все так же Таинственна, все так же Величественна и не-

понятна, какой была перед изумленным взором неандертальца. Но он хоть чисто смотрел, без наших химер, на небо и звезды. Может, поэтому, и понимал он яснее, чем мы, в чем смысл Мироздания? Ведь зачем-то сказал нам Христос: «Будьте как дети».

Всю свою недолгую жизнь Гаврилов серьезно всматривался в ее изгибы, углы, впадины и холмы, в ее Бездны и в ее Вершины, пробуя все на вкус и на ощупь, и так и эдак. И каждый раз постигал, что плоды, оказавшиеся в его руках, — все же гнилые.

Возможно, он не закончит свою, как нарек ее Юра, «космологическую логику», поскольку уже видел внутри нее те пределы, которые человеческое мышление, пользуясь логикой, преодолеть не сможет.

Возможно, он устремится в религию, пытаясь постичь тайну и смысл Озарения и Веры, и йога его — лишь первый шаг на этом пути.

Возможно, что на радость жене, он оставит и йогу.

Как знать нам сейчас — куда забредет в своих трудных исканиях логик Гаврилов.

Но в это лето и осень, уже после свидания с Галей, которое не дало ему прежней радости и прежней близости с ней, как будто что-то холодное проползло между ними — усталость, отчаяние или что-то другое, в этот пятый июнь его заключения, Гаврилова поддерживал и не давал упасть все тот же Киплинг:

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить — мысли не обожествив.
Равно прими успех и поруганье,
Но не забудь, что глас обоих лжив.
Умей поставить в радостной надежде
На карту все, что заслужил трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том.

Уже после свидания он писал жене в одном из писем:

«...Мы во тьме лабиринта. И сквозь эту тьму пробираемся ощупью к Свету. И плохо не то, что в поисках выхода из него мы, спотыкаясь, снова и снова начинаем свой путь. Плохо, когда тьму лабиринта принимают за Истину Света.

Все, что нужно человеку, открыто. Но человек не знает, что ему нужно. Вот подумай хотя бы минуту-две над вопро-

сом: «А что, собственно, я хочу от Гаврилова?» Вряд ли на него ты ответишь определенно.

Стихийно тебе хочется, чтобы все было ясно, понятно, просто: вот я, вот семья, вот муж мой, который делает в стенке дырку. Уже видно, что осталось совсем немного, он пробьет, и это будет конец.

Ну, а дальше-то что? Ведь не заключается же смысл жизни лишь в том, чтобы свить гнездо и снести яичко.

Боюсь я, что не так ты понимаешь все то, о чем говорю я в письмах к тебе. Твои ответы наводят на мысль, что ты не желаешь читать о моих сомнениях и поисках, а моя искренность в письмах раздражает тебя своей неопределенностью».

И вот в зоне появился Буковский — лидер диссидентского движения 60—70 годов в России.

Завороженный, Гаврилов прильнул к Володе всем сердцем, душой раскрылся, инстинктивно ища в нем замену Юре. И хотя лето совершенно испортилось — дожди и дожди, слякоть и сумрак, сумрак и холод, хотя о солнце начинали они забывать почти, в душе Гаврилова все же сияло что-то еще в это мрачное лето. Что-то все же ожило в нем, воспрянуло к жизни, уняло тоску.

У Владлена свидание — и опять суета, разговоры, отвлечение мысли.

В октябре же и совсем завертелось. Снег и слякоть вокруг, не дождь, а грязь, у них же: знойные вихри степей Израильских, шестидневная война с Египтом.

Теперь и там, где бродит Гаврилов со своим одиночеством в обнимку — не за бараками, а по дорожке от вахты к столовой и от столовой до вахты, теперь по этой дорожке — вдвоем, втроем ли или один кто из них — сновали евреи, потому что над этим бараком скособоченным, где санчасть и начальство, висел динамик. И хотя рупор власти и без того орал на всю зону, они все же поближе подходили к нему, чтобы и слова не упустить из тех событий на Ближнем Востоке. И вновь подходящий обычно спрашивал:

— Ну, как там — наши?

А «наши» шли на Каир — и радость озаряла их лица.

— Конечно, Египет и Сирия искали предлог для войны, это ясно, — высказался Володя. Он только что вышел из столовой и, стоя недалеко от дверей, внимал эти новости.

— Откуда ясно? — засовывая ложку в карман, задал свой вопрос подошедший к нему Гаврилов.

— Откуда? — повернулся к нему Буковский. — В противном случае Скал не стал бы требовать прекращения огня и возврата израильских войск на прежнее место.

Трудно было судить им отсюда, из-за своего огороженного бугра, а вернее — огороженной ямы, кто виновник пожара. Каждый строил догадки свои.

Гаврилов предположил, что Израиль решает великую миссию — ожидает Мессию, готовит землю обетованную к приходу Его. Сроки подходят согласно Библии, и они, евреи, стекаются, как ручейки, со всех концов мира в свою обитель, в государство Израиль, что значит «Избранный», которое уже восстановлено, укреплено, и теперь расширяется. Иерусалим уже вошел в границы исконных земель. И Моисей — откуда-то из-за Каира явился. Возьмут и Каир. «Теперь и Ты иди, Господи! Мы готовы встретить Тебя. Ты уж прости только нам Христа распятого, — шутил Гаврилов, — да простит ли, Христос?».

И посмеялись они, Владлен и Володя, над гавриловской выдумкой.

— Ты иди Гиле расскажи, — посылал Владлен, — так он больше твоих котлет в рот не возьмет.

И Гаврилов дошел до Гили, но ничего не сказал — сели языком заниматься.

Нравилась ему у евреев эта их устремленность: земля так земля. Кровь из носа, но свое сделаем, ни на что не смотря: и язык выучим, и в Израиль уедем. Не унывали нигде. Бывали и у них уныния случаи, но все по малости: по работе, по письмам там — на них и счет-то какой.

Но письма эти все же нервы трепали, и по этой малости накопилось-то многое. Уж до конфликта дошло с начальством и с почтой. Кто-то из евреев в суд заявление подал на дерьмовую почту. Разобрались: почта здесь оказалась невинной.

— Война! Какие же письма? — защищалось она.

— Война, потому и письма давай! — возмущались евреи. В другое время можно б и подождать, а сейчас ждать невозможно. Каждая новость в письме — весомее золота: кого убили, кого в армию взяли, как жена, как дети там — все интересно, все важно для них — и некогда ждать.

Напружинилась зона, до судорог напряглась.

А здесь еще подытожили зэки на своих калькуляторах: бороды носить нельзя, а раньше, почему-то, борода не мешала; запретили получение книг от родных и близких — с какой это стати, отчего это вдруг; багаж теперь не больше охапки соломы, а это опять же по книгам бьет — отсылай домой лишнее, но книга — она же под рукою должна всегда находиться.

Одно за другое цеплялось — недовольство росло.

А 4-го ноября, так уж сошлось, — день политзэка, день памяти Юры. Володя, Гаврилов, Владлен — протесты начальству. И Гера за ними. Затем — и украинцы. Со своим — и евреи.

Но главная мысль: признать политзэками.

Владлен и Гаврилов еще в сентябре, когда у Владлена было свидание, на Запад отправили большую статью: «Памяти Друга». Должна дойти была к этому дню и на радио всплыть, и лечь в газеты.

С нашей системой без поддержки нельзя. Своих задавят, если тихо все, если никто не знает. И только так можно было встать, если слово твое хоть что-то весит, где-то звучит, если слово твое кто-то читает, помимо хозяина, помимо тех, кому их положено знать по службе.

Планировалось и еще серьезное дело, но уже в декабре — шестидневная голодовка: с пятого декабря по десятое. Две таких даты в декабре сходились: День Конституции — пятого, День Прав человека — десятого. И об этой голодовке сообщили заранее далекому Западу. Здесь уж прямо — признать политзэками.

Но Гаврилов не попал на это празднество зэков.

В конце ноября — опять он в больнице: ломалась година и сердце отзывалось на ее повороты.

Пришлось положить.

Через неделю вдруг внести и Философа — разбил палич. Давно еще говорил он Гаврилову, что жжет у него где-то в затылке. И вот тебе на — на носилках внесли перед самым отбоем. Положили в ту же палату, от всех отдельно, как и Ивана после запретки, на койку с устройствами для туалета и чтоб двигать немного можно неподвижное тело. Не говорил поначалу совсем Никола, не двигался вовсе.

И думал Гаврилов, что вконец безнадежен Никола, что не встанет уже. Одни глаза напряженно смотрели, не в

силах сказать, как плохо ему, что нужно дать, а что убрать, чтоб не мешало.

Тихо было в палате. Лишь Гаврилов в дверях с немым вопросом: ну, как ты, Философ, держись, старик; может уладится, может встанешь еще. Говорил, а сам и не верил. Да что же это, — сокрушался он, глядя на Мелеха, — как закрутит где, так с моими друзьями.

Но врачи потихоньку тащили Философа из омертвелости тела. И Гаврилов, как мог, помогал, развлекал, в глазах его прочесть старался ответы Мелеха на свои вопросы. И рядом сидел, чтоб тот не скучал, в душу не брал, что закончено все, что все уже прожито.

— Вот представь, Философ, ты же можешь что угодно представить, что смерть — враки все, — сочинял ему Логик. — Нет смерти-то, нет — лишь сплошная жизнь в этой вселенной. Ты слушай только. Берем, например, снег и воду, немного льда и ведерочко пара. Знает ли лед, что он — и вода, или что снегом быть может и паром? Как ему, грубому льду, вдолбить, что это все он — и снег, и вода, и пар — только в разных обертках? Может и мы с тобою в состоянии льда здесь пребываем, и есть у нас что-то еще, помимо костей, помимо мяса, что-то вроде снега, воды или пара. Универсальна природа в своих законах и принципах. Кувыркнешься так через смерти порог, смотришь, а там — такие же люди живут, только плавают или летают. Так что рано с тобою мы носы-то повесили. Ты не устал? Мотни своей мудрой башкой, если чего, я и смоюсь — будто и не было.

— Говори, — ответил Коля ему очень медленно и очень трудно.

— Или возьмем другую проблему, — гнал свои байки дальше Гаврилов. — Мыслить мы мыслим, соображаем, а что такое сама эта мысль? С чем едят-то ее? Сам говорил, что не может же быть чистого разума, несвязанного, например, с кирпичом. И это конечно, но не только же с ним, но и с той же водой, и с тем же паром, а значит — и со всеми другими ипостасями жизни. Может быть мысль — это энергия, самая важная, самая главная основа жизни — без нее никуда. Ты вот думай давай, что рука-то шевелится, проверь-ка вот, — должна заработать.

Он еще долго плел бы свою ахинею, но заметил, что Коля заснул — дыхание сделалось ровным и тихим.

И встал Гаврилов с его постели, подоткнул одеяло под ноги Николе и вышел, прикрыв осторожно дверь.

Ничего у них не было общего по «уголовным» делам. И попали они сюда каждый сам по себе. Но вот связала судьба. И не в злобе связала, а в простом человеческом горе, которое многие разнородные элементы друг к другу притягивает, чтобы дать что-то новое для новой жизни.

И на таких вот встречах держался зэк. Жена ни жена, и друг ни друг, а сблизятся люди — вот и поддержка, вот и трость при ходьбе, доска на море. Конечно, выпусти их — разойдутся они каждый сам по себе, но пока они в зоне — рядом шагают, чтоб не упасть.

И за Юру держался Гаврилов как за спасательный круг, пока не расстались они в ту последнюю ночь.

Неужели и с Мелехом — еще утрата? И все же надеялся Геннадий Владимирович, что справится Мелех со своею бедой, что встанет — найдет в себе силы встать.

И Коля, действительно, начал ходить. С палочкой — но ходить. Шаг за шагом, за ним еще шаг, и еще, стиснув зубы и брови сведя. Все вместе, лекарства и сила воли, сделали то, что он захотел, а не руки болезни. Начал снова читать, шутить и острить, как когда-то бывало. Потом и палочку бросил свою.

Но это не сразу, а когда снег растаял, когда по весне уж капель началась. А сейчас лишь декабрь — и на завтра назначена шестидневная голодовка.

Но такие вот голодовки, на шесть-то дней, Гаврилов и не помнил особо, но одну большую, десятидневку, в мордовской зоне еще, в которой и упрекала его жена на свидании с ним, он отдельно запомнил.

34

Обострилась обстановка в малой зоне тогда. Что-то с тапочек началось — и лишили ларька. Кого-то на камерный только за то, что не был на лекции о текущем моменте в политике текущего Кормчего. Тут на свидание к кому-то приехали, да паспорт забыли — и нет им свидания.

Все поехало вкривь да вкось. Еще при Юре.

— Наглеет начальник, — неслись голоса.

— Пора проучить — притормозить бы немного.

И собрались в курилке у швейного цеха. Обсудили проблему. Но не сразу пошло — за и против выдвигали

зэки свои резоны. К Владлену вот-вот жена. Начнет голодать — не будет свидания. И он уж в сомнении:

— Заявлений достаточно.

— Писали, Владлен, уже много писали, — Гаврилов к нему.

— Если сейчас не начать, — гладил бороду Юра, — упустим мы время.

И Коля здесь, Иванов, и украинцы, и армяне — кому-то из них и не дали свидания.

Решилось тогда: не входит Владлен пока в голодовку, если жена. А она и приехала вроде — ждет за забором.

И снова вопрос: голодовку начать — совсем прикроют его свиданье, скажут ей — карантин, как тогда у Гаврилова, и пойдет восвояси. Свиданья лишат, чтоб и слова не вышло на волю о их голодовке.

— Сейчас, Владлен, ты о себе лишь печешься. Не дадут — земля же не рухнет, — увещевали его.

Пошла голодовка. И Юра сюда же, а ему-то нельзя с надоедливой язвой.

— Ты и так скособоченный ходишь, — умолял Гаврилов, — нельзя тебе, Юра.

— Все — значит все, — отвечал убежденно, и вошел в голодовку.

Но прежде чем их в камеры сунуть, должны они были еще три дня шить рукавицы.

А первых три дня без еды — как пытка огнем.

Начинает казаться тебе, что те, кто едят, только и делают, что жуют и жуют, жуют и жуют без конца и начала.

И борется каждый с самим собой, чтобы где в углу не схватить кусок: не видит никто, но сам-то ты видишь, чтобы, если уж воду пьешь, то лишь кипятком, ничего не подкладывая в него, хлеба с тем кипятком не надкусывая.

И хотя первых три дня были для зэков самыми трудными, считало начальство, что едят они, сволочи, по углам понемногу. Но прикармливались не все, а если и ел кто по слабости воли, то уж только себе и клал, на совесть свою, кусок перехваченный.

Потом развели, наконец-то, по камерам их. Набилось сперва человек по пять. На четвертый день голодовки, а в камере — первый, еще песни звучали, но на пятый день, на прогулке во двореке, решали они — кому выходить.

Супермен, детина здоровый — стал зеленый лицом. Через день сказали ему — выходи. Еще через день Витольд Абанькин и Райво Лапп вернулись в зону. Еще через день за ними пошли Чеховской Александр и Михайло Горынь. И Юре сказали — иди, дорогой, с тебя довольно.

И остались втроем: Иванов Николай, Владлен и Гаврилов. Подключился Владлен после свидания к их голодовке. Врач приходила давление мерить, просила снять голодовку: пора, мол, тоже мне — воины, никому не нужна голодовка-то ваша. Вон там таблетки, если сердце болит у кого или голову кружит.

Но не брали таблетки они — считали за пищу.

На матрасах сидели — читали, болтали, но больше — молчали, экономя силы.

Для Гаврилова же эти дни — вершина йоги. Голодовка — самое время для медитаций. И сидел в совершенной позе, ноги скрестив, за часом час, от всего отрешенный, углубленный в себя. А ночами — яркие сны витали над ним, на голодный желудок.

Вот он на причудливых улицах древнего города. Таинственные замки, странные рощи. И препятствия всякие, словно в сказке какой. И дикие животные у входа в город. И пароль им скажи — сокровенное слово. Вот и врата, завершившие путь, — выход из города. А за ними — глубокий ров и узкий мост. Иди, — подтолкнули его. И он пошел, не чувствуя страха по узкой дороге, висящей над пропастью. Там же, на другой стороне, странный дом, наподобие храма. И вводят его в помещение легкое, подобное облаку. Неопикуемой красоты звуки пронизали его. Казалось, что сами ангелы летают под сводами храма.

И вышла Дева, вся в прозрачно-голубом. С возвышения, похожего на престол, взяла отделанную драгоценными камнями трубку и подошла:

— Возьми этот дар, — сказала она. — Ароматами курений этой трубки ты сможешь благотворно влиять на растения и животных.

Но Гаврилов не взял даваемое ему, а Деве ответил:

— Я бы хотел лечить не растения и животных, а людей.

И воцарилось молчание, стихли звуки, нисходящие сверху. И застыло все в ожидании и томлении.

И вышла другая Дева в белых одеждах. Ее тело светилось. На ладони ее огнями мерцал удлинненной формы прозрачный камень. И Дева подошла к своему гостю:

— Каждый раз, когда ты вознесешь молитву над этим камнем, человека излечишь. Но храни и свою чистоту подобно камню.

Осторожно он взял даваемое ему.

Утром, размышляя над этим сном, Гаврилов вспомнил, что однажды уже видел подобный камень. Но где же? где? — старался он вспомнить. Ну как же — в Калининграде, в тюрьме, в карцере, где он спал на дверях, прикрепляемых на ночь к стене. На десятую ночь полуголодного карцера два года назад он и видел во сне похожий камень.

Видел он себя в неведомом храме. Высокие колонны поддерживали как бы уносящийся в небо купол. Просторно было и тихо. И вдруг — топот ног и звериный хохот. Обезображенные фигуры бежали через весь храм к нему. И тянули руки, чтобы схватить. Он лишь молча молился — и очистилось от зверей пространство храма.

И тогда со всех сторон храма, из разных врат вышли к нему индийские йоги и почитатели Кришны, иудеи и мусульмане. Но видя их, Гаврилов шел мимо от западной к восточной стороне храма. И возникло движение у алтаря. Раскрылись врата. И вышел Старец и предстоящие с ним. На ладонях у Старца стоял ларец с тем самым камнем. Гаврилов узнал в нем Сергия Радонежского. Радостно и светло звучало пение под сводами храма.

И вот теперь, в камере зоны, десятая ночь голодовки вновь подарила ему знаменательный сон.

Незнакомый город. Необычные здания. И улицы уложены разноцветными плитами. Повсюду по улицам движутся люди. Но это как бы и не улицы вовсе, а жизненные пути по ним идущих. Вправо путь или влево. Нисходит путь или поднимается в гору. И улица, по которой Гаврилов шел, вела его вниз. И думал он, думал — почему же так, и есть ли возможность изменить направление? И что-то сместилось вдруг в пространстве улиц. И он увидел себя идущим наверх, и там, наверху, — подобие храма. Вот сюда мне и нужно, — подумал Гаврилов. И дойдя до вершины, он под своды вошел этого храма. И восторгом наполнилось его существо. И вскинув руки навстречу

солнцу, он начал незатейливую свою молитву — великое песнопение Господу, Владыке Вселенной. И незримый хор подхватил его искреннюю молитву.

Утром он весь был во власти этого сна. И все порывался рассказать о нем Владлену и Коле. Но не решился.

Потом уже, несколько дней спустя, поделился он с Юрой своим видением.

— Станешь священником, — сказал Юра серьезно и махрой затынулся, — ну и сны у тебя, — добавил задумчиво.

Сюда же, в камеру, пришла к обеду вездесущая врач.

— Как вы здесь без меня? — спросила она, — снимаете голодовку или так выносить? С завтрашнего дня начнем искусственное кормление.

Гаврилов и Иванов голодовку сняли — что за голодовка при искусственном-то кормлении? А Павленков остался, трое суток ему оставалось еще до этих самых десяти голодных суток.

В зону Иванов и Гаврилов вошли в солнечный день, немного шатаясь, но довольные тем, что все же так вот смогли продержаться они в важной для них для всех голодовке.

35

И вот теперь, два года спустя после той голодовки, представил Гаврилов, как сидят друзья его здесь, теперь уже в камерах пермской зоны, сидят, голодая.

А в больнице, было тихо совсем. Больница эта была не как там, в Мордовии, а поменьше зданием и прогулочным двориком. Человек двадцать больных могли поместиться здесь, не считая первый этаж справа от лестницы.

Там место было для больных из соседних зон.

И если из других лагерей приезжал сюда кто, то двери к приезжим больным запирались обычно, разве что на кормежку дверь открывалась да для врачей — и опять на замок. Для них и прогулочный дворик отдельный. Контакты пресекались между теми, кто здесь, и теми, кто на время приехал: случись что на зоне одной — сразу жди продолженья в зоне соседней.

Но сейчас пустовал первый этаж справа от лестницы.

Да и во всей больнице немного лежало: Мелех, Гаврилов и еще человек, может быть, семь.

В этот декабрь, для Гаврилова пятый уже вне свободы, он как бы снова закрывал свое дело, проверяя его на цвет и на запах: не ошибся ли с демократией? Такая ли уж она панацея от наших, российских, бед?

И он стоял у окна, руки скрестив, и смотрел на зону.

Вот голодовка там, — размышлял он, — за права человека, за признание их политэксами, за свободу.

Но что же такое — эта свобода? У каждого понимание свободы свое. Объективно же она вырастает из истории конкретного государства, из его культуры, системы правления и обычаев, из его религии, наконец.

Разве наша партийная жизнь не новый культ, не новая религия со своей иерархией серафимов и херувимов на уровне Политбюро, престолов и господства секретарей Союзных республик, сил и властей областных партийных комитетов, со своими началами в городах, со своими архангелами и ангелами в первичках?

Как четко определил это Сталин еще в 25-м, как раз в декабре, выступая на 14-м съезде ВКП(б). Что-то он спорил с Бухариным там, — вспоминал Гаврилов, — и, в пылу опровержения его позиции, заявил, что для нас, большевиков, формальный демократизм — пустышка, а реальные интересы партии — все.

Не народа, сказал, а именно партии, или иначе — интересы своей секты превыше всего.

Но когда секта во главе государства — это уже религия. Да так и есть. На этом же съезде Сталин ясно отметил, что Политбюро есть высший орган не государства, а партии, партия же есть высшая руководящая сила государства. Во всех основных вопросах нашей внутренней и внешней политики, — говорил Сталин, — руководящая роль принадлежала партии. И только поэтому мы имели успехи в нашей внутренней и внешней политике.

Здесь Сталин очень точно отметил, присуще ему — четко, — размышлял Гаврилов, стоя у окна и руки скрестив, — партия не орган государства, а сила, стоящая над государством, над его институтами и его законами, сила, не подчиняющаяся законам государства, а подчиняющая эти законы себе, своим интересам, вспомнить только: интересы партии — все.

Отсюда и вывод делает Сталин, вывод вполне логичный и верный: успехи и поражения государства — это успехи и поражения партии, единственно руководящей.

Тогда, геноцид, политические репрессии, массовые уничтожения людей, развал экономики и культуры, развал многовекового уклада жизни миллионов людей, а значит — фактическое уничтожение его истории, — все это на совести партии, если можно говорить о совести в этой партийной религии.

Фараоны беззакония и произвола, придет время, когда все ваши дела лягут на чашу весов вселенского суда. Ясно, — подытоживал Гаврилов, — что идеология этой религии ведет в тупик, если она не начнет изменяться под влиянием времени.

Ясно также, что доктрина партии к переменам не склонна. «Наша партия не перерождается и не переродится, — заклинал со своего амвона Сталин, — не из такого материала она склеена и не таким человеком она выкована, чтобы переродиться».

Лучше не скажешь. Значит, возможно только свержение диктатуры — насильственно или мирным путем.

Но последнее — маловероятно.

И уже стали обращать внимание на него: что это он долго так торчит у окна, может, увидел что в зоне? И полезли с коек к окну — а там ничего. И снова отхлынули, как волна, на постели.

Так о чем это я? — продолжил Гаврилов, — о мирном устранении компартии от власти. Это невозможно потому, что эта партия не пойдет на коалиционное управление страной. Все или ничего. Как правящая партия, — писал Ленин, — мы не могли не сливать с «верхами» партийными «верхи» советские, — они у нас слиты и будут таковыми. Вот откуда — еще от Ленина: армия, КГБ, МВД, прокуратура, суды, транспорт, телевидение и радио, министерства и ведомства — являются щупальцами гигантского партийного спрута, гигантской мафиозной структуры, не тайной, как в Италии, например, а открытой, явной, безжалостно и безответственно терроризирующей население, сведенное до уровня немых рабов.

Нужен новый Спартак, чтобы сбросить ошейник.

— Гаврилов! На укол, — сунулась в дверь сестра.

И пошел на укол. Потом в столовую. Потом — в палату. Читать не хотел. Лег на койку, руки за голову, глаза в потолок.

Ну, сбросили партийную диктатуру, — продолжил он начатое, — а дальше-то что? Свобода и братство?

Ничуть не будет этого на Руси. Наш исконно-русский тяжеловесный бюрократизм проглотит всякую демократию, в тенеты закрутит любую свободу. Уж на что после революции энтузиазм масс бил ключом, но уже в 28-м на съезде комсомола Сталин откровенничал: чем объяснить позорные факты разложения и развала нравов в некоторых звеньях наших партийных организаций? Тем, — сам и отвечал он на свой вопрос, — что монополию партии довели до абсурда, заглушили голос низов, уничтожили внутрипартийную демократию, насадили бюрократизм. Вы, конечно, не будете отрицать, — продолжал Сталин, — что кое-где в комсомоле имеются совершенно разложившиеся элементы, беспощадная борьба с которыми абсолютно необходима, поскольку в некоторых звеньях верхушки комсомола происходит процесс бюрократического застывания. А профсоюзы? Кто будет отрицать, что бюрократизма в профсоюзах хоть отбавляй?

А при Брежнев? Канцелярские крысы уже съели все зерна народного устремления к свободе и братству. В любом государстве, конечно, — искал и искал выход из этого лабиринта Гаврилов, — в любом государстве существует узкая привилегированная чиновничье-административная каста, сосредотачивающая в своих руках государственную власть. Но в Америке, Англии и в Европе — там есть какие-то исторически сформированные противовесы ей.

У нас же — свободное размножение сине-зеленых водорослей чиновничества по горам и долинам бескрайней России. И никакой химикат не берет эту заразу на русской почве. А уж бабочка демократии — тем более. Наши Советы — всего лишь проститутки при партийных комитетах: от начинающих — местных, до профессионалок на государственном уровне.

Эти дни в больнице были для него сном наяву, чередой мыслей и образов — с утра до вечера и с вечера до утра. И ночь не несла покоя. Будто снова вставали перед ним: следствие и тюрьма, тюрьма и лагерь. Кончались

силы сопротивления, нарастали разочарование и безысходность.

Что изменил он своим протестом? Кого вдохновил?

Но разрушил вокруг себя все, что можно было разрушить: и семью, и будущее свое, и надежды. Да и на что надеяться ему, понимающему теперь, что плетью обуха не перешибешь, что между воронами и сорока по-вороньи каркает.

Силы тьмы заливают Россию плотно, густо — и травинке не прорасти в этой жиже безнравственности и бездуховности.

И зрело в нем — освобожусь, брошу все, уйду в монастырь. К чертовой матери всю эту трескотню и возню. Нигде нет ни слова искренности, ни слова правды. В газетах — ложь, по радио — ложь, между людьми — ложь, ложь и ложь. Да и сам я, — мучил себя Гаврилов, — нужен ли кому? Сам-то я искренен ли даже с самим собою?

О, система, воспитавшая подхалимов и лжецов.

И просвета не видно. Какой уж там луч в темном царстве — хотя бы искра где промелькнула. Да и люди-то спорят неизвестно о чем, не знают сами, для чего убивают, насилюют, сажают в тюрьмы, растлевают все вокруг и самих себя. До чего докатилась ты, великая Русь?

Где святость Твоя? Где зерно Духа?

Под новый год его выписали из больницы. А вечером 31-го, перед самым отбоем, он обошел койки близких ему, чтобы поздравить с праздником, но не был понят — и удивился тому: не вовремя что ли? Или по старому стилю отмечают здесь наступающий год?

И первый день 74 года он провел в одиночестве, в кинобудке — с дневниками и письмами: подводил итоги уже перевернутой страницы жизни.

36

ИЗ ПИСЕМ

1973. 2 июня. Письмо от Николая Иванова с воли:

«...Узнал от Гали, что ты болел, что опять ухудшение с сердцем. Смотри, не увлекайся очень йогой. Очень прошу тебя, подумай, может быть, хотя бы уменьшить нагрузку. Правда, ты знаешь, что я не великий оптимист, когда речь идет о вся-

ких неправославных проявлений. Да и Юра к этому относился скептически, если не больше. В начале прошлого месяца ездил к нему на кладбище, привели могилу в порядок, обдерновали, посадили цветы, траву, в головах — молоденькую березку, покрасили лаком крест. Одним словом, сделали все, что возможно.

Мне очень отрадно, что в потрясениях, потерях и страданиях ты нашел опору, как ты пишешь, «вновь родился для себя и для мира, очищенный и просветленный». Я очень хорошо понимаю все это, и даже не просто понимаю, а душою чувствую, что с тобой происходит и по какому пути ты пойдешь в дальнейшем.

И, конечно, ты глубоко прав, когда пишешь, что тебя «почему-то тянет в Россию». А куда же еще? Где нам жить, как не в своем отечестве. Не в Эстонии же или в Германии. Только на Руси, только у себя дома, ибо нигде с такой силой не чувствуешь подлинность бытия своего, как в русском лесу, глуши, в русской деревне, среди звуков, родного языка.

И свет Беспредельного, на который ты положился, и тяга в Россию — это ведь две ипостаси одного и того же, и мне очень хочется надеяться, что через два года тебе не надо будет делать выбор между Ревелем и Тверью

...Как только мои дела придут в обычное нормальное состояние, так я примусь за книги

...Настроение от всей неустроенности, конечно, не очень бодрое, да и все остальное не слишком располагает к оптимизму.

...Воле (Владлену Павленкову — прим. авт.) привет, не знаю, как вы там друг с другом, но, надеюсь, что хорошо».

25 июня. «...Проездом из Крыма останавливалась в Москве. Видела Колю Иванова (если не ошибаюсь), в общем, с которым ты сидел в Озерном. Он передал тебе привет.

...Гена, написал ли ты Наташе фамилию врача и адрес больницы, куда можно послать лекарства? Как ты себя чувствуешь? У меня к тебе просьба: постепенно закончить заниматься йогой. Если бросить сразу, боюсь, нехорошо отразится на сердце. Тем более, что я очень не хотела бы, чтобы ты занимался и дома».

6 июля. «...Ты советуешь мне прекратить занятия йогой, обеспокоенная моим здоровьем. Но вспомни, я начинал заниматься этими упражнениями еще на воле, сочетая их с атлетизмом. И за годы занятий йогой здесь кое-какой личный опыт в этом у меня имеется. А тот факт, что я в здравом уме и

доброй памяти, должен был бы показать тебе, что к этим занятиям я отношусь серьезно и осторожно, исходя из желания также получить от этого пользу, а не вред. Здесь йога помогла мне бросить курить, употреблять чай, кофе и прочее, без чего эзк практически не обходится, помогла мне спокойнее переносить бытовые неудобства тюремной и лагерной жизни.

...Занимаюсь и логикой, прорабатывая, в частности, книгу Т.Хилла «Современные теории познания». В ней много для меня интересного и поучительного. Изучаю и философию Древнего Востока.

...Что-то Наташа опять умолкла — не пишет. Спроси, в чем дело. Что у них нового? Как дела у Коли? Привет тебе от него и от Светланы (Павленковой, — прим. авт.). От Вали (сестры Гаврилова, — прим. авт.) тоже нет писем. Все, все заняты «государственными» делами. Одной некогда толком написать мужу, другой — брату, третьей — другу.

...Кольцо мое обручальное нашлось после стольких-то скитаний по сейфам тюрем и лагерей. Послать ли домой?»

20 июля. «...С Колей я не переписываюсь. Он хоть и симпатичный, но мне не понравился, вернее — его идеология: твоя вредна лишь тебе, а его — не только ему.

...Табак «Нептун» для Владлена в Таллинне не нашла. Позвоню Наташе

...Очень рада, что нашлось кольцо. Делай с ним, что хочешь, только не теряй.

...Относительно йоги, дело твое — пожалуйста, стой на голове хоть по три часа, только не в свободное от работы время, ведь ребенок не жена, он требует внимания.

...Сейчас мы с Любашей сидели рисовали. Посылаю ее рисунки, она срисовала с моих. Теперь Любаха пошла играть в футбол. Играет сразу за две команды и совмещает роль комментатора».

16 октября. «...Отправила Парамонову посылку. Ответа пока нет. А раньше я получила от него письмо. Подробностей никаких. Был очень рад, что я ему написала. Ответ был восторженный, парамоновский. В общем — жив и надеется на свободу».

26 ноября. «...Новостей у меня каких-либо нет. Все по-прежнему однообразно и скучно. Как видишь, решил не писать большие философских трактатов. И письма, длинные и утомительные, превратились в «открыточки», как ты их называешь, короткие и неинтересные. Но сейчас действительно нет же-

лания к эпистолярному жанру, нет настроения. Да и пустое все это.

Жизнь — она шире слов, глубже философий, таинственнее что ли.

21 декабря. «...Сейчас у нас тихо, хорошо, снежно. Стараюсь больше бывать на улице и, вообще, веду спокойный и размеренный образ жизни, как старик лет эдак под 50. А одиночество, по-прежнему мое излюбленное состояние».

37

Однако, войдя в новый, 74, год, а по тюремно-лагерному счислению — перейдя во вторую половину своего пятого года заключения, Гаврилов, начинавший, видимо, уставать от размеренной монотонности лагерной жизни, от ее изнуряющего и иссушающего однообразия и застоя, чувствовал, что воля его слабеет, сопротивление уменьшается, что вот-вот и он, как кролик перед удавом, смиритсЯ с участью, ему доставшейся, сам положит голову на плаху гильотины, имя которой СИСТЕМА.

Система, построенная коммунистами, первоначально назвавшими себя большевиками, раскинула свои неумытые руки с грязными ногтями на громадной территории от Балтийского моря до Берингова с запада на восток, и от Новой Земли до земель АфганА с севера на юг.

Только в силу громадности самой территории, подвластной Системе, человек в ней уже был ничто, прах, нуль, атомарный водород в гигантской неповоротливой макромолекуле, которая, затвердев, не растворялась уже ни в воде, ни в кислотах. Эта отверделость и была настоящей клеткой Системы, ее Большой Зоной, ее тюрьмой, смиренной рубашкой, тем дьявольским гробом, который обрекал на медленное гниение все живое еще, обрекал на гибель души, а затем и тела.

Гаврилов чувствовал, как он не в силах уже поднять эту крышку гроба, закрывшую его в этом склепе, навалившуюся на его согбенные временем плечи. Только бы не упасть, — думал он, — только бы не упасть, иначе конец.

Йога, логика, размышления жили еще в нем, но где-то и не в нем теперь, а вне его, жили в той соломинке, которая вряд ли способна спасти в мертвой зыби после пролетевшей над морем бури.

Конечно, он сидел еще с Бутманом Гилей в библиотеке, теперь уже новой — в бараке, построенном из мощных сосновых бревен, и учил хинди по книжке, написанной на английском; конечно, он собирал воедино и накопленный материал по «Теории логических рядов» — так он окончательно определил свою работу, — но порыв, его реформаторский порыв угасал, как угасает со временем и любой вулкан, завершивший свое неожиданное извержение.

Чувствовал он, что нет в нем той силы, с какой Солженицын принимал на грудь бычьи удары СИСТЕМЫ.

Нет и той легкости, с какой парировал эти удары Буковский.

Не стал он и лошадью, как хотел Галансков, тянувшей уверенно свой плуг по глинистой борозде.

А Михайло Сорока, павший в этой борьбе, а Пидгородецкий Василь? Что за мощь духа в них, не угасшая за более чем четверть века пребывания в зонах — в застенках партийного фашизма.

Неужели, Гаврилов, ты так слаб, — говорил он себе, — что совсем сник? В феврале, в этом состоянии вялотекущей апатии, он писал жене:

«Я бесконечно виноват перед тобой, что вверг и тебя в мучения и страдания, без которых мы вполне могли бы обойтись. Остается только надеяться, что, выдержав еще год и три месяца, мы вновь будем вместе. Многое я передумал за это время, многое понял. Прости, если сможешь».

Но понял ли он действительно, что к чему, или сомневался еще, взвешивал за и против, искал аргументы, чтобы примириться с собой, найти выход из тупика, в который сам и забрел в дебрях книжной премудрости.

Ведь писала ему жена с полгода назад:

«Ты многое взял из книг и ничего не дал взамен.

Именно из книг, а не из жизни, жизнь ты в упор не видишь. Если ты не способен ничего сделать для людей или для одного человека, или хотя бы для себя, не нужно искать оправданий этому в высокопарных фразах.

А жизнь, действительно, коротка, и свои 35 лет ты потратил ни на что.

Даже гнезда не свил.

Ты никогда не признавал свое поражение или вину.

Я-то это знаю. Ты вспомни — как я верила каждому твоему слову, но пришло время и я вынуждена тебе возражать. Да, мне это трудно, да, ты к этому не привык.

Если не я, то жизнь заставит тебя посмотреть на себя со стороны, если ты не совсем утратишь способность к жизни и окончательно не зароешься в своих логических измышлениях».

Бьет жена наотмашь, конечно, — думал Гаврилов, — но, может быть, в этом отчаянии ее, в этом крике души что-то и есть, грань ее истины. И она понятна ему даже больше, чем он сам понял себя, хотя и ответила жена на его покаяние новым протестом:

«Я не знаю, — писала она, — как ты мог наблюдать мою жизнь, ровно ничего не зная о ней, да и вряд ли у меня когда-нибудь повернется язык все это рассказать, но твоя последняя страничка дала мне глоток воздуха, и где-то подтаял лед, сковавший было меня накрепко так, что я уж и не надеялась снова почувствовать себя человеком, еще живущим на этой земле».

Видимо, и его сковал этот лед.

И как весна не могла прийти в эту весну, так и сердце его не могло оттаять, согреться новым светом, надеждой новой.

«Весна у нас все никак не может одолеть зиму, — писал он ей в марте, — и хотя солнышко греет все больше и дольше, снег еще тверд в своем желании покрывать землю».

И в нем сидел этот твердый снег, несмотря на птиц, по-весеннему радостный и оживленных.

А в апреле опять он ей о погоде, сидевшей и в нем:

«У нас еще снег не растаял. И ходим в ватниках. Месим грязь. Изредка показывается медное и какое-то растертое по небу солнце. Сегодня же мелкий и нудный дождик. Но уже прилетели грачи, и скворцы вытряхнули воробьев из своих домиков. Уже коршуны охотились за голубями, и вороны наполнили своими телами все небо. И то благо, что каркали редко».

Не такие ли и мы голуби, — глядел на все это Гаврилов, — с которыми за милую душу управляют коршуны, а потом уж вороны добирают себе добычу. Беззащитные белые голуби. А может быть, белые вороны в их черной стае?

Но в этой беспробудности его все же были и светлые пятна. Игоря Огурцова привезли из Владимира в марте, лидера Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа. Николай Иванов и Леонид Бородин

шли в его связке. Но Коля — уже на воле. Игорю же еще сидеть и сидеть.

Не приставая особо, Гаврилов приглядывался к Огурцову: как-никак из Ленинграда он, и сын офицера. Достоинно держал себя — не мелочился. Если не положено на кровати сидеть, так не сидел. И, как и Гаврилов, любил он вокруг площадки ходить с руками назад. Вот и сиделись, — думал Гаврилов, — беседуя с ним. В разговоре был Игорь спокоен, серьезен — ни лишних слов, ни ненужных жестов. И угол, где Владлен с Володей резались в пульту, обходил стороной.

В апреле день рождение опять же — отвлечение чувств, перемена мыслей. И, конечно, открытки:

«Геннадию Владимировичу, поклоннику Востока, еще не достигшему, но усидчиво идущему, несколько попутный сен-тенций Западных (для сравнения): «И познаете истину...» — Иоанн; «Нельзя утверждать, будто все реальности находятся в согласии друг с другом...» — И. Кант, «Самое опасное — рас-считывать на логику...» — А. Эйнштейн». Все это вместе от Владлена Павленкова».

Наставник по йоге, написал Геннадию:

«Блажен, кто смолоду был молод.
Блажен, кто вовремя созрел.
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина.

Эта маленькая жертва, Геннадий, ко дню рождения от Юку».

И, конечно же, Юку подарил и книгу, древнейшие гим-ны Индии «Ригведу» с посвящением:

«Пусть откроется перед Вашим взором древняя история индийского народа, его духовная культура, мудрость и глубина мысли. Может быть, эта книга поможет Вам, уважаемый мой друг — одинокий лебедь — сосредоточиться на всем чистом и идеальном, что дорого Вашему сердцу, и освободиться от мирской суеты, чтобы переплыть на другой берег Океана».

Иван Кандыба, в переводе с украинского, пожелал:

«Доброго здоровья и бодрости, несломимой силы воли и ду-ха. Пусть же Ваши неутомимые и благородные усилия завер-шатся максимальным приближением к Вечной Истине».

Присовокупил и Гера свое:

«Я надеюсь, что ушедший год не прожит тобою даром, а принес много нового тебе и, следовательно, людям. Пусть и следующий твой год будет таким же плодотворным, а для этого надо, чтобы весь год у тебя было хорошее настроение, хорошее здоровье, хорошие друзья».

Гилель Бутман со своей командой торжественно вручил открыточку с надписью:

«Да не отсохнет рука берущего и да не оскудеет рука дающего (котлеты, подливу, рыбу и т. д.). В далеких Индиях нас грешных не забудь».

Да от Гены Парамонова дошла к нему весточка.

И жена, ради этого дня, гнев сменила на милость:

«Поздравляю тебя с днем рождения и еще раз желаю тебе не стареть. Это у тебя, наверное, от того, что ты давно не менял занятий. Смени, например, занятия йогой на коллекционирование бабочек, или сделай гербарий сибирских комаров. Это тебя встряхнет. Только я не хочу видеть рядом с собою старика. Пощади. Этого ли мы с Любашей достойны?»

Желаю тебе много душевных и физических сил, которые еще очень пригодятся тебе и твоей семье».

И вот эти открыточки, казалось бы, листочки бумаги — оживили немного остывающее уже было тело Гаврилова.

Все это вместе что-то зажгло в нем, что-то вновь в нем возгорелось.

Вновь потянуло его к Философу — Никола с палочкой еще, в фуфайке и зимней шапке, отогревался под весенним солнышком после скрутившего его паралича. У барака на лавочке они судачили уже о Чернышевском, о его геометрических построениях в эстетике и морали.

И с Владленом вновь копы ломает Гаврилов в споре о демократии и свободе, диктатуре и насилии.

— Демократы, меньшевики и эсеры, за которыми была основная сила рабочих и солдат с момента Февральской революции до октября 1917, после захвата власти большевиками — остались с разинутыми ртами. Значит — сама по себе демократия еще не гарантия успеха, — убеждено говорил Гаврилов Владлену, — и совершенно ясно, что и для демократии необходима дисциплина и четкость действий, но не во имя тьмы, как это получилось у нас, а во благо Света. Вот с этим демократы России и не управились. Вместо дел — потонули в болтовне: в одних словах и лозунгах. А те, всего-то человек десять — тихо

ночью, вошли в Зимний и выгнали из кабинетов перепуганное демократическое правительство. Будто и не было на Руси ветра свободы, ветра перемен.

— Почему же происходит так на Руси: демократии не пройти, а насилию — зеленая улица? — все допытывался и допытывался ответа от Владлена Гаврилова. — Ведь насилие на Руси началось не с 37-го, а резво покатилося по российской земле с обгаренного кумачом октября 17-го. Если почитать первоисточники — от ужаса может волос на голове не остаться. Красный флаг — не символ ли крови на руках ученика и Учителя.

— А может быть и не с 17-го года повсеместное насилие на Руси, — помолчав немного, продолжил Гаврилова, — а с 17-го века, или с еще с более раннего времени? Что у нас было-то на просторах России в те времена, помнит ли историк Владлен Константинович? Может быть, прав Петр Чаадаев, который писал:

«Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности. ...Народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы.

Но мы, можно сказать, некоторым образом — народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обречем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?»

— Так что лет 100 или лет 200 не видать нам еще демократии, — заключил свой разговор он свой разговор с Владленом. — Наверное, это про нашу страну написано в книге Эрнста Генри «Диктаторы», для управления которой:

«Нужны политики, с легкостью, без колебаний, даже с каким-то сладострастием, идущие на геноцид — уничтожение целых народов. Политики, для которых руководство государством неотделимо от непрерывного массового террора, от небывалой системы варфоломеевских ночей,

провокаций и фальсификаций, от криминализации всего административного аппарата. Политики, убивающие культуру, иступленно, с пеной у рта ненавидящие интеллигенцию, стремящиеся превратить мыслителей в роботов, художников — в фотографов и маляров, преподавателей — в унтерофицеров, журналистов — в писак без головы».

И вот эти, с точки зрения государства, роботы и фотографы, унтерофицеры и писаки, а проще — антисоветчики, еще примитивнее — зэки, эти зэки, мать их ети, опять оказались недовольны.

То ли весна возбудила кровь, засидевшихся без баб мужиков — а за забором уж май, то ли все так сошлось к началу лета, но развернулась в зоне волна протестов и не просто волна, а шторм баллов на десять.

Политзэки, а они себя так и считали, решили взять реванш над начальством — сколько же можно давить и давить, раз Москва далеко, то сам и хозяин?

Конечно, знали они, что Москва не защита, Москва — центр нападения, но и молчать больше нельзя, есть граница всему, есть граница и терпению зэков. И волна нарастала, ветер крепчал, непогода росла и вширь, и вглубь. Жалобы, заявления, протесты пошли лавиной. Но и Хозяин нанес ответный удар — Буковского упрятали в камеру, в ту самую камеру, в которой сидел он тогда после этапа. Решили так запугать, чтоб другим не повадно. Но эти другие только сплотились.

Буковский в камере уже голодал. И Владлен объявил голодовку. И Бутман Гилель. Зиновий, Иван Кандыба, Калинин и Михайло Осадчий — все в голодовке. И молодые пошли за Володю.

Но не сразу все — а поэтапно. Предложили еврею растянуть голодовку до последней черты, до решения проблем, что уже накопились: войти в голодовку и выйти, снова войти и снова выйти, волна за волной, удар за ударом. И новые входят через день или два.

Так уж круто пошла голодовка на этот-то раз.

Как всегда по весне — Гаврилов в больнице. Но сейчас каждый из них что снаряд в обойме.

Он к капитану, что кровь свою Ивану давал:

— Прошу меня выписать.

— Что это так, — в ответ капитан.

— Залежался, пора — хорошо себя чувствую.

— Что за шутки, Гаврилов? У вас же пульс 40 ударов, аритмия у вас. И какое давление? Полежите неделю.

А в больницу несут уже Мешенера — у Иосифа камни. Как назло — пошли, когда бы не надо, когда он в голодовке. Канал забит мочевого — хоть криком кричи.

Он и кричит. В палату его положили отдельную — голодавшему эску со всеми нельзя. Гаврилов к нему:

— Ну что говорить-то. Упал — отдайся врачам. Подлежат — вновь голодовку объявишь. Неделя всего, а решили на месяц, а может — и больше, как уж сложится там.

— Не могу, весь кибуц голодает: и Глузман, и Кнох, — в ответ Мешенер.

— Не у них же камни, они у тебя. Поберегись, Иосиф, — силы будут нужны. Упавший раненый разве бежит в атаку? Баба, сестра на себе его тащит в санчасть, в больницу. А тебя — мужики принесли. Подлечись — и вперед, кто же против? Но сейчас-то нельзя, — убеждает Гаврилов. И спор у них, и крик от режущей боли, и снова надсадный и трудный спор.

Через два дня внесли к Мешенеру еще голодавшего — Антонюк Зиновий потный весь, извивается в судорогах. Печень больная. Говорят, что цирроз.

Еще через день к голодным в палату положили грузина с сердечным приступом.

А кто-то в зоне жилой уже снял голодовку. Не много ли сразу, — решает Гаврилов, — не затихло бы все, не ушло бы в песок. И бумагу пишет в больнице о своей голодовке. Сразу и выписали, как только дошла до начальства его бумага.

Хозяин и свита — все на местах. По баракам и камерам опера, прокуроры и кум: объясняют, толкуют, слушают мнения. Убеждают голодовку кончать. Обещают разобраться во всем, наказать виноватых из свиты начальства. Но если с вершины горы уже сдвинулся ком, то только и может разбиться он о какой-нибудь выступ.

Здесь же гладко бежало все — и выступа не было.

А в месте другом, где никто и не ждал, надвигалось свое. Пора везти уже было в соседние зоны больных, что лежали здесь под ключом в той части больницы, что направо от лестницы, где первый этаж. Уже собирали их было с вещами, но оставить пришлось — раз голодовка.

И у них недовольство: «Везите! Пора!». А их не везут.

Идет голодовка. И в камере, где Володя, уже сидят голодая Владлен и Гилель, и Гера с ними.

В больнице, в палатах, справа от лестницы, слухи пошли, что здесь их оставят под этим замком, непонятно на сколько. И ропот молчком — и волна нарастает.

На четвертый день своей голодовки и Гаврилова в камеру — вместе с Буковским.

— Знаешь, Володя, — Гаврилов ему, — сложно в больнице. Там недовольство — и мы виноваты, из-за нас не везут.

— Ну и что предлагаешь?

— Даже не знаю. Может быть, снять голодовку пока — недели на две. Как их отправят — нам станет известно. Снова начнем.

— Ты, Гена, что? Не понимаешь, в чем дело? — Павленков нервно. — Как ты снова начнешь? Пимену только и надо ее закончить, а там — разберутся кого куда и кому за что?

— Все туда же — в зад, все за то же — за перед, — всунулс Гера.

— Ладно, решили — дальше поехали, — примири-тельно Гиля.

И идет голодовка. Владлен задумал выдержать месяц — постоять за дело, и себя проверить. Ничего и Бутман — еще посидит, жилистый парень, хоть и любит поесть. На пару дней хватит и Геру — улыбчив пока и на притчи скор. Володя чуть бледен, но настрой боевой — такой напор в зонах редко бывает. Неделю с ними сидел и Гаврилов.

Затем Буковский серьезно ему:

— Давай выходи, совсем уже белый. Узнай, как в больнице.

А старик потихоньку собирал сухари. И лишнее все раздавал без разбору. Печальный ходил по палатам, что здесь под замком. Из всех двадцати замученных лет два месяца осталось ему до свободы.

И когда собирали Володю с вещами, третья неделя уже завершалась такой голодовки.

— Не имеее права голодающего вести по этапу, — возмущались все ээки.

— Ну, Пимен, не стать бы тебе Пилатом, — Гаврилов в сердцах.

Так звали Пименова они — Хозяина лагеря. Здесь он был патриарх Всесвятский и всея 35-й. Жаль, что только в майорах. По жесткости и ретивости ему бы в пору в генерал-майорах землю топтать. Но вот как-то застрял при святых, чуть что голодавших.

И упаковывая Володин рюкзак, Гаврилов все запихивал и запихивал в него, что смог достать у собратьев по зоне: курева на первое время, консервов, пряники вот у Юку нашлись, пачка печенья, пакетик чая.

— Чем богаты, Володя.

— Да ладно тебе — устроимся там-то.

Не знали еще зачем его и куда, но ясным казалось — свезут во Владимир, куда же еще. Год только и побыл он здесь — и опять тюрьма.

Суд устроят сейчас, как в то лето над Аликом Гинзбургом, затем — в воронок, затем — в столыпин. Но тот приходил хоть книги забрать, а этого сразу — вперед, за ворота. Недаром лишь столько теперь положено зэку, что б в руки смог взять.

— Ну, Константинович, — Гаврилов к нему.

Обнялись. Попрощались. И руки в дрожь у Гаврилова, как тогда, когда Юру в больницу под утро, когда новость о нем, что умер Юра, когда в руки письмо, а там — мать умерла и в больнице отец, когда то письмо от жены, что глупо вел себя на суде, хорохорился глупо.

Уехал Буковский. И шла голодовка.

Через несколько дней, когда стихло все в зоне и примолкла больница, когда спали в палатах и только ветер шуршар в кронах деревьев, старик этот встал неловко, но тихо, взял мешок с сухарями. В халате, как был, пошел в туалет. Окно открыл и вылез наружу задом вперед. Прикрыв окно, примерился взглядом и спрыгнул вниз, благо первый этаж. Осторожно, но как-то бочком, пошел к запретке, подвывая халат пояском, чтоб удобней идти. И не совсем уж прилично было ему в кальсонах идти и в рваных тапочках на босу ногу, но «ничего» — подумал он, и двинулся дальше.

Было тихо совсем и было неслышно, как шел он по мягкой и влажной траве к освещенной запретке.

Но когда завывала сирена, когда воздух прорезали автоматная дробь и росчерк пуль, не вникающих в дело, —

опомнился он, очнулся вдруг будто от сна — и метнулся назад от забора, и на глине запретки упал, поскользнувшись. В тапке одним метнулся неловко сквозь колючую проволоку, разрывая халат. Босиком уже — вновь по траве. И снова в окно — в туалет. Окно на запор. На крючок и двери. Все в лихорадке. Воистину, лихо обуяло его — и сознание, и тело. И безумная мысль — словно выстрел в висок. Развязав пояс, свернул петлю, к бачку прикрутил, подергал, проверил — и последняя мысль, последняя боль, последний хрип.

Утром лежал он в маленьком морге.

Об эту вот смерть, такую нелепую и такую ненужную, и ударилась крепко та голодовка, словно снежный ком, разбилась она о нелепый выступ нелепой смерти.

И все завершилось.

Сильно полоснула по нервам Гаврилова и эта смерть, хотя и не знал он деда того, даже не видел. Но мрак на душе, тяжесть на сердце.

Месяц спустя, он писал жене:

«...Погода у нас, несмотря на июль, по-прежнему переменная: то солнце с дождем, то дождь и солнце, но в основном — хмуро и сыро. Так же неуютно и я себя чувствую. Все как-то полетело вдруг кувырком в неопределенность куда-то. Повис в пустоте: ни желаний, ни стремлений — одни раздумья.

Лучшей участью для меня, вероятно, явилось бы — уйти от людей, от всей суеты, от скачки без цели, без осознания смысла.

Но, как знать, может быть, лет через двадцать, вспоминая с улыбкой это трудное время, эту сложную жизнь, мы поймем, что оно позволило нам что-то найти, и не только друг друга, но и самих себя.

+Думая, все образуется, все займет свое место.

Как видишь, начат уже шестой год моего заточения, но и он пройдет, как и все проходит.

Сегодня, где-то внутри себя, я трепетно еще, почти не веря, но все же чувствую зарождение новой жизни.

Малая свеча робко, но загорается в моем сердце.

Воистину, кончаются, однако, и полярные ночи.

Постараемся же сохранить наступающий день как можно дольше».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

или

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

24 августа 1988 года.

Прокурору по надзору Калининской области
от Гаврилова Геннадия Владимировича...

ПРОШЕНИЕ

7 марта 1970 года в г. Калининграде Военным трибуналом...

В настоящее время, время перестройки и демократизации всех сфер жизни нашего общества, невиновность моя в инкриминируемом мне преступлении становится очевидной.

Прошу Вас ходатайствовать перед соответствующими органами Советской власти

о прекращении моего уголовного дела за отсутствием
в нем состава преступления,
о моей реабилитации».

22июля 1989 года.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР, г.
Москва.

от Гаврилова Г. В.

Уважаемый Михаил Сергеевич,

сознавая, что государственные дела не оставляют Вам времени на рассмотрение подобного рода писем, тем более что поток их сегодня в Ваш адрес, прямо скажем, безбрежен, я прошу Вас о малом: росчерком пера дать указание о продвижении все же по прокурорским инстанциям моего Прощения о РЕАБИЛИТАЦИИ.

24 августа прошлого года я обратился к прокурору по надзору Калининской области с таким Прощением, в котором кратко излагал суть моей «антисоветской деятельно-

сти, преследующей цель подрыва и ослабления Советской власти» (л.2, стр. 8 приговора).

Тогда, 20 лет назад, будучи офицером Дважды Краснознаменного Балтийского флота, я, как коммунист, очень внимательно следил за событиями Пражской весны в Чехословакии. Мне импонировала в то время Программа Действий, с которой Дубчек начал перестройку социалистической системы своей страны во всех ее областях: политической, социальной, экономической. В то же время я понимал, что руководство нашей Коммунистической партии в лице ее тогдашнего лидера Л. Брежнева не даст возможности этой Пражской весне зажурчать полноводными потоками перемен, столь необходимых и столь назревших уже тогда не только в самой Чехословакии, но и в Советском Союзе.

Предположения мои оправдались: 21 августа советские вертолеты блокировали Прагу.

Зная реальное положение дел, реальные отношения между Дубчеком и Брежневым за все восемь месяцев существования механизма обновления в Чехословакии, мне была очевидна нелепость и пагубность ввода войск не только для Чехословакии, но и для нас самих.

Крах Пражской весны я воспринял как личную боль, как падение последних надежд на обновление Советского государства.

Эти чувства обиды, боли, утраты и заставили меня обратиться с Открытым письмом к гражданам Советского Союза уже в сентябре 68 года, через месяц после ввода войск в Чехословакию — столько мне потребовалось времени на обоснование моих позиций по поводу внешней и внутренней политики Коммунистической партии Советского Союза в связи с событиями в Чехословакии и в нашей стране.

В Письме я ставил вопрос о перестройке. О перестройке не в Чехословакии, а в СССР: слишком уж явно темнели на светлом теле Октябрьской революции раковые метастазы болезни.

Естественно, Письмо попало на Запад. Было опубликовано в газетах Америки, Англии, напечатано в журнале «Посев», передавалось на Советский Союз радиостанцией «Свобода». Так же естественно, по тому времени, и очень оперативно меня исключили из партии, разжалова-

ли в матросы, уволили с любимой работы ядерного физика, обыскали от верхней до нижней книжной полки, изъяли орудие преступления (пишущую машинку), увезли в следственный изолятор, тут же побрили и год разбирались в моей «антисоветской деятельности», результатом чего явилось осуждение на шесть лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима, без ссылки.

Тогда на судебно-психиатрической экспертизе врач-психиатр, нервно сжимая текст Открытого письма в ладони, с гневом вопрошал:

Эту гадость вы зачем написали? Эту клевету?

Но если через 20 лет я окажусь прав, что тогда?

Ответ мой оказался пророчеством.

Сегодня, через 20 лет после тех трагических для меня и, особенно, для жены и ребенка событий, скальпель Перестройки вырезает раковую опухоль с тела нашей Революции.

Лечение всегда предполагает боль прежде выздоровления.

Надеюсь, что Страна эту боль превозможет, ее побочные факторы: повышенное кровяное давление, более нормы учащенный пульс, головные боли и нервные срывы, — преодолеет.

Собственно, Надеждами и жив человек.

Надеялся и я, что мое Прощение о реабилитации в Новое время будет и рассмотрено по-новому.

Однако старые привычки еще крепко связывают и ум наш, и тело. И затерялось где-то Наверху маленькое прошение маленького человека: С вершины горы разве можно различить деревья, — лишь массы леса... (описывается далее прохождение Прощения по инстанциям — прим. авт.)...

Сегодня 22 июля, годовщина смерти моей матери, которую, находясь за колючей проволокой, я так и не смог проводить в последний путь, не смог даже хотя бы немного облегчить страдания, приковавшие ее к постели.

Обыватели говорят: сам виноват — больше всего тебе было надо.

Но надо было мне очень немногого: нормального человеческого существования в быту и в духовной жизни, ясных человеческих отношений без лицемерия и фальши,

без лжи и идолопоклонства. На чистое небо над головой и плодоносящую землю под ногами человек от рождения имеет право.

И вот Пленум Верховного Суда молчит.

И невольно задумываешься: может быть действительно, так уж устроен человек, легче возводить монументы от нас ушедшим, умершим, чем просто по-человечески отнестись к ныне живущим. Легче ударить и труднее залечить нанесенную рану. Легче оскорбить и труднее извиниться за нанесенное оскорбление. Ведь сколько загублено, исковеркано, унижено, растоптано человеческих судеб, по сути своей — невинных судеб хороших людей, добросовестных работников на общее благо.

Труден Путь. Сложное Время.

Но именно сегодня и важно по большому счету заняться судьбами и делами маленьких людей, простых тружеников, на которых, собственно, и держится все, в том числе и власти придерживающие.

Дорогой Михаил Сергеевич, мое дело несравнимо ни с делом Бухарина, ни с делом Троцкого, ни с делами других «антипартийных групп», антипартийность которых оказалась лишь существующей в воспаленном воображении прокуроров и следователей того периода нашей истории. Мое дело несравнимо и с делами ныне живущих и реабилитированных «антисоветчиков», которые также оказались именно советскими, нормальными людьми, с обостренным чувством совести и правды, с обостренным чувством справедливости и чистоты в человеческих отношениях. Не буду называть имен, они общеизвестны...

Надеюсь, что через Верховный Совет мое письмо-прошение вернее дойдет до инстанций, почему-то затягивающих решение очевидного вопроса.

Священник Геннадий Гаврилов.
Калинин. Собор «Белая Троица».

25 августа 1989 года.

Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР.

СПРАВКА

Дело по обвинению Гаврилова Геннадия Владимировича, арестованного 10 июня 1969 года, пересмотрено Пленумом Верховного Суда СССР 18 июля 1989 года.

Приговор военного трибунала Балтийского флота от 7 марта 1970 года и определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 18 июня 1970 года отменены и уголовное дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Гаврилов Геннадий Владимирович по данному делу
РЕАБИЛИТИРОВАН...»

1991

Дополнение к последнему слову.

Казалось бы, все закончилось хорошо: справка о реабилитации на столе, справедливость, как говорится, в кармане.

Но вот я вновь переворачиваю листы бывшего, снова переживаю весь этот следственный и судебный кошмар, вижу стены опостылых камер, нутром чувствую колючую проволоку зоны.

Забыть это невозможно.

И невольно возникает мысль, что в нашей стране заботливо и любовно выращена и воспитана, поставлена на твердые мускулистые ноги целая школа фальсификации, школа бесправия со своим богатейшим арсеналом эффективных методов нападения и защиты.

Этой школы перестройка не коснулась еще и вряд ли в ближайшие годы прикоснется к ее классам, партам, букварям и чернильницам. Вот где необходима реформа, после которой только и можно действительно говорить о перестройке, о гарантиях ее реального воплощения и жизнеспособности.

Сегодня, двадцать лет спустя после тех памятных событий, отлаженный «профессионализм» следствия мог бы вызвать улыбку, если бы за ним не стояли: оставленные без мужей жены, без отцов — дети, разваленные семьи, искалеченные и скрюченные судьбы, разбитые в прах надежды, увядшая вера, если такая была, в справедливость государственного правосудия, в законность существующей власти.

Страх возможного повторения пережитого до самой смерти нависает над эском, обрекая его на последующую за освобождением пассивность, незаметность, непротivление злу. Прошедших через этот бетонный пресс «советского правосудия», преодолевших многолетний испуг застенков и вставших на ноги, единицы, потому что «служилый люд», воспитанный всей историей России подчиняться хлысту, первый и огреет этим хлыстом поднявшегося с колен. И будет награды ждать, подачки со стола

хозяина, то ли в малой зоне, то ли в большой, за беспощадно наносимые удары.

Хлыст этот за 74 года «мудрого руководства партии» превратился в петлю на шее России, которая не давала, да и сейчас не дает, не только слово сказать, но и дышать.

Даже та малая свеча Надежды, которая затеплилась сейчас, надолго ли она? Надолго ли этот свет слова, открытость дел и замыслов?

Разве не было на Руси попыток демократизации? Были, но опять возвращались в лоно свое, в лоно чиновничьего вандализма, худшей формой которого является варварство партийных чиновников.

Ни одна власть не сдавала своих позиций добровольно, тем более не сдаст ее добровольно партия, смысл жизни которой заключается в обладании именно этой самой властью. Ведь любой мало-мальски руководящий пост в системе управления государства с октября 17-го имел право занимать только член правящей партии. С годами специфика такого управления страной была отработана вполне, что и давало своеобразную прочность и незыблемость системе.

И пока гарантии гласности — свобода слова и печати, свобода творчества и свобода совести, молодая поросль политической свободы — держатся еще на «благосклонности» той же власти, на ее игре в демократию, которая, похоже, заканчивается уже, до тех пор будет стоять перестройка на зыбучем песке, способном в любой момент поглотить малое и недисциплинированное дитя демократии.

Да и демократы наши, как показывает опыт, заняв место у руля маленького, районного, корабля или большого, государственного, начинают прозревать, понимать начинают, что здесь-то, на пригорке, а тем более — на горе, уютно весьма, хорошо и желудку, и телу. И так задом прикипают к удобному креслу, что и не оторвать, не столкнуть, не сдвинуть. Смотришь, ради этого кресла, забыты и принципы, ради которых и доверили им, новым, избиратели маленький руль или большой штурвал. Демократия — это от демона, — начинают подумывать у кормушки затухающие демократы, — а вот власть испокон веку, она, брат, от Бога. Да и в Библии о власти сказано, а не о какой-то демократии там.

VIII

Демократия — это прежде всего история, историческое взросление и воспитание народа. Этого воспитания и взросления не достаёт нам. Но без них — не быть демократии на землях России.

Некоторое подобие ее возможно пока, и то, если не будет, а оно уже есть, сознательного торможения, сопротивления, молчаливого неповиновения старых однопартийных консервативных структур новым многопартийным веяниям, новому демократическому опыту, новой стройке.

Становление человека многотрудно и сложно. Еще более многотрудно становление государства, тем более если это государство больное и разбито параличом. И пока государство нищее, пока пост того или иного чиновника предполагает, помимо зарплаты, бездонную сумму привилегий, уводящих от этой всеобщей нищеты, демократии не пройти. Таким образом, демократия упирается в экономику. Демократия и экономика повязаны неразрывно. Каков фундамент — такова и надстройка. И за свой фундамент партийная элита будет бороться до последней капли коммунистической (однопартийной, всевластной, распределительной, строго вертикальной, безотчетной и бесконтрольной) крови, то бишь — экономики.

19 августа. 1991.

СВЕРШИЛОСЬ!

Как я и предполагал, к чему и готовилась эта книга, прошнурованная уже, только вычитать и опечатки исправить, ПРАВО-КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПЕРЕВОРОТ СО-ВЕРШИЛСЯ.

Воняло в воздухе этим заговором еще с зимы.

Тогда и решилось — надо довести черновики до книги.

Вооружались большевики. Выходили из окопов. На танки вновь пулеметы ставили. И учились стрелять — примеряли берданку поближе к виску.

Вечерами чудилось мне, что Призрак Ленина уже идет по России: рука вперед и кепочка набок.

И за ним броневик.

И идут без имени святого

Все двенадцать — вдаль.

Ко всему готовы,

Никого не жаль...»

Итак, книга есть. И в самое время. Надеюсь, что она, может быть, вдохновит кого-то, особенно молодых, на крестный Путь во имя России, поможет подняться стоящему на коленях, поможет идти остановившемуся в нерешительности, поможет молчащему Трибуном стать Нового Времени.

Чем можно дополнить книгу? Разве что «Открытым письмом к гражданам России». Уйдет неделя.

Мои надежды? На здравый смысл россиян.

Проснулись многие — и на это надежда.

Но главное: чувствую — не будет армия стрелять в народ.

В этом возможное для нас спасение.

Жаль, что книга не выйдет здесь.

Отправляю на Запад. Непосредственно обращаюсь к моему знакомому Миллеру из НТС. Напомню: была договоренность у нас напечатать книгу.

Пусть даже ПАВШИЕ ВОССТАНУТ

НА ЗАЩИТУ РОССИИ!

Ну, кажется, все.

Помоги, Господи.

21 августа. 1991.

Даже не верится.

Какая-то Мистика.

А может быть — Чудо?

Видно было, что люди, взявши власть, не продержатся долго. Но что так быстро будет падение, вряд ли кто ожидал.

И тем не менее — ЗАВЕРШИЛОСЬ.

Казалось что так.

Я же думаю — это только НАЧАЛО.

Начало ДЕМОКРАТИИ в России, оборванной в октябре 17-го.

Пробуждение новое после затяжного кошмарного сна.

Но еще полумрак, полурассвет, еще только утро, все в тумане и холоде, в неприятном ознобе.

И не скоро еще День в апогее Солнца.

Но Тьма рассеяна.

Коней вернулся к началу, замкнув круг:

21 августа 68-го: ввод войск в Чехословакию.

21 августа 91-го: конец путчистов.

Умерла Россия и, как Христос, Воскресла на третий день.

И уже сегодня готовиться нужно к Преображению.

И завтра устремиться необходимо к Вознесению России.

Братья и сестры, этого и ждет Россия от вас, молодых и сильных, от вас, с ясным умом и чистым сердцем.

Гаврилов
Геннадий Владимирович

СПАСИ СЕБЯ САМ

Автобиографическая повесть

Ответственный за выпуск — *А. Кичигин*
Редактор — *Ю. Садовников*
Технический редактор — *Р. Кошелева*
Фотография на обложке — *Ю. Садовников*

Сдано в набор 8.02.93. Подписано в печать 22.02.93. Формат 84X 108/з?
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура гелъветика.
Заказ 1825. Тираж 3000 экз. С-1.

Автор и издательство выражают благодарность Болтовой Нине Петровне,
директору ТОО «Хлеб Лтд» за помощь в издании книги.

© Г. В. Гаврилов, 1991 г
© Тверская областная организация Союза фотохудожников России
Россия, 170000, г. Тверь, наб. С. Разина, 1
тел. (082)222-79-35, (095)230-22-60 (454)

Издательская лицензия ЛР № 030293

ISBN 5—7231—0001—7

Диaposитивы изготовлены на ордена Трудового Красного Знамени
Тверском полиграфкомбинате Министерства печати и информации
Российской Федерации. 170024, Тверь, просп. Ленина, 5.

Отпечатано в Тверской областной типографии.
170000, г. Тверь, Студенческий пер., д. 28.